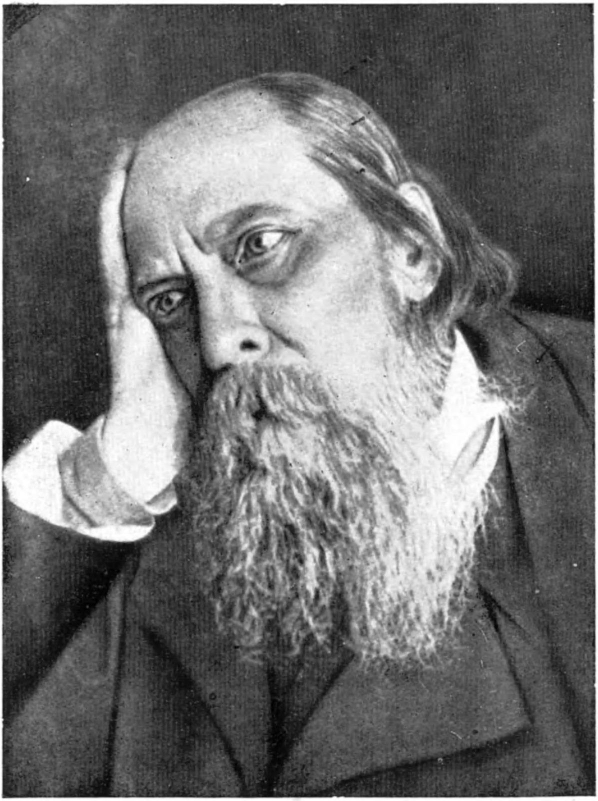
М. Е.
Салтыков
Щедрин

Неизвестные страницы

ACADEMIA

ACADEMIA





М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

РЕДАКЦИЯ, ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ С. БОРЩЕВСКОГО

«ACADEMIA»
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД
1931

ТИТУЛ, ПЕРЕПЛЕТ И ОБЛОЖКА
РАБОТЫ ХУД. А. Н. ЛЕО

Ответственный редактор С. Борщевский Технич. редактор Н. Филиппов.
Книга сдана в набор 23/III—1931 г., подписана к печати 19/X—1931 г.
№ 50, тираж 3000 экз., Главлит № П 2273. Зак. № 2306
Бумага 73,8 × 104,4 см., 17,5 л. (65,000 тип. знак. на 1 бум. л.).

Госуд. тип. „Ленинградская Правда", Ленинград, Социалистическая, 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемые в настоящей книге анонимные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина мы извлекли из «Отечественных Записок» 1868—1878 гг. Прежде чем перейти к избранному нами способу доказательства принадлежности их перу Салтыкова, укажем на те затруднения, с которыми мы встретились в начале работы. Раньше всего отметим, что ни в общей, ни в специальной литературе не содержится почти указаний, хотя бы сколько-нибудь помогающих уяснению поставленной нами задачи (о нескольких исключениях из этого правила мы говорим ниже, в комментариях). Не на много больше освещают вопрос эпистолярные публикации, в частности письма самого Салтыкова. Затем, положение осложнялось и вследствие того общеизвестного факта, что Салтыков-редактор подчас вносил в чужие рукописи очень значительные исправления... Если к этому, наконец, прибавить, что изучение литературного наследия Щедрина до сих пор не подвинулось дальше начальной ступени, то определятся условия нашей работы.

При таких обстоятельствах мы избрали хотя и наиболее трудный, но единственно надежный прием установления авторства Салтыкова — прием текстовых параллелей. Бесспорно, данный способ доказательства имеет свои неудобства — следствием его неизбежно является досадная нестройность изложения; но этот недостаток искупается тем, что при подобной «очной ставке» част-

ные и общие выводы испытываются на конкретном материале. Таким образом, читатель не вынужден принимать на веру утверждения о «единстве стилистической манеры» в сравниваемых отрывках или их «композиционном сродстве», а привлекается к изучению вопроса. Для большей наглядности мы в комментариях приводим не только выдержки из сочинений Щедрина, но и соответствующие места публикуемых произведений: отсылка читателей к этим отрывкам затруднила бы проверку выводов. Вот почему мы делаем ссылки на предшествующий анализ только в тех случаях, когда с помощью параллелей уже раньше выяснили принадлежность Салтыкову аналогичного текста.

Само собой разумеется, что в процессе нашей работы мы пользовались всеми доступными источниками для выяснения того, не приписываются ли публикуемые произведения кому-либо из сотрудников «Отечественных Записок». Только после такой проверки и подробного анализа текста мы решаемся утверждать, что предлагаемые вниманию читателей анонимные работы безусловно принадлежат перу Салтыкова.

После этих предварительных замечаний перейдем к обзору собранных нами материалов.

Анонимные произведения Салтыкова представляют выдающийся интерес не только для исследователя творчества великого сатирика. Глубоко-своеобразный подход к явлениям общественной жизни, тонкий критический анализ, революционная направленность мысли, наконец, актуальность некоторых проблем и для нашего времени, — все это служит порукой тому, что публикуемые произведения Салтыкова привлекут внимание широких кругов читателей.

Книга открывается статьей «Напрасные опасения» (1868 г.), посвященной беллетристике шестидесятых

годов. В основном эта статья направлена против отставания литературы от жизни. Одно из положений буржуазной эстетики гласит, что «творчество объективного художника может являться только тогда, когда жизнь установится, с новою, нарождающеюся жизнью оно не ладит» (Гончаров). В «Напрасных опасениях» Салтыков решительно выступает против этой концепции, обрекающей литературу на постоянное запоздание. На другую позицию Салтыков и не мог стать: она была обусловлена революционным содержанием его творчества и теми требованиями, которые он предъявлял к литературе. Главную же ее обязанность он определял как «деятельное участие в негодованиях и протестах жизни», как всемерное содействие коренному преобразованию общественного строя.[1] Вот почему в «Напрасных опасениях» Салтыков призывает молодых беллетристов-разночинцев отказаться от дальнейшей разработки типа «лишнего человека», знаменующего пройденный этап общественного развития, и «вызвать из мрака» те новые, подспудные процессы, которые подготовляют крушение феодального порядка. Активные, революционные элементы выделяются закабаленным крестьянством и передовой молодежью, и именно в эту среду должны проникнуть беллетристы-разночинцы.[2]

[1] В одной из замечательных салтыковских хроник начала шестидесятых годов («Современник», 1863 г., № 12, отдел «Наша общественная жизнь») мы находим своеобразную характеристику отставания литературы: вопреки нарождению в обществе «новых стихий», она «являлась на сцену уже тогда, когда праздник объявлялся оконченным и сонные городовые разгоняли последних зевак»...

[2] Было бы ошибочным отсюда заключить, что Салтыков в шестидесятых годах возлагал надежды на крестьянскую революцию, как на решающий фактор радикального преобразования общественного строя. Напро-

Выдвигая на первое место социальную функцию, функцию изменения действительности, Салтыков подчеркивает, что литература выражает «не только насущные потребности общества, но и те стремления, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию». Обращение к будущему — в высокой степени характерно для Салтыкова-художника и общественного деятеля. Салтыков никогда не «пресмыкался перед видимостью», не «принимал видимости за конечное объяснение» (Маркс). Действительность была для него неизмеримо шире понятия существующего, и в таком подходе к явлениям общественной жизни — основа его творческого метода. Исходя из своего, революционного понимания назначения литературы, Салтыков настойчиво указывал на необходимость создания, в противовес «семейственному»,

тив, уже тогда он совершенно отчетливо сознавал, что Россия должна, по примеру Запада, пройти капиталистический фазис развития. С этой точки зрения огромный интерес представляет одна из его хроник 1864 г. («Современник», № 2), где он предвосхитил появление буржуа в европеизированном обличьи «столпа отечества». Отставные откупщики и менялы, писал там Салтыков, с вожделением ожидают момента, когда «ветхая плотина, кой-как еще поддерживаемая остатками хвороста, окончательно прорвется и река неудержимым потоком ринется вперед, унося в своем беспорядочном течении всю зазевавшуюся старину». Исполнение желаний откупщиков и менял не за горами. «Но успокойтесь, милые кровопийцы!—обращался к ним Салтыков,—вы тоже не много наколобродите на свой пай!.. Почудесите мало-мало, повыводите греческих фронтонов, понастроите беседок в виде «храмов удовлетворения», понавешаете на стенах картин Айвазовского и сойдете все-таки, сойдете же под конец в общую могилу, dans la fosse commune!"..

социального романа. С исключительной силой была поставлена им эта проблема в «Господах ташкентцах».

В связи с основной темой «Напрасных опасений» Салтыков обращается к литературе сороковых годов и мастерски вскрывает ее «кастический», дворянский характер. Тут же читатель найдет развернутую характеристику дворянской среды, «обеспеченной от черной работы», и органически связанный с этой характеристикой анализ типических черт тургеневских «лишних людей». Оценка, данная Салтыковым «лишним людям», бесспорно принадлежит к самым глубоким высказываниям по этому вопросу в русской критической литературе. Особо останавливается Салтыков на слабых сторонах произведений, в которых изображаются «новые люди». Эти недостатки он затем неоднократно отмечает в публикуемых нами рецензиях, иллюстрируя свои основные положения на конкретном материале.

Тематически в некоторых отношениях примыкает к «Напрасным опасениям» статья «Один из деятелей русской мысли» (1870 г), посвященная Грановскому и его времени. Но в общем это самостоятельная (к сожалению, не оконченная) работа. Внимание читателей здесь особенно привлечет острая критика «принципа свободы», служащего часто прикрытием реакции для искоренения «неблаговременных учений», и обстоятельная характеристика соглашательства, этого неотъемлемого атрибута либеральной мысли и практики. К последней теме Салтыков возвращался много раз и особенно заострил ее в сказке «Либерал».

В целом данная статья, как и «Напрасные опасения», помогает уяснению пути, которым Салтыков пришел к шестидесятникам, в лагерь «детей». Помимо того, она тесно связана (в части уничтожающей характеристики русского дворянства) с замыслом «Господ ташкентцев»,

особенно с первой главой этого цикла — «Что такое «ташкентцы»?».

Полемическая манера Салтыкова отчетливо выступает в статье «Человек, который смеется» (1869 г.), направленной против буржуазного экономиста В. П. Безобразова. Основные особенности полемических приемов Салтыкова в данной статье таковы: объективно излагаются доводы противника, сдержанно, без запальчивости вскрывается их несостоятельность, как бы без умысла пускаются стрелы, не больно ранящие врага, но все же коробящие его фигуру, отчего она становится мешковатой, смешной, и после этой тщательно обдуманной подготовки внезапно наносится короткий и беспощадный удар. Сила, сбереженная в планомерном действии, напоследок сторицей возмещает добровольное самоограничение...

Для Салтыкова-полемиста характерно и то, что он не осаждает вражескую крепость, а свободно располагается в ней и берет ее **изнутри.**

Художественный очерк «Наши бури и непогоды» представляет незаурядный интерес по своей фабуле: он посвящен нечаевскому процессу. До сих пор было известно, что Салтыков высказался о первом гласном политическом процессе в публицистической статье, озаглавленной: «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики». Публикуемый очерк своеобразно дополняет эту статью, поскольку в нем с предельной остротой воспроизведено смятение «культурного человека среднего пошиба», который настолько потрясен зловещими слухами о правительственных репрессиях, что перестает доверять своей политической благонадежности и решает «самообыскаться». Этот проникнутый глубоким сарказмом оборот, в котором с необычайной сжатостью выражена суть трагикомиче-

ской ситуации, может быть по праву отнесен к самым ярким щедринским «словечкам». В комментариях мы показали внутреннее единство образа рассказчика данного очерка с рассказчиками из циклов «За рубежом» и «Круглый год».

Публицистическую статью Салтыкова о нечаевском деле мы предлагаем вниманию читателей потому, что здесь совершенно отчетливо была разоблачена им связь всей русской печати, без различия оттенков, с государством, охраняющим «общественную безопасность», т. е. неприкосновенность интересов господствующего класса... Эта статья полностью никогда не перепечатывалась и известна только узкому кругу специалистов. Помимо салтыковского текста, большой интерес представляют в ней «оправдательные документы» — отзывы прессы о нечаевском деле, ярко иллюстрирующие охранительные настроения русского «общества» в самом начале семидесятых годов, вслед за падением Парижской Коммуны.

Отношение Салтыкова к Парижской Коммуне с большой силой выражено в пятой главе «Итогов». По требованию цензуры Салтыков изъял ее из «Отечественных Записок», и она была впервые опубликована Вл. Кранихфельдом в «Киевской Мысли» (28 апреля 1914 г.) сорок три года спустя после написания. Статья эта, проникнутая ненавистью и презрением к «одичалым консерваторам Франции», палачам Коммуны, полностью уясняет политическую позицию Салтыкова. Особенно важно то место, где он подчеркивает, что торжество версальцев «посекает жатву будущего», и, следовательно, только победа рабочего класса в гражданской войне двигает жизнь вперед, обеспечивает ее подлинно-прогрессивное развитие.

Как мы указали выше, «Итоги» впервые были напечатаны в 1914 г., незадолго до начала империалисти-

ской войны. Их опубликование в этот момент нельзя не признать знаменательным. «Итоги» как бы предупреждали о нападении на рабочий класс, предостерегали против готовящегося предательства его интересов социал-шовинистами всех стран. В данной связи отметим, что и социал-шовинисты вспомнили о Салтыкове. Мы имеем в виду «Манифест объединенной группы социал-демократов и социалистов-революционеров, выработанный на Женевском Совещании в 1915 г.». В этом манифесте оборонцы убеждали «сознательных рабочих, крестьян, ремесленников и приказчиков» не поддаваться агитации «неразумных людей», желающих «поражения России из ненависти к царскому правительству». В чем же усматривали приказчики капитала заблуждение «неразумных людей», революционных интернационалистов? «Подобно одному из героев нашего гениального сатирика, Щедрина, — наставительно замечали авторы манифеста, — они смешивают отечество с начальством».

Поистине, только совершенной утратой чувства юмора и редкой беззастенчивостью можно объяснить, что социал-шовинисты так непринужденно расписались в получении салтыковского аттестата... Ведь поддержка ими в империалистической войне «своей» национальной буржуазии как-раз последовательно и вытекала из смешения «отечества с начальством»! Сущность их приверженности к «отечеству» была прозорливо вскрыта Салтыковым в «Июльском веянии» (шестая глава «Недоконченных бесед» — 1883 г.) задолго до предательства пролетариата героями «июльского веяния» 1914 г. В этом произведении Салтыков выступил с протестом против избиения евреев на юге России. Выделив в ряду причин, вызывающих погромы, «бесчеловечное и безумное предание» о распятии Христа, Салтыков вслед затем подчеркивал, что оно «извращает целый цикл обще-

ственных отношений...» Такое извращение он усматривал в «произвольном представлении об еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах, а в сферах более или менее досужих и эксплоатирующих». Набросав несколькими мастерскими штрихами по внешности резко отличные повадки еврея-эксплоататора и русского кулака, Салтыков отказывался проводить между ними какое-либо разграничение. Девиз «дурака шашу» и выражение «сосу дурака», — писал он, — «одинаково омерзительны, да и на практике имеют одинаковое применение. Но и в том, и в другом виде доступны совсем не всякому встречному, а только могущему вместить».

Практика социал-шовинистов, последовательно превратившихся в социал-фашистов, свидетельствует, что они оказались бессильны «вместить»... В каждой буржуазной стране люди, именующие себя социалистами, «без лести преданны» и усердно служат «своим» Деруновым и Колупаевым, которые «никогда... не скажут «шашу», а прямо отчеканят: «сосу дурака» — и шабаш». Такое прислужничество буржуазии обрекает их на тот исторический удел, о котором Салтыков не уставал напоминать «пенкоснимателям» всех толков и мастей. Удел этот — «позорное бессмертие»...

«Итоги» были опубликованы Вл. Кранихфельдом в крайне урезанном виде. В нашем издании они впервые воспроизводятся с рукописи полностью, в двух редакциях. Обе редакции доставлены нам Н. Яковлевым, которому мы выражаем за это товарищескую признательность. Н. Яковлеву принадлежат и комментарии к «Итогам».

Исключенные в публикации Вл. Кранихфельда места представляют большую ценность, особенно те, которые непосредственно относятся к теме второй части статьи —

о Парижской Коммуне. Из них отметим: рассуждение Салтыкова об истории и его превосходный анализ понятия «разрушение». Эти высказывания целиком подтверждают то, что в героической борьбе коммунаров Салтыков видел прообраз грядущего восстания всех «обделенных, униженных и оскорбленных» против эксплоататорского строя, зиждущегося на беспощадном подавлении широчайших трудящихся масс ничтожной кучкой «одичалых». Не приходится сомневаться, что в Октябрьской революции, низвергнувшей эксплоататоров на шестой части земного шара, Салтыков признал бы достойное продолжение героического почина парижских коммунаров, великолепный реванш за «кровавый май».

Статьи, посвященные разбору комедии И. В. Самарина «Перемелется — мука будет» и «Мещанской семьи» М. В. Авдеева, представляют собою театральные обозрения. Такие обозрения Салтыков давал еще в «Современнике», затем, после долгого перерыва, вернулся к ним в «Отечественных Записках» (отдел «Петербургские театры»).

Первая статья — о постановке комедии Самарина — относится к 1868 г. и интересна истолкованием образа графа Шитвинского, которому Салтыков придал, — еще до опубликования сказки под этим названием, — характерные черты «дикого помещика».

Статья о постановке «Мещанской семьи» Авдеева (1869 г.) заостряет внимание на органических изъянах натуралистического изображения действительности и ценна для уяснения художественного метода самого Салтыкова.

Подход Салтыкова к исторической живописи ярко выражен в статье «Первая русская художественная передвижная выставка» (1871 г.), подписанной инициалами М. М., где дана превосходная оценка знаменитой

картины Н. Ге: «Петр Великий и царевич Алексей». Помимо того, эта статья возбуждает большой интерес благодаря вставным сценам сатирического характера.

Таково, — разумеется, в самых общих чертах, — содержание публикуемых статей.

Теперь перейдем к отделу рецензий, который представлен девятнадцатью отзывами на беллетристические произведения и книги публицистического характера.

Мы не имеем здесь возможности хотя бы бегло остановиться на содержании каждой рецензии в отдельности; это — благодарная задача для самостоятельной работы о Салтыкове-критике. Скажем только, что многие из публикуемых отзывов являются подлинными шедеврами этой «малой формы» критического жанра. Особое внимание читателей привлечет рецензия на роман Омулевского «Шаг за шагом», в которой дана спокойная по тону, но по существу резкая и проницательная оценка литературной деятельности Достоевского. Вместе с тем здесь отчетливо сказалось, характерное для Салтыкова, бережно-внимательное отношение к начинающему романисту. По яркой изобразительности и едкому остроумию выделяются рецензия на компилятивный труд Н. Макарова «Энциклопедия ума», построенная в форме диалога, и отзыв на трагедию Н. Жандра «Нерон»; в последнем находим превосходную образную характеристику «душегубствующей любезности» либерализма.

Резко выступает Салтыков против слащавой декламации о «пользе труда», против подыгрывания ко взглядам передовой молодежи. В этом смысле крайне характерны отзывы на произведения А. Михайлова. Беспощаден Салтыков и к вожделениям крепостников-помещиков (рецензии на книгу Г. Бланка «Движение законодательства в России» и брошюру «Слияние сосло-

вий, или дворянство, другие состояния и земство» неизвестного автора). Достойный отпор дает он реакционному лозунгу «искусство для искусства» и хлестаковщине в литературе (отзывы на «Цыгане» В. Клюшникова и «Новые сочинения» Г. Данилевского). Фразерство, схематизм в изображении «новых людей», искажение действительности, эротизм, аскетизм, реакционные устремления, притворные симпатии к прогрессивным явлениям, отвлеченные построения, уводящие в сторону от боевых задач современной общественной жизни, — все это разоблачает Салтыков с непримиримой принципиальностью и исключительным мастерством.

Как и статьи, бегло рассмотренные нами выше, рецензии тесно связаны с общественными воззрениями и художественными замыслами Салтыкова, воплощенными в известных его произведениях. Эту связь мы попытались установить в комментариях.

В заключение скажем несколько слов относительно изучения литературного наследия великого сатирика. К сожалению, приходится отметить, что Салтыковым, одним из наиболее революционных писателей XIX века, наши литературоведы не занимаются; по какому-то странному недоразумению их внимание всецело отвлечено его идейными противниками — Достоевским, Гончаровым, Писемским, Лесковым и др. При этом упускается из вида, что творчество Салтыкова, подобно мощному прожектору, освещает самые потаенные уголки крепостнически-буржуазной России и в этом резком, подчас причудливом свете наиболее рельефно и близко к действительности выступают пути ее исторического развития. Как же можно, отворачиваясь от этого света, плодотворно, на материалистически-диалектической основе, изучать произведения современников Салтыкова? Ясно, что при такой своеобразной, чтобы не сказать больше,

методологии неминуемо искажение перспектив исторического и литературного процесса. При игнорировании революционного течения в классической литературе ее изучение становится догматическим, гелертерским, а следовательно, ненаучным.

Вопрос об изучении Салтыкова не укладывается в академические рамки — он имеет крупный общественный смысл. Это объясняется тем, что его творчество не законсервировано временем, а поныне действует как революционная сила. Использовать эту силу в нужном направлении, обратить ее с максимальной энергией против «ташкентцев», возродившихся в своих потомках — вредителях, против не ликвидированного еще до конца кулачества, против либералов-оппортунистов, «сидящих между двумя стульями», помпадуров-бюрократов, подавляющих творческую инициативу рабочего класса и широких трудящихся масс, против современных глуповцев, «тяпающих головами», — такова обязанность всех тех, что сознает огромную историческую важность развернутого социалистического наступления на ядовитые остатки старого, эксплоататорского общественного строя.

С. Борщевский.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

С Т А Т Ь И

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

(По поводу современной беллетристики)

В последнее время все чаще и чаще случается слышать в обществе сетования на бедность нашей литературы (разумея под этим словом собственно беллетристику). С одной стороны, читающую публику поражает отсутствие новых замечательных талантов, которых появление составляло бы более или менее яркое событие; с другой стороны, не меньше приводит в недоумение и то обстоятельство, что беллетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком, да и предметы для своих исследований стала почерпать из чуждого или, по крайней мере, мало известного для публики мира. Конечно, общество и ныне с удовольствием останавливает свое внимание на новых произведениях своих давнишних любимцев: Тургенева, графа Л. Н. Толстого и немногих других, но так как эти писатели действуют на литературном поприще уже довольно продолжительное время, то публика не без горечи предусматривает тот момент, когда, вследствие естественного или случайного прекращения их деятельности, она надолго останется без хорошего литературного чтения.

Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо прежде всего взглянуть на состав

нашей читающей публики. Элементы, составляющие эту публику, так неразнообразны и притом обновляются с такою медленностью, что можно сказать почти утвердительно, что современный русский читающий люд совершенно тот же, какой был десять-двадцать лет тому назад. Ядро его находится и доныне в той небольшой и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени привыкли приурочивать все проявления нашей умственной деятельности, что, в строгом смысле, и самую литературу нашу можно почти назвать кастическим достоянием. Нет сомнения, что семена самосознания, брошенные в последнее время на почву русской жизни, значительно расширят границы этой среды в будущем, но покамест мы можем говорить об этом только гадательно. В настоящем, читают и интересуются судьбами русской литературы все те же (или, по крайней мере, того же закала) люди, которые читали, интересовались во времена самого сильного разгара славы автора «Рудина» и «Дворянского гнезда».

Воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей. Наше общество сороковых годов (или, лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и доныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенною ясностью своих стремлений. В людях того времени (все-таки, в лучших) было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающей средой, но в этом чувстве замечалось так много смутного и беспредметного, что мысль, не будучи в состоя-

нии определительно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только притти к каким-либо разрешениям, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их. Недовольство питало само себя; оно служило самому себе и причиной и разрешением; это было не более, как приличное занятие, тщету которого мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении читающей публики вдруг совершился крутой поворот и прежнее недовольство внезапно превратилось в самое невозмутимое довольство.

Повидимому, в нашем обществе сороковых годов чувствовался известного рода умственный и нравственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрогивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, т.-е. и отцы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-политической почве, и вся разница, их разделяющая, заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая утопия, которой держались в том или другом лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения даже в такой форме, как крепостное право, и если другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которая, даже в самых порывах великодушия, не идет далее отвлеченной справедливости и никогда не отождествляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было приметить в их попытках в этом

смысле признаков свойства чисто-механистического. Если одни подчиняли все свои действия посредничеству внешних сверхъестественных сил, и ежели другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода, то это нимало не мешало этим другим прибегать к объяснениям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых, но, в сущности, столь же нетвердым и произвольным. Одним словом, если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы.

Вспомним типы, созданные литературой того времени, и мы увидим, что все они носят отпечаток касты; одни из них осуществляют ее уродливости, другие — ее неопределенные стремления к чему-то лучшему, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что и те, и другие должны были народиться и перейти в литературу только из такой среды, которая обильна досугом. Трудно было ожидать, чтобы в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по крайней мере, она *полагала* себя навсегда обеспеченною), могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрастать требования характера эстетического и отвлеченного. Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то праздничное существование, нечто среднее между сном

и бодрствованием, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях. Даже типы Гоголя — и те нравились именно потому, что в них проводились, в отрицательной форме, те же эстетические и отвлеченные требования, которые, в более положительной и привлекательной форме, проводились и в типах Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести г. Григоровича, несмотря на то, что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, т. е. о реальнейших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, недоставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горестями Антона-горемыки, внутренне радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям.

Никто полнее не выразил стремлений этого времени, как Тургенев; никто не показал нам с большею ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный диллетантизм, составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга. Сомнение — вот та крайняя грань, далее которой он не может идти; сомнение и, вместе с тем, полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения, и хотя с первого же

раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками неустановившейся и не имеющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается. Происходит умственный мираж; кажется, что сомнение уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли, и что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы более блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество других, созданных талантливым пером Тургенева; скажем даже: трудно найти типы, более способные возбудить симпатию; но взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и действия, и вы легко убедитесь, что это не более, как люди распутия, люди скучающие, не видящие в жизни целей, не потому, чтобы этих целей не было в действительности, и даже не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их наружу. Конечно, им до известной степени уже неловко жить в той обязательной среде, которая их окружает, но иго этой нравственной неловкости, повидимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кроме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования.

Публику привлекали тургеневские типы по-

тому, что они принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была знакома. Она видела в этих типах себя саму, да, пожалуй, еще в таких праздничных одеждах, о которых знала только понаслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили никаким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества. Насколько чувствовал себя бессильным каждый член читающей толпы, настолько же оказывались бессильными и герои Тургенева; но эти последние представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель, вместо того, чтобы анализировать и доискиваться, привыкал видеть в них свои идеалы. Притом же в этом будировании слышалось столько хороших и честных слов, что на людей, свободно произносивших эти слова, нельзя было смотреть без особенной сердечной симпатии. Это были слова несомненно новые, впервые произносившиеся в нашем обществе, но не такие, однако ж, которые озадачивали бы это общество, которые не нашли бы в нем некоторой подготовки. Умственному взору настроенного этими словами читателя открывалась целая обширная область, целая безграничная картина, в которой, на общем фоне досуга, красовались слова: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом, право на досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдывалось. А ежели мы еще припомним ту обаятельную обстановку, которою так богаты произведения Тургенева, то без труда поймем, почему этот писатель так всецело завладел вниманием нашей читающей публики.

Мы нимало не желаем обвинить Тургенева в том, что у него везде на первом плане стоит «лишний человек». Он сам придумал такое меткое определение для своих героев и, конечно, придумал его не с тем, чтобы льстить. Среда, которую изображал этот писатель, действительно ничем так не изобильна, как «лишними людьми», а взаимная разница между этими людьми заключается единственно в том, что одни сознают себя лишними, а другие не сознают. Сознание своей ненужности, успокоивающееся в самом себе, конечно, не заключает в себе ничего особенно плодотворного, но оно уже имеет то несомненное преимущество, что человек, обладающий им, по крайней мере, затрудняется своею ненужностью, совестится видеть в ней нечто непреложное, к чему должно обязательно прилаживаться все остальное, не страдающее умственными и нравственными колебаниями. Мы, конечно, знаем по опыту, что и это сознание может современем обратиться в привычку и в этом качестве утратить все признаки совестливости, но покуда эта метаморфоза не совершилась, покуда сознание живо и искренно, и покуда, сверх того, в нем заключается последнее слово, до которого додумалось цивилизованное общество, оно может даже принести известную долю пользы. Уяснение типа ненужного человека необходимо должно вызвать потребность в уяснении типа человека нужного; правдивое изображение среды, страдающей болезненными раздражениями мысли, неизбежно приведет к представлению возможности такой среды, где подобные раздражения допускаются только как исключения. Какими бы

симпатичными чертами ни рисовали мы «лишнего человека» — все же это явление болезненное, а не нормальное. Здравый смысл человека никак не примирится с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей, останавливающихся перед всяким живым делом в положении хемницеровского «Метафизика». Ведь идет же как-нибудь этот мир, делается же в нём какое-нибудь дело, непременно подскажет этот здравый смысл, стало быть, есть в нем какие-то другие люди, которые хотя не сильны по части метафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да и метафизикам жить дают. Но, повторяем, независимо даже от этого отдаленного результата, тип человека, сознающего себя лишним, имел право на симпатию по одному тому, что сознание это само по себе уже к чему-то обязывало, и с этой точки зрения Тургенев, конечно, имел полное право относиться к нему сочувственно.

Такова была наша публика сороковых годов. Обеспеченная относительно твердости внешних рамок, в которых замыкалось ее существование, проникнутая убеждением, что на ее долю выпало представлять собою интеллигенцию страны, напитанная совершенно своеобразными понятиями о существе и обязанностях этой интеллигенции, она вынесла из своего воспитания полнейшее чувство гадливости ко всему, что напоминало о так называемом черном труде. Отсюда безграничное благоговение пред искусством, отсюда — страсть к метафизической гимнастике. Предполагалось, что это занятие благородное, чистоплотное, способное не только украсить, но и оправдать досуг,

Никто не вспоминал о предках, никому не приходило на мысль, что и они не без услад проводили досужую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было только одно: что на первом плане новых услад стояло все то же слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из них, этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких иных слов и понятий не выжмете.

Доказать, что и те, и другие украшения различествовали только в форме, а не в сущности, очень не трудно. Эти доказательства представила нам сама жизнь. Все эти «лишние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненужность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя этими сетованиями, оказались, как только время предъявило некоторые притязания на их досуг, такими преестественными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность эта только спала́ в них, окончательно же никогда не умирала...

Те внешние причины, совокупность которых обусловливает тот или другой характер вкусов и требований публики, всегда оказывают свое действие с чрезвычайною медленностью. Мы часто видим, что формы жизни существенно изменяются, но тот живой состав, который (иногда даже по преимуществу) привлекается к этим новым формам, остается прежний, т.-е. тот же, который присутствовал и при измененных порядках. Измените общественное положение человека, ограничьте условия, которые обеспечивали его

досуг, поставьте его в необходимость признавать правоспособность там, где он ее никогда не признавал — вы этим не достигнете нравственного перерождения человека, вы не сделаете его ни трудолюбивым, ни предусмотрительным, не оградите его от поползновений вторгаться в пределы чужой правоспособности. В более или менее отдаленном будущем все эти результаты, конечно, и возможны, и неизбежны, но на первый раз все, чего можно ожидать — это того, что представление созданного Тургеневым типа «лишнего человека» встанет перед человеком с большею отчетливостью, нежели прежде, и притом обнаженное от тех украшений, которые когда-то сообщали ему некоторый кажущийся живой смысл. Предположим даже самый благоприятный случай: предположим, что человек, которого коснулась жизненная реформа, настолько развит, что понимает всю законность и справедливость ее; может ли он, за всем тем, идти далее признания этой справедливости, может ли подчиниться ей в такой степени, чтоб она стала для него не сегодняшним, а давним делом, вошедшим в его плоть и кровь? Очевидно, такое предположение само по себе уже так рискованно, что ответа на него не может быть другого, кроме отрицательного. Конечно, высокое чувство справедливости, да и то не иначе, как при помощи постоянной работы над собственным своим развитием, может до известной степени сгладить те привычки, которые укореняются в нас жизнью, но отказаться от старых привычек, придти к убеждению в необходимости согласовать их с новым строем жизни — все это еще не значит принять *новые* привычки, сде-

латься *новым* человеком. При том же, не следует забывать, что, заводя речь о чувстве справедливости, мы тем самым ограничиваем наш кругозор весьма немногими единицами и неизбежно исключаем из него большинство, которое этого чувства не сумело или не успело в себе воспитать. Мы часто видим людей, не только обладающих одинаковыми внешними формами, но даже стоящих, в сущности, на одинаковой ступени умственного развития, которые за всем тем очень мало интересуются друг другом потому только, что их разделяет какая-то совершенно незаметная, метафизическая кляуза — что же должно ожидать от сопоставления друг другу таких элементов, которые ни по внешним формам, ни по характеру интересов, ни по внутренней их сущности никаких общих точек соприкосновения между собою не допускают. Ясно, что тут может идти речь только о чувстве справедливости — не более, не менее. Положим, что на первый раз мы ничего больше и требовать не в праве, но самое это присутствие и даже преобладание идеи справедливости, *одной* этой идеи, уже доказывает, что обладающий ею человек может удовлетворять своим ближайшим интересам, вовсе не ощущая нужды привлекать к этому те новые формы жизни, которые вызваны требованиями справедливости. Он может оставаться при прежних привычках, при прежних вкусах и наклонностях, и ежели ограничит их в угоду голоса жизни, то сделает это не без тайного огорчения. Он как будто говорит: хорошо! я признаю за новыми стихиями то право на жизнь, которого они до сих пор не имели, я признаю за ними

даже право устроить эту жизнь на совершенно иных основаниях, но оставьте меня в покое, не требуйте, чтоб я смешивался с этими стихиями, дайте мне умереть посреди тех привычек и верований, которые воспитали мое прошлое. Необходимо родиться в известном порядке вещей или, по крайней мере, войти в него из условий сравнительно неблагоприятных, чтобы усвоить себе его совершенно просто и естественно. Иначе, на какой бы недосягаемой нравственной высоте мы ни стояли, даже если бы мы сами, всею своею предыдущею деятельностью, призывали новый порядок вещей, все же найдется известная капля горечи, которая, против нашего желания, отравит теоретическую непогрешимость наших сбывшихся надежд.

Таково отношение к новым формам жизни даже той части публики, которая хотя и воспитана в преданиях, понятиях и привычках старого времени, но все-таки не может не возбуждать наших симпатий своею относительною нравственною развитостью. Эти отношения исчерпываются всецело словом «справедливость», нимало не захватывая в себя всего человека. Но, как мы сказали выше, в подобного рода отношения может свободно стать только очень незаметное меньшинство; затем есть еще большинство, которое относится к этому делу несколько иначе. Это большинство (опять-таки предупреждаем, что и под этим словом мы разумеем только бывшее, мыслящее меньшинство читающей публики сороковых годов), быть может, с неменьшим нетерпением звало новые порядки, но, вместе с тем, показало совершенное отсутствие теоретической

твердости и последовательности и совершенно неожиданное обилие практической чувствительности относительно тех существенных изменений, которые привели за собой эти порядки.

Дело в том, что это большинство меньшинства если и призывало какие-то новые порядки, то делало это бессознательно, с чужого голоса. Члены этого большинства были даже не «лишние люди» тургеневского закала, а только прихвостни их. Притом же, ограничиваясь предположениями и выводами свойства исключительно априористического, эти люди легко могли и не предвидеть тех практических последствий, которые необходимо влекло за собой исполнение их желаний. Так, например, в великой реформе, упразднившей крепостное право в России, их пленяла только красивая сторона дела, т. е. устранение безнравственных и бесправных отношений человека к человеку; затем личность народа, его практическое устройство оставались в тумане попрежнему, а о тех ограничениях, которые естественно вытекали из устранения бесправных отношений, не могло быть и помину. Казалось, что останется то же самое, что было и прежде, только прежние принудительные отношения примут характер добровольный, что, конечно, несравненно приятнее. Относительно судебной реформы опять то же пристрастие не к существенной, а к красивой стороне дела, т. е. к гласности и устности, которые дают больший простор талантам. Понятно, с каким изумлением должны были увидеть эти господа, что живое дело никогда не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним суще-

ством, которое в нем заключается. Наиболее смелые и рискованные их предположения вдруг оказались настолько опереженными самою скромною действительностью, что на некоторое время недоумение было исключительным чувством, овладевшим этою псевдо-либеральною толпою. Но ежели люди до того близоруки, что не могут предвидеть самых простых последствий призываемого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им, что они не в силах овладеть им настолько, чтобы привести его к доброму концу. Отсюда первое кровное оскорбление в бессилии и неумелости. Мы призывали, мы бились изо всех сил, и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, оказалось, при самом рождении своем, вышедшим из меры того роста, который мы ему предназначили! Однако, и с этим бы еще можно примириться; но оказывается, что детище наше не только черезчур долговязо, но еще неблагодарно. Оно не признает за нами способности воспитывать его, — пусть так! Но оно не хочет даже благоговеть перед нами, не хочет понять, что мы все-таки статья особая, которая всем этим жизненным дрязгам ни под каким видом причастна быть не должна. Это вторая кровная обида. И вот, все эти люди, столь недавно еще казавшиеся самыми несомненными либералами, вдруг делаются еще более несомненными злопыхателями и начинают поносить те самые явления, в которых они когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни.

Такова другая часть нашей мыслящей публики, той публики, с понятием о которой мы привыкли связывать представление о всех про-

явлениях нашей умственной жизни. Ясно, что если первая часть этой публики, не подчиняясь вполне новым явлениям жизни, все-таки сохраняет к ним отношение справедливости, то в другой ее части не может быть речи даже и об этих последних отношениях. Тут просто является чувство слепого негодования, которое тем более разжигается, чем сильнее, в прошедшем, питалось чувство самонадеянности в каждом отдельном субъекте ее.

Таковы отношения к новым формам жизни той публики, которой мнения считаются имеющими какой-нибудь авторитет в обществе. Теперь посмотрим, каковы должны быть эти отношения со стороны литературы, и каковы они суть на самом деле.

Говоря теоретически, требования литературы относительно какого бы то ни было жизненного вопроса не могут оставаться позади требований публики. Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить *будущую* его физиономию. Она приводит эти стремления в ясность, она отыскивает для них надлежащие формы, и в особенности важны ее заслуги в этом смысле там, где замечается недостаток в публичности, и где, следовательно, общество представляет собой не что иное, как собрание разрозненных единиц. Очень понятно, что такого рода

задача может быть выполнена только под условием известной умственной подготовки и потому весьма естественно, что к литературному труду привлекаются лучшие силы общества, и что, в строгом смысле, общественною интеллигенцией может быть названа не другая какая-нибудь среда, а именно и исключительно среда литературная.

Поэтому, если мы замечаем в обществе движение в смысле расширения сферы его самодеятельности, то можем сказать безошибочно, что литература не только относится к нему сочувственно, но что и самое движение, прежде всего, было вызвано ею. В литературах самых забитых, самых бедных инициативой, мы замечаем несомненные признаки этого почина, и ежели они не бросаются нам в глаза со всею яркостью, то потому только, что мы не всегда обладаем способностью обобщения и применения. Но этого мало: возбудив в обществе потребность самосознания и самодеятельности, литература не успокоивается на тех видимых явлениях, которые возникают как естественное следствие ее пропаганды. Прежде всего, она определяет действительное значение и объем возникшего, а затем указывает на его способность к дальнейшему развитию и на те новые стихии, которые оно призывает к жизни. В этом-то собственно и заключается самая существенная и плодотворная сторона ее деятельности. Таким образом, работа литературы представляется нам тою непрерывною, самооплодотворяющею работою, в которой одно определившееся явление неизбежно вызывает целый ряд иных, еще не определившихся.

но уже возможных явлений. Те новые стихии, которые после каждой победы мысли призываются литературой к участию в жизни, могут дать повод к таким бесчисленным общественным комбинациям, которые в глазах непосвященной уличной публики должны казаться не более как безобразными призраками, но которые литература обязана не только предусматривать, но и регулировать.

Таковы нормальные отношения литературы к явлениям жизни. Признаки этих отношений мы замечаем и в русской литературе; они проходят через нее непрерывно с самого начала ее существования, они длятся и теперь. В прошедшем мы можем указать на таких деятелей, как фон-Визин, Новиков, Белинский, Гоголь, Тургенев, которые, без сомнения, оказали русскому самосознанию услуги неоцененные; в настоящем... но об этом речь впереди. Во всяком случае, если и можно назвать таких отдельных представителей современной нашей литературы, которые, в виду нового фазиса движения русской мысли, не находят ничего более, как разделять по поводу его недоумение публики, то это все-таки не более как единицы, присутствие которых нимало не изменяет инициаторского характера русской литературной деятельности.

Теперь сделаем общий вывод из всего сказанного нами. С одной стороны, в нашей жизни в течение последнего десятилетия произошли такие существенные изменения, которые отчасти превзошли ожидания цивилизованного меньшинства, отчасти же хотя и встретили его сочувствие, но только в смысле справедливости и за-

конности. С другой стороны, мы видим те же изменения и рядом с ними литературу, которая не только сочувствует им, но усматривает в них несомненную способность к дальнейшему развитию. Таким образом, относительно одного и того же явления образуются двоякого рода отношения, совершенно противоположные. Ясно, что они не могут стать друг к другу иначе, как враждебно, или, по малой мере, индиферентно. Что для одних представляется торжеством разума и справедливости, то для других однозначаще с победою безумия, насильства и других темных сил. А так как тот общественный элемент, в котором заметно наименее сочувствия к новым формам русской жизни, составляет вместе с тем и главный контингент читающей публики, то понятно, с какой точки зрения должна смотреть эта последняя на нашу литературу, т. е. на ту ее часть, которая с особенным вниманием следит за общественным движением. Все в этой литературе должно казаться странным нашей туго поддающейся публике сороковых годов: и ее симпатии, и те новые люди, которых она выводит на сцену, и тот новый язык, которым она начинает говорить. Все это или до крайности мало интересует ее, кажется мелким, не захватывающим ни в глубину, ни в ширину, или же представляется чем-то задорным, вызванным с единственною целью тревожить ее самолюбие, разбереживать ее раны. Отсюда жалобы на бедность литературы, на то, что силы ее видимо иссякают, а на поверку, очень может статься, выйдет, что не литературные силы беднеют и поражаются бессилием,

а чутье читающей публики делается все менее и менее состоятельным.

Но, скажут нам, каким образом могло случиться, что новые основания жизни, которые вывели на сцену столько новых стихий, скрывавшихся доселе за кулисами, не оказали в то же время почти никакого влияния на обновление состава читающей публики? Нет ли тут преувеличения? Или, быть может, эти новые стихии такого сорта, что для них литература даже вовсе не составляет необходимого условия жизни?

Ответ на эти вопросы заключается в некоторых особенностях, под влиянием которых воспитывается и выделяется читающая публика вообще.

Выше мы указали на те причины, вследствие которых публика, дотоле обнаруживавшая видимое участие к судьбам литературы, может сделаться совершенно равнодушною к ней; те же самые причины, аналогически, оказывают свое действие и относительно той *новой* публики, которая имеет образоваться вследствие *нового* строя жизни. Если в первом случае главным агентом равнодушия является недостаток живой связи с измененными основами жизни, то во втором таким агентом представляется недостаток самосознания. Не следует забывать, что хотя за всякими новыми порядками необходимо врываются в жизнь и новые делатели, но нужно не мало времени, чтобы эти последние, так сказать, натурализировались в неизвестном и непривычном для них мире, чтобы они усвоили себе его основания и извлекли из них все выгоды, кото-

рые они могут дать. Первый предмет, который в этом случае привлекает внимание нового человека, — это выгода непосредственная, выгода, которую можно понимать и осязать, не имея надобности прибегать к каким-нибудь отдаленным соображениям. Но так как этих простых, кидающихся в глаза выгод очень много, так как без достижения их невозможно думать ни о каких иных выгодах, и так как это достижение дается не совсем легко, то проходит довольно много времени, прежде чем переход от выгод непосредственных к выгодам более сложным сделается естествен и возможен. Скажем более: эти простые выгоды, которые представляются наиболее доступными самому неразвитому пониманию, суть в то же время и те, которые на практике всего более возбуждают затруднений. Мы поймем это, если примем в соображение, что эти простые выгоды вместе с тем и самые дорогие, т. е. такие, без которых нельзя сделать в жизни шагу. Среда, которая обладает ими, поступается ими гораздо туже, нежели выгодами гораздо более сложными, каковы, например, выгоды образования, различных политических прав и т. п. Но, с другой стороны, понятно и то, что на них-то преимущественно напирает и та среда, от которой, до случая, эти выгоды были заперты на ключ. Она не может идти дальше, прежде нежели запасется этими простыми и на первый взгляд грубыми выгодами. Это первая причина, вследствие которой новые люди остаются равнодушными не только к литературе, но и к другим, менее сложным, но тем не менее существенным стихиям жизни цивили-

зованного общества. Вторая причина заключается в недостаточной умственной подготовке новых участников жизни. Гораздо труднее объяснить равнодушие к судьбам новой русской литературы со стороны тех людей, которые все-таки дошли хоть до понимания типа «лишнего человека», нежели со стороны тех, которые воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной книге». Литература, как высшее выражение стремлений общества, требует задатков весьма разнообразных от тех, которые хотят в ней найти для себя поучение, и хотя для того, чтобы принять духовное участие в ее интересах, нет особенной необходимости пострадать на практике, в виде переходной меры, бессилием и сомнениями «лишнего человека», но все же необходимо, по малой мере, освободиться от ошеломляющей теории «трех китов» и других подобных несообразностей. Подготовительная работа подобного рода идет довольно медленно, и по большей части от нее совершенно ускользают ближайшие поколения, по той причине, что у них, как сказано выше, и без того много насущного дела. И таким образом оказывается, что если старая публика успела уже утратить чутье к интересам литературы, то публика новая не успела еще воспитать его.

Одним словом, дело принимает оборот совершенно другой, нежели тот, который дают ему наши литературные соболезнователи. Бедность действительно существует, но не там, где ее предполагают. Она поразила не литературные силы, а саму публику, которая не хочет или не может изменить свои взгляды на жизнь даже тогда,

когда сама эта жизнь изменяет себя во всех своих подробностях.

То, что отстраняет от новой литературы наших мистиков сороковых годов, то именно и дает ей право на живучесть и силу. Это — новые типы, которые она пробует выводить, это — новое дело, о котором она говорит, это — новый язык, с которым она нас знакомит. Все, что проходило перед нами в тумане, весь этот люд, который представлялся нам не иначе, как в качестве декорации, и мимо которого мы проходили без всякой мысли, — все это встает перед нами живое и своеобразное, все это, несмотря на грубость форм, предъявляет свое несомненное право на признание в нем человеческого образа, а в этом качестве — и на самую жизнь.

Читатель, может быть, спросит: где же эти новые талантливые деятели, на которых можно бы сослаться, как на представителей действительности литературного поворота? Отвечаем: этими деятелями прежде всего являются, во-первых, общее направление совоеменной молодой литературы и, во-вторых, то служение правде, которым оно всецело проникнуто.

Читатель сороковых годов, который примирялся с литературой только под тем условием, чтобы она изображала ему человека, посвящающего свой досуг упражнениям в благородстве чувств, не хочет принять в соображение, что тип этот исчерпан до дна, и, следовательно, потерял даже право на самостоятельное существование. А между тем это самая вопиющая истина. С благородным досугом мы дошли до глухой стены, до совершенной невозможности

приладиться к какому-нибудь делу. Бессилие привело нас к бесконечным сетованиям, и сетования эти оказались до того однообразными, до того бессодержательными, что даже нас самих по временам приводят в негодование. Мало того, что мы везде чужие, что куда бы мы ни обратили наши взоры, всюду как будто «не наше дело», мы до того безразлично смотрели до сих пор на все окружающее, что не можем даже указать, откуда следует ждать нам помощи, где та среда, в которой делается какое-нибудь дело. Мы не можем делать сами, не можем указать и другим на дело. И это бессилие еще тем усугубляется, что даже и оно не оригинальное, а бледный сколок с различных Ренè, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров. В этой игре сомнениями для сомнений, в этом гордо выставляемом напоказ разочаровании слышалась какая-то наглая комедия, в которой не было ни одного своего чувства, ни одного своего слова. Спрашивается: при всем пристрастии к этому типу, можно ли развивать его далее?

Нет, нельзя. Он сделал свое дело, он даже принес свою посильную пользу, в том смысле, что выставил в настоящем свете то так-называемое цельное миросозерцание, представителями которого служили Собакевичи и Ноздревы, и положил ему предел. Далее он идти не мог, потому что дальше уже почувствовалась потребность в правде, в той живой правде, к которой некогда стремился Гоголь, безуспешно отыскивая положительные стороны русской жизни и русского человека.

Литература наша, — и это приносит ей величайшую честь, — никогда не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно обнаруживала в этом отношении похвальную брезгливость. Типы, созданные Гоголем и Тургеневым, были несомненно представителями реальной правды своего времени; все дело в том, что круг этой правды был слишком ограничен, чтобы дать место достаточному разнообразию мотивов. Нам могут возразить, что человек сам по себе, в каком бы тесном кругу мы его ни заключили, представляет такой разнообразный нравственный мир, в котором легко найдется место для всевозможных качественных определений. Но это положительно несправедливо, ибо, исходя из этой теории, мы можем дойти, наконец, до дикого человека, до тюрьмы. Чем меньше разнообразия представляет среда, в которой обращается человек, тем менее дает она ему впечатлений, и тем скуднее становится его нравственный мир. Некоторые качественные определения могут развиться не вполне, другие—получить развитие фальшивое, третьи — совсем заглохнуть. Постепенно уединяясь, человек может, наконец, дойти до крайней умственной и нравственной ограниченности, которая едва ли и не составляет единственный источник разочарования и озлобления, нередко замечаемого в людях, к удивлению, признаваемых даже стоящими выше толпы. Следовательно, не вина писателей, а ограниченность самого круга правды, трудность, с которою сопряжен был доступ в него освежающей струе — вот действительная причина бедности мотивов, которою страдала

наша литература сороковых годов. Но приемы их были верны, отношение к изображаемому миру честно, и в этом смысле предания, которые она оставила молодому литературному поколению, заслуживают полного уважения. Эти предания гласят нам: во-первых, что с словом надобно обращаться честно; во-вторых, что есть нечто худшее, нежели самая худая действительность — это преднамеренная ложь на нее. Можно ли сказать что-нибудь более этого? Можно ли наметить задачу более серьезную и более трудную для выполнения?

Молодая наша литература приняла и сохранила эти предания вполне. Если мы и видим в области печати уклонения от честного обращения с словом и от правдивого отношения к действительности, то уклонения эти принадлежат исключительно остаткам старой литературы. Они одни, по какому-то горькому недоразумению, явились отступниками от завещанных ими же самими нравов и обычаев литературной честности, на них же одних должна пасть и вся ответственность за такое отступничество. Это отступничество может со временем тоже составить своего рода предание, но будем думать лучше, что прецедент этот умрет вместе с теми, которые вольно или невольно явились его создателями.

Положение современной русской литературы можно сравнить с положением исследователя, которому предстоит уяснить совершенно новый вопрос. Отправный пункт найден, правильные приемы для исследования сознаны, но в то же время материал, находящийся под руками, так

разнороден и так мало подвергался даже поверхностной разработке, что проникнуть в ту сокровенную сущность, которую заключает в себе каждое звено его, составляет затруднение очень существенное. Для литературы стало ясно, что дело отрицания утратило не только свою относительную, жизненную полезность, но даже перестало быть привлекательным, и что тип человека, задумавшегося на распутии, исчерпан сполна; потом, сделалось не менее ясно, что затем следует уже искать типов положительных и деятельных и отнестись к ним с тою же правдивостью, с которою литература предшествующего периода относилась к типу человека, страдающего излишним досугом. Весь вопрос в том, где искать этих деятельных и положительных типов. Очень может статься, что та среда, в которой они обретаются, представляет собою грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил; очень может быть, что это даже и не масса, а просто безобразная агломерация единиц, тянущих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели. Все это, пожалуй, очень вероятно и даже несомненно, но не менее несомненно и то, что иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено, а потому литература не только имеет право, но даже обязана обратиться прежде всего к исследованию именно этой грубой среды и принимать даваемый ею материал в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивою внешностью и не отвращаясь от темных сторон, которые ее обусловливают.

Такого рода работа отнюдь не заключает в себе признаков отрицания, как это обыкновенно истолковывается недоброжелательным к литературе меньшинством; нет, это просто работа подготовительная, разъясняющая публике, на первый раз, ту слишком часто забываемую истину, что всякое дело следует начинать с начала. Необходимо прежде всего опознаться в материале, уяснить его частности, а потом уже отыскивать в нем ту объединяющую нить, которая создает типы. Этих типов еще нет, или, лучше сказать, они не найдены, но литература, уважающая свое народное и общечеловеческое призвание, никогда не забывает, что возможность типических очертаний не может иссякнуть, покуда не иссякнет самая жизнь, точно также как естествоиспытатель не может сказать, что то или другое открытие, как бы громадно ни было его значение, закрывает собою книгу природы и полагает предел дальнейшим исследованиям. В строгом смысле, нельзя даже безоговорочно утверждать, что *нет* типов, а можно сказать только, что они нам неизвестны, и что их необходимо вызвать из мрака, в котором они ютятся, необходимо очистить от случайных наносов для того, чтобы разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают.

Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь. В этом предприятии ей значительно споспешествует то расширение арены правды, арены реализма, о котором мы говорили выше. Как бы

скептически мы ни относились к успехам последнего времени, все-таки невозможно не признать, что, в виду всех, рост русского человека несомненно увеличился, и ежели мы и доныне относимся к этой истине с недоверием, то источником такого недоверия служит то, что мы этого увеличения роста ищем совсем не там, где его искать следует. Мы все чего-то ждем от валаамовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто может заговорить, и оттого упускаем из вида тот подлинный источник, из которого должна источиться струя нового, живого русского слова. Об этом-то источнике мы и намерены поговорить с нашими читателями.

Рассматривая общество в его составных элементах, мы убеждаемся, что эти элементы двоякого рода: во-первых, элемент, скопляющий знания, распространяющий их и воспитывающий, и, во-вторых, элемент воспитываемый и в то же время дающий материал для знания и поправляющий его. Общество сороковых годов не представляло никаких признаков подобного различения. В нем не имелось воспитывающего элемента, потому что не было иного знания, кроме стоящего на метафизической основе, и, следовательно, для воспитываемой среды мало пригодного. С другой стороны, воспитываемая среда была безмолвна и равнялась нулю. Нечего было воспитывать, да и нечем. Бессилие всех общественных сфер было одинаково, и давление их одной на другую было возможно только в одном смысле — в смысле бессилия. В настоящее время хотя полнота и достоверность накопленного знания и может подлежать

спору, но несомненно, что отыскан путь для уяснения истины, и, следовательно, сделалось доступным и самое знание. Вместе с тем, та среда, которая необходима для того, чтобы знание не осталось достоянием кастической исключительности, и которая доставляет для него наибольшую массу материала, сделалась гораздо доступнее вследствие освобождения ее от внешних тенет, которые спутывали ее движения.

Вот в каком виде представляется нам современное русское общество, как предмет изучения для литературы. Посмотрим теперь, в какой степени этот материал способен выделять из себя положительные типические определения.

Начнем с той части общества, которую мы назвали воспитывающею. Направление, которое приняла ее деятельность в последнее время, неутомимость, с которою она всю себя посвящает распространению в публике положительных знаний, составляют явление до того общеизвестное и фактически засвидетельствованное, что долго останавливаться на нем излишне. Для одних это явление представляет лишь пищу для безобразных и злобных глумлений, для других оно составляет предмет самых серьезных надежд; во всяком случае, оно слишком типично само по себе, чтобы можно было сделать малейший шаг в деле изучения общества, не коснувшись его. Люди, наиболее чуждающиеся современного направления русской мысли, очень хорошо понимают, что тут уже есть живой и своеобразный тип, на который они охотно клевещут и взводят небылицы, но которого обойти не могут. Попытки их по части уяснения этого типа, хотя всегда

сопровождаемые некрасивою заднею мыслью, можно назвать, в известном смысле, даже полезными. Правда нуждается иногда даже в клевете и в преувеличениях, чтобы вполне определить себя, а так как положительные признаки этого нового типа покуда намечены еще весьма слабо, то отрицательное отношение к нему может послужить весьма нелишнею подготовительною работой. Как ни велико озлобление, как ни сильно старание забросать грязью современное молодое поколение, все-таки и сквозь мутную воду, столь тщательно собираемую нашею положительно-нигилистическою беллетристикою из всех петербургских подземных труб, видно нечто такое, что заставляет наших enfants terribles[1] сороковых годов останавливаться в недоумении и прерывать начатую фразу на половине. Отбросьте комки грязи (они очень легко отчищаются), и перед вами откроются признаки весьма почтенные, над которыми могут глумиться или только очень близорукие люди, или люди преднамеренно озлобленные. Возьмем, например, хоть один из этих признаков: непринятие на веру тех или других предположений, потому только, что они принадлежат известному авторитету. Признак этот в современной положительно-нигилистической литературе известен под именем «неуважения к авторитетам», а в литературе полицейско-нигилистической под именем «неуважения к начальству». Под этими характерными наименованиями он, конечно, представляется чем-то дерзким, необычным, и потому

[1] Сорванцов

пугает. А в сущности, тут вовсе нет никакого «неуважения», а просто одно естественное желание относиться к авторитетам сознательно и сознательно же усваивать себе то, что они утверждают. Мы полагаем, что от привлечения этого элемента сознательности выигрывают обе стороны: и та, которая сознает, и та, которую сознают, ибо только та связь и может считаться прочно установившеюся, из которой, по возможности, устранены недоразумения и колебания — эти неизбежные спутники всякой бессознательности. Сознательное отношение к авторитету даже нимало не подрывает уважения к общему характеру его деятельности, ибо авторитет утверждается на основании не одного какого-нибудь факта, не одного какого-либо подвига, но на основании целого ряда фактов и подвигов, и, следовательно, случайная или частная ошибка нимало не может повредить общему, достойному уважения, характеру деятельности авторитета. Конечно, если авторитет вдруг почему-нибудь свихнется и начнет врать изобильно и систематически, это может подорвать и самое уважение к нему, но и тут не произойдет ничего другого, кроме совершенно естественного и должного. Возьмем другой пример: искание более твердой почвы для человеческих убеждений и действий, и, как следствие этого искания, стремление в область естествознания и недоверие к метафизике. В современной положительно-нигилистической литературе признак этот известен под именем непризнания благороднейшей, духовной природы человеческого существа, в полицейско же нигилистической литературе — опять-таки под

именем «неуважения к начальству». А в действительности, тут вовсе нет никакого непризнания духовной природы, а есть только иной взгляд на нее и иное ее разъяснение. Теряет ли сущность дела от того, что проводимый метафизиками дуалистический взгляд на природу человека будет заменен другим, более рациональным? До того ли сладки плоды, к которым привели нас метафизические увлечения, сущность которых заключается в том, что они держат общество в постоянном брожении, чтобы следовало держаться за них всеми силами, даже вопреки свидетельству здравого смысла? И, наконец, возможно ли, по совести, видеть что-то угрожающее и анархическое в тех попытках, которых единственная цель в том только и заключается, чтобы положить предел умственным и нравственным колебаниям и внести в общественные отношения характер твердости и прочности? Возьмем третий признак — это бодрость и смелость, с которою деятель нового закала приступает к вопросам жизни, и которая на литературно-нигилистическом языке называется нахальством, а на языке полицейско-нигилистическом опять-таки неуважением к начальству. Но мы, конечно, очень долго не кончили бы с исчислением подобных признаков, если бы для наших целей не было достаточно и этих. Повторяем: за комками грязи, за восторженностью дурацкого удивления всегда можно различить очень простую и вовсе не заслуживающую удивления действительность, и результат этот тем легче будет достигнут, чем гуще тот слой красок, к которым обыкновенно прибегают клевета и непонимание. Следовательно,

в строгом смысле, на обличения, направленные против нового типа русского человека, не только нельзя быть в претензии, но можно даже не без пользы эксплоатировать их. Положим, что в основании их лежат почти исключительно одни наносные слова без смысла и без содержания; но если среди ливня лжесвидетельств мы можем найти хотя малейшую крупицу правды, то и ею не имеем права пренебрегать и ее обязаны принять в соображение.

Со стороны той части русской литературы, которая сочувственно относится к новому типу русского человека, также были сделаны некоторые попытки к объяснению его, но должно сказать правду, что попытки эти были не весьма удачны. Причина этих неудач скрывается главнейшим образом в том, что литература наша и до сих пор не может вполне освободиться от отрицательного отношения к жизни, которое столько времени властвовало в ней. На положительные типы мы до сих пор смотрели с недоверием, и с представлением об них связывалось представление о какой-то добродетели, над которою так язвительно и резонно смеялся Гоголь. Поэтому новые литературные деятели, поставленные между необходимостью создавать положительные типы и тем рутинным понятием о добродетели, которое при этом навязывается само собою, приходят к результатам не только совершенно неожиданным, но и противоречащим тому основному убеждению, в силу которого искусство должно иметь в виду только реальную правду. Герои положительного закала являются перед публикой или преждевременно состаревшимися кадетами,

которые не могут приступить к делу по той причине, что не умеют даже назвать его, или какими-то очень нищими духом аскетами, которые всю суть дела видят в нелепой проповеди воздержания. Все эти люди очень мало выражают себя в действии, и, напротив того, слишком много предаются теоретизированию различных поступков и действий; они *не поступают*, а только толкуют о том, *как поступать должно*, и этим справедливо навлекают на себя упрек в безжизненности и невыношенности. Таким образом, классическое понятие о том, что истинный герой должен быть непременно снабжен добродетелями, остается во всей силе, да и самое изображение этих добродетелей не только не противоречит учению Гоголя о тех приязненных отношениях, в которых находится добродетель с пошлостью, но даже в значительной степени подтверждает его.

Но, кроме укоренившихся привычек, препятствующих отысканию положительных типов в той среде, которую мы назвали воспитывающею, немаловажное затруднение в этом случае представляет, во-первых, сравнительная сложность этих типов, а, во-вторых, те условия, среди которых развивается их деятельность. Автор, желающий изобразить положительного русского человека, должен не только стоять на известной нравственной высоте, но и обладать достаточною суммою знаний, без помощи которых невозможно объяснить те особенности языка, приемов и отношений, совокупность которых собственно и составляет живое лицо. Насколько незначителен внутренний запас человека отрицательного на-

правления, и насколько эта внутренняя бедность облегчает изучение его, настолько богат реальным содержанием внутренний мир нового человека и настолько делается менее доступным его изучение. Первое и самое обязательное условие для каждого писателя-художника — это стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом. Объяснение типа человека праздного легко достигается при помощи одной талантливости, но объяснение типа человека дела, человека профессии уже требует, кроме талантливости, еще известной подготовки. Для пояснения нашей мысли возьмем вопрос, который еще очень недавно привлекал к себе внимание нашей мыслящей публики — вопрос о положении женщины в обществе. Для полного разъяснения этого вопроса недостаточно одних априорических построений; а также недостаточно ни благодушия, ни даже отвлеченной идеи справедливости. Эти общедоступные, паллиативные приемы могут, конечно, до известной степени, видоизменить положение дела, но окончательно устроить его не могут, потому что в настоящем случае разрешение достигается только путем положительного наблюдения, т. е. тем единственным путем, который исключает всякую бессознательность. Теперь представьте себе человека, который пришел к уяснению себе этого вопроса именно этим последним путем — очевидно, что те общие выводы, которых он при этом достиг, необходимо должны отразиться и на его собственных, личных отношениях к женщине, и что отношения эти будут несколько иные, нежели те, которые мы привыкли видеть и которые образовались под

влиянием известных исторических преданий. С другой стороны, представьте себе этого человека, как предмет наблюдения в глазах такого наблюдателя, который совершенно чужд предварительному процессу, послужившему основанием для нового взгляда на женщину — что может из этого выйти? Ясно, что под углом зрения этого наблюдателя новые формы отношений мужчины к женщине легко примут размеры странности, так что ежели это наблюдатель, настроенный враждебно, то у него, как результат наблюдений, выйдут картины цинического разврата; если же это наблюдатель, расположенный симпатически, то у него выйдут картины не менее нелепого аскетизма. В обоих случаях ложь и совершенное непонимание той средней, естественной свободы отношений, в которой и заключается вся сущность дела. Точь-в-точь такие же затруднения встретим мы, конечно, и по всем другим подробностям жизненной обстановки нового человека. Везде необходимость стоять на одном уровне с изображаемым предметом, везде необходимость дойти до этого уровня путем личной серьезной подготовки, — вот те затруднения, котооые прежде всего обязан устранить наблюдатель. Мы не говорим, чтобы эти затруднения были непреодолимы; они даже и теперь, по мере постепенного распространения в обществе положительных знаний, уже делаются менее и менее существенными, но, во всяком случае, существования их весьма достаточно, чтобы объяснить, почему среда наблюдающая оказала еще слишком мало успехов в разъяснении положительного типа русского человека.

Не менее, ежели не более затруднений к уловлению типических черт представляет и та внешняя обстановка, среди которой действует новый человек. Эта обстановка почти не существует, или, лучше сказать, она до такой степени стеснена, что представляет собой только раздражающую и преисполненную всяких опасностей приманку. Общество слишком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему какое-нибудь деятельное участие в жизни, оно слишком мало подготовлено к тому, чтобы допустить, что те жизненные отношения, которые сознаны новым человеком, не только рациональны, но и вполне практичны. При таком настроении большинства новый человек делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предметом объяснение человеческого образа, ведает исключительно поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую ощутительную пустоту должно представить для него то фаталистическое условие, которое преградило или, по малой мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность свободного внешнего проявления. За какие типические черты может ухватиться художник-наблюдатель, когда эти черты почти неприступны в своей абстрактности, когда для них немыслима та свободная игра, которая могла бы служить им воплощением? Да хорошо еще, если эти черты только неприступны, а если они, сверх того, еще до известной степени извращены отсутствием света и воздуха? как угадать их, как

восстановить их действительный характер? как отличить действительность наносную от истинной? Очевидно, что если подобного рода работа и возможна, то для нее требуется такая сумма проницательности, которая нигде не встречается иначе, как в виде исключения...

Итак, с одной стороны, укоренившееся преданием предубеждение в пользу типа отрицательного, с другой стороны, внутренняя сложность нового типа и бедность его внешней обстановки— вот те препятствия, с которыми боролась и до сих пор борется новая русская литература в своих поисках за положительными сторонами русской жизни. Борьба трудная, и потому очень естественно, что результаты, которые добыты ею до сих пор в этом направлении, не могут назваться вполне удовлетворительными. Но не надобно забывать, что литература всегда и неизбежно отражает на себе признаки своего времени. Наше время, по справедливости, называется переходным, т. е. таким, которое не столько дает готовые ответы на вопросы, сколько собирает материалы для этих ответов. Этот же переходный характер необходимо признать и за литературным движением последнего времени. Результаты его не поражают блеском — это правда; но важно то, что сознана необходимость положительного отношения к жизни, что уже намечены основные черты нового типа, и в то же время неутомимо собирается материал, необходимый для дальнейшего всестороннего определения его. Этих результатов совершенно достаточно, чтобы признать за современным литературным движением характер движения плодотворного.

Остальное придет само собою, оно придет как естественное последствие усилий той самой жизни, возбуждение которой принадлежит бесспорно литературной инициативе.

Но для того, чтобы убедиться, что ожидания наши нимало не преувеличены, необходимо коснуться здесь отношений новой русской литературы к той части нашего общества, которую мы назвали выше воспитываемою.

Попытки знакомить читающий люд с народными русскими типами, или, лучше сказать, с элементами этих типов, ведут в нашей литературе свое начало довольно издалека. Еще Державин приглашал публику взглянуть:

Как в лугу весной бычка
Пляшут девицы российски
Под свирелью пастушка...

Но должно думать, что танец российских девиц был или не к месту, или слишком неотчетливо вытанцовывался — во всяком случае, публика того времени не могла вынести от него никаких для себя поучений, да и для потомства не прибавилось от того никаких мужицко-хореографических данных. Затем, последовательно «показывали» русского мужика писатели карамзинской школы, но и у них слово «мужик» как-то не выговаривалось, и публика пришла к убеждению, что слово это неудобное и что таково свойство литературы, что она одним прикосновением к мужику немедленно превращает мужика в пейзанина. Первый писатель, которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был г. Григорович. Он первый дал почувствовать, что мужики

не все хороводы водят, но пашут, боронят, сеют и вообще возделывают землю; что, сверх того, беспечная поселянская жизнь очень нередко оттеняется такими явлениями, как барщина, оброки, рекрутские наборы и т. д. Но такова была елейная ограниченность этого писателя, до того несомненно было жорж-зандовское происхождение его повествований, что даже те бесспорно русские явления, около которых, повидимому, сосредоточивается весь интерес рассказанных им драм и о которых мы сейчас упомянули, никого не заставили задуматься. Дворянину-читателю казалось, что все это пишется только к примеру, что рассказы эти не более как попытка ввести в русскую литературу новый жанр, уже пользующийся успехом за границей, и что все эти оброки, барщины и наборы представляют собой лишь своеобразные средства для построения драмы. И действительно, общий фон измышленных г. Григоровичем повествований о судьбе и быте русского крестьянина был до того безразличен, что русские слова утопали в нем почти бесследно, и ежели публика останавливалась перед этими картинами, то обнаруживала при этом не более участия, как и при виде литографий в роде: „Le convoi du pauvre“ или „Le violon brisé“,[1] выставляемых в окошках магазинов эстампов. Наконец, г. Григорович до того надоел своим идиллически-пейзанским хныканьем, что вызвал реакцию: на сцену явился г. Н. Успенский. Этот писатель вышел из принципов, совершенно противоположных Григоровичу; он находил, пови-

[1] «Похороны бедняка» или «Разбитая скрипка».

димому, что действительность требует не украшения, а правды, и начал говорить эту правду настолько, насколько хватало у него сил. Но и тут вышло нечто совершенно неожиданное: оказалось, что под углом зрения г. Н. Успенского русский крестьянский мир представляет собою не более не менее, как обширное подобие дома умалишенных. Мужик этого писателя не имеет в голове ни одной мысли, ни одной серьезной заботы; это какое-то нелепое животное, которое вечно празднует, вечно пьянствует, а в промежутках говорит глупые слова. Автора еще спасала несколько та веселая струя, которая была разлита во всех его рассказах, но и за всем тем изображение организованной бессмыслицы, без начала и без конца, оказалось до того смелым, что даже самые смешливые люди с трудом мирились с ним. Подражателей у г. Н. Успенского не нашлось, а если таковые и были, то во-время остановились.

Кроме этих двух писателей, мы должны бы были упомянуть еще о Тургеневе, но, к сожалению, бесспорно-талантливая деятельность этого писателя на поприще разработки народных типов проявилась эпизодически и была слишком заслонена последующею литературною его деятельностью, чтобы оказать решительное влияние на характер и направление нашей литературы в этом смысле.

Результаты всех упомянутых попыток, как в идиллическом, так и в юмористическом роде, были самые скудные. Физиономия русского простолюдина не только не выяснилась, но еще более утонула в тумане, благодаря балетно-идил-

лическим украшениям с одной стороны и поверхностно-карикатурным обличениям с другой. А вместе с тем осталась скрытою от глаз читателей и тайна русской жизни, та горькая тайна, которая до того спутывает все понятия, до того морочит глаза, что и впрямь дозволяет первому встречному наблюдателю утверждать, что русский крестьянский мир есть мир бессмысленных и ничем не объяснимых движений. Поэтому, как ни усиливались писатели разжалобить или развеселить публику насчет русского мужика, впечатление, производимое их усилиями, было слабое и скоропреходящее. Лишенные всякой цельности, а следовательно, и художественной правды, измышленные ими образы столь же мало трогали нас за живое, как и те зипунники, мимо которых мы безучастно проходим каждый день по городским улицам и площадям. Все это не более, как картина, в которой шевелятся и группируются какие-то фигуры, но что это за фигуры и имеют ли какой-нибудь внутренний смысл их движения, мы этого не знаем, да, признаться, не очень-то и добиваемся знаний такого рода.

Первым толчком, который вывел русского простолюдина на арену деятельности, который показал, что в физиономии этого субъекта есть нечто осмысленное, дозволяющее ему пользоваться благами свободы, была реформа 19-го февраля 1861 года. В виду ее, со стороны литературы оказалось уже совершенно немыслимым то бессознательное отношение к простолюдину, которым она пробавлялась до тех пор. Потребовалось взглянуть на него пристальнее и притом признать предварительно, что та внутренняя его

сущность, которая подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и курьезная, а сущность общечеловеческая, почерпающая свою оригинальность исключительно из внешней обстановки.

И действительно, со времени крестьянской реформы русский мужик делается в нашей литературе как бы героем дня. Целая фаланга молодых писателей исключительно посвящает ему всю свою деятельность; большинство старых писателей тоже считает долгом сказать об нем несколько лестных слов. Посмотрим теперь, легка ли была для литературы подобная задача, и в какой степени она успела овладеть ею.

Прежде всего, мы должны сказать, что, несмотря на то, что крестьянский мир всегда у нас перед глазами, и что мы уже имеем в прошлом некоторые попытки, сделанные с целью исследовать его, он все-таки имеет для нас всю приманку новизны. Много было таких предметов, на которые мы *смотрели и не видели*, таких слов, которые мы знали наизусть, и не понимали. Amnis, anguis, axis. . все это были латинские грамматические исключения, все это было какое-то сонное видение. Сучок, Ермолай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с крестьянскою средою, не потому чтоб это не были типы вполне живые, а потому что они представлялись нам уединенными, стоящими в положении исключительном и преисполненном недомолвок. Нужна была целая крестьянская среда, нужна была такая картина, в которой крестьянин являлся бы у себя дома и настолько свободным, чтобы стесняющие его искусственные грани, по крайней

мере, не делали для него обязательною немоту языка, не заставляли его на всяком шагу озираться и оговариваться. Очень могло случиться, что такого рода картина напишется рукою мастера второстепенного, что в ней поразит знатока отсутствие изящества, но, во всяком случае, не подлежало сомнению, что даже и тогда картина должна дать более полное и отчетливое понятие об искомом предмете, нежели даже мастерские типы Тургенева, при помощи которых перед нами раскрывалась только какая-то таинственная, недоступная глубь.

Проникнуть в эту среду, постичь побудительные поводы, которые обусловливают ее движения, определить ее жизненные цели, дело далѐко не легкое. Хотя крестьянская реформа и сняла с нее то иго, которое наиболее тяготело над нею, все же эта среда таинственная, по преимуществу зараженная недоверием. Над нею лежит бремя бедности, бремя невежества, бремя предрассудков и множество других зол, совокупность которых составляет своего рода завесу, делающую ее почти недоступною для непосвященного человека. И ежели за всем тем литература нашла-таки искомый доступ, если она успела проникнуть в сокровенное святилище этой бедной и темной жизни, то это одно уже составляет с ее стороны заслугу неоцененную.

Мы очень хорошо понимаем, что стремиться к этой задаче было для литературы вполне обязательно, так как в противном случае она изменила бы своему воспитательному призванию и, кроме того, рисковала бы оставить неразработанным единственный элемент, который был спо-

собен внести в нее живую струю; но дело не в том, вольна ли была литература идти или не идти по этому пути, а в том, что она пошла по нем, и пошла с тою бодростью, которая служит ручательством за совершенный успех в будущем. Не надо забывать, что среда литературная и та среда, которую она в настоящее время исследует, почти не имеют между собой никаких точек соприкосновения, и что, следовательно, единственная основа, на которой они могут сходиться, есть основа общечеловеческая. Но это-то именно и дает нам меру той нравственной высоты, на которой должен стоять деятель, чтобы сквозь грубые покровы, застилающие исследуемый предмет, суметь показать человеческий образ во всей его полноте.

Но, могут опять-таки спросить нас, где же эти пресловутые литературные деятели, на которых мы имели бы право указать, как на подтверждение сказанного нами выше? На это мы опять-таки ответим: главным деятелем в этом случае является *вся* молодая русская литература, ее общий тон и общее направление. Если нельзя без оговорок указать на тот или другой роман, ту или другую повесть, в которых вполне уяснялись бы нам положительные типы русского простолюдина, то можно сказать без оговорок, что уяснение это вполне достигается *совокупностью* множества литературных произведений, беспрерывно следующих одно за другим. В этом отношении молодая наша литература достигла результатов гораздо более действительных, нежели относительно типа русского человека, принадлежащего к среде воспитывающей. Она познакомила

нас не только с тою обстановкой, в которой живет наш простолюдин, но и с тем, как выносится эта обстановка, и какое оказывает воздействие на нравственный мир живущего в ней человека.

Повторяем: русская литература нашла уже путь, и путь прямой и правильный; если же на этом пути мало встречается делателей, поражающих своими талантами, то это еще беда небольшая. Главное дело современных литературных деятелей заключается в подготовлении почвы, в собирании материала и в честной разработке его, и эта скромная, но нелегкая задача исполняется ими с полным сознанием и с замечательною добросовестностью.

Но этого мало даже сказать: с добросовестностью. Если мы взглянем на литературу глазами непредубежденными, то без труда найдем в ней такие отдельные таланты, которые даже теперь, в наше трудное время собирания, стоят выше обыкновенного уровня. С особенным основанием мы можем указать в этом смысле на г. Решетникова, которого литературная деятельность, как нам кажется, далеко не ценится нашею публикой по достоинству.

Мы, конечно, взялись за перо не с тем, чтобы слагать хвалу кому бы то ни было из новых вкладчиков нашей литературы, тем более, что не скрывали и не скрываем, что преобладающий характер их деятельности очень скромный, но не считаем себя в праве пройти молчанием такие замечательные попытки, как, например, «Подлиповцы», «Где лучше?» и многие другие, в которых, по преимуществу, сказался тот плодотворный поворот нашей беллетристики, о котором

идет речь в настоящей статье. Мы понимаем, что в людях прихотливых, избалованных яркими картинами беллетристики сороковых годов, произведения г. Решетникова не должны встретить большого сочувствия. Беллетристы сороковых годов сами помогали читателю, сами предрасполагали его к тем или другим ощущениям; они сознательно прибегали к известным вспомогательным средствам, которые сообщали их произведениям тот тон, который в данном случае был желателен. Г. Решетников подобной помощи не дает вовсе; скорее можно даже сказать, что неумением распорядиться своим материалом он положительно вредит самому себе; но, в то же время, он чувствует правду, он пишет правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая истина русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных усилий со стороны автора.

На этом покамест мы остановимся. Цель нашей статьи заключалась не в характеристике деятельности того или другого из современных писателей, а в разъяснении вопроса, насколько основательны и справедливы те сетования на бедность нашей литературы, которые раздаются в обществе. Думаем, что мы вполне достигли этой цели, указав, что никогда еще деятельность русской литературы не была так плодотворна и так правильно поставлена, как в настоящее время, и что ежели и за всем тем она не удовлетворяет вкусам и требованиям читающей публики, то причина такого явления заключается едва-ли не в недостаточной умственной подготовке самой этой публики.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

I

Перемелется — мука будет.

Комедия в пяти действиях И. В. Самарина

В прошлый театральный сезон мы имели драму г. Стебницкого,[1] комедию г. Чернявского и, наконец, комедию г-жи Себиновой «Демократический подвиг» — три произведения, в которых вполне выразился наш положительный нигилизм, тот нигилизм, который учит мыслить затылком и кричать: «пожар!» — при малейшем сознательном движении жизни вперед. О первых двух пьесах мы уже отдали отчет в нашем журнале; что же касается до третьей, то она свидетельствует только о том, к каким тенденциозно-наругательным подвигам может быть способна мысль, доведенная до совершенной неурядицы, и споспешествуемая при этом крайним недостатком самых простых сведений о свойствах человеческого разума и совершенным отсутствием таланта. Более говорить об этой пьесе не стоит.

Нынешний театральный сезон начинается, повидимому, под предзнаменованиями более примирительными. Разумеется, мы отнюдь не можем

[1] Псевдоним Н. С. Лескова.

считать публику настолько обеспеченною, чтобы до масляницы ее опять не ушибли каким-нибудь новым «Гражданским браком»,[1] но покамест дело идет довольно благополучно. В соседстве с «Прекрасной Еленой» (это ли не примирительная пьеса, на которой, повидимому, должны сойтись все партии, как литературные, так и политические!) театр дарит нам новую комедию г. Самарина, название которой значится выше. Предоставляя специалистам отчитываться перед публикой о достоинствах «Прекрасной Елены», мы считаем нелишним, для начала наших бесед о петербургских театрах, сказать несколько слов о произведении г. Самарина.

Комедия «Перемелется — мука будет» не без претензий. Она желает что-то выразить, что-то оправдать, кому-то оказать услугу; она, видимо, не хочет, чтоб ее причислили к разряду тех произведений, к которым принадлежит, например, «Демократический подвиг», и которые в умах благонамеренных петербургских столоначальников посевают семя сомнения насчет будущего России, якобы охваченной пожаром отрицания. Она даже сама нечто отрицает, разумеется, отрицает с булавочную головку, т. е. настолько, насколько капельдинеры Александринского театра могут вместить вещь столь ужасную, как отрицание.

В сущности, пьеске г. Самарина было бы всего приличнее именоваться так: «Детские мысли, или чего хочу — не знаю, о чем тужу — не по-

[1] О комедии Чернявского «Гражданский брак» Салтыков дал отзыв в августовской книжке «Отечественных Записок» 1868 г.

нимаю». Как ни скромно такое название, но, во всяком случае, оно выражает основную мысль пьесы гораздо полнее и точнее, нежели заглавие «Перемелется — мука будет», которое не только ничего существенного не выражает, но даже оставляет зрителя в недоумении: где же тут мука? и какого она сорта?

Чтобы сделать нашу мысль более ясною, расскажем прежде всего содержание пьесы.

Сцена открывается тем, что некто Решетов (г. Бурдин) рассказывает своему приятелю Егорову (г. Малышев), как он, бывши некогда крепостным крестьянином графов Шитвинских, и заметив в своем сыне, Гане, особенную остроту ума, пробовал откупиться на волю, как Шитвинский притеснил его слишком несоразмерным запросом цены крови, и как, наконец, Положение 19-го февраля 1861 года разрешило этот узел, освободивши Решетовых вместе с прочими, помимо согласия гг. Шитвинских. Из разговоров этих мы узнаем, между прочим, что Ганя Решетов — малый самый отличный, скромен, с дамами вежлив, с старшими почтителен, с сверстниками обходителен, на лекциях исправен, г-же Оноре в «Жизни за царя» не аплодировал, а потому и мировым судьею Нероновым ни к какому наказанию приговорен не был, и, в довершение всего, до такой степени влюблен в своих преподавателей, что даже получил за это степень кандидата московского университета. Покуда приятели переливают таким образом из пустого в порожнее, приходит сам молодой Решетов (г. Нильский) в сопровождении четверых студентов и бутылки шампанского...

Шампанское — это какой-то неотразимый атрибут г. Нильского; оно преследует его, как преследовала некогда Эльвира Дон-Жуана. Это, впрочем, объясняется отчасти складом новейшей русской жизни, в которой ни одного великодушного или даже просто благонамеренного начинания не предпринимается без шампанского. А так как благонамеренных начинаний пропасть, и во всех непременно участвует г. Нильский, то и шампанского выпивается тоже пропасть, и во всякой выпивке главным участником и даже инициатором является тот же г. Нильский. Это сделалось почти народною чертою наших драматических пьес, все равно, как оплеуха является главным льстящим народности двигателем пьес французского репертуара. Зайдите в Михайловский театр, и вы заранее можете быть обеспечены, что если в спектакле участвует г. Жанен или г. Дьёдонне (а они редко в какой пьесе не принимают участия), то кто-нибудь из них непременно получит несколько пощечин. Это явление до такой степени оспециализировалось на обеих сценах, что установившаяся обычаем номенклатура драматических амплуа становится тесною, а именно, к прежним разновидностям — «первых любовников» — требуется прибавить две новых: первого любовника с шампанским и первого любовника с пощечинами. Но будем продолжать наше изложение.

Подают шампанское; молодой Решетов объявляет, что его посылают на казенный счет за границу для усовершенствования в любви к науке, а покамест он отпоавляется на лето в деревню к графу Борису Федоровичу Шитвинскому, ко-

торый приглашает его, чтобы давать уроки маленькому своему сыну, Северу. Провозглашаются тосты, от которых, как и следует ожидать, всего больше достается нашей alma mater [1] — московскому университету. Бедная alma mater! Каким неистовым ласкам, каким припадкам сыновней нежности ни подвергалась ты со стороны твоих благодарных питомцев! О, если б от них зависело! они, конечно, истрепали бы тебя так, что и следа не оставили бы твоей первоначальной, исторической красоты. Но в книгах написано: не до конца заслюнивиши — и вот ты цветешь по-прежнему, несмотря на утраты, понесенные тобой в лице гг. Чичерина, Дмитриева и чуть-чуть не Соловьева... Провозгласивши тосты, господа студенты затягивают Gaudeamus igitur [2], чем и доказывают, что гг. капельдинеры Александринского театра в вопросе об образовании придерживаются преданий классицизма.

Второе действие приводит нас в деревню графа Шитвинского (г. Самойлов). Как это заведено уже издревле, у графа, кроме сына, есть еще дочь (г-жа Струйская 1-я). Граф — человек либеральный, но памятующий, что в Петербурге издается газета «Весть», [3] которая вообще всех графов снабжает готовыми либеральными афоризмами. Он, повидимому, всему сочувствует, даже акцизно-социально-демократическому либерализму чиновников министерства финансов, но

[1] Мать-кормилица. Так называли университет.

[2] «Будем веселиться...» Студенческая песня.

[3] Ультра-реакционная помещичья газета; издавалась и редактировалась В. Скарятиным и Н. Юматовым с 1863 по 1870 г.

строго блюдет чистоту своей графской крови, предполагая наверное, что у графов она какая-нибудь особенная, и что хотя обновление ее, в крайнем случае, и может быть допущено, но только потихоньку и не иначе, как при содействии других, более цивилизованных национальностей, без всякой примеси акцизного демократизма. К сожалению, он не внушил этих убеждений дочери, которая, благодаря такому непростительному пробелу в воспитании, пошла так далеко по пути либерализма, что чуть было не зашла в самую трущобу.

Змием-искусителем является молодой Решетов, который как будто нарочно и поездку свою за границу отложил с этою целью. Своими разговорами о пользе наук и о преимуществе прилежания над леностью он до того отуманил головку графини Софьи Борисовны, что не дал г. Самарину даже времени подготовить зрителя к драматической катастрофе. Второе действие уже застает наших влюбленных влюбленными, каковая похвальная их влюбленность проходит и через все третье действие. Разговаривают они и дома, и ночью в саду, при свете луны. Она рассказывает ему, что он для нее все, что через него она увидела свет; но он останавливает и охлаждает ее порывы. Он говорит, что ему надо еще учиться, что он из вольноотпущенных, что граф никогда не согласится, и т. д. Но она так твердо надеется на либерализм своего папаши (очевидно, он упитывался «Вестью» тайком от домашних), что боится только, чтоб он-то, Ганя Решетов, как-нибудь не отказался быть ее мужем; при чем присовокупляет, что и ей не век

же печатные пряники есть, а надо учиться, учиться, учиться... «Ганя!» «Соня!» восклицают эти любовники науки, и уж целуются же они... Боже мой! как целуются, повторяя свои клятвы быть верными науке! Тоска по науке так и охватывает зрителей-столоначальников при виде этих надрывающих душу сцен, сопровождаемых поцелуями. «Господи! да ведь никак и мы ничему не учились?» восклицают они мысленно и дают себе клятву на другой же день купить в Гостином дворе книжку. Но в Гостином дворе, вместо книжки, завертывают им «Бродящие силы» г. Авенариуса;[1] происходит печальное qui pro quo.[2] Столоначальники опять идут в Александринский театр и опять не могут понять, по какой же книжке публично изнывают в стенах его.

Нет ничего пагубнее подобных недоумений, особливо ежели они посеваются в ночное время и при свете луны. Как раз примешь одну книжку за другую, и, прочитавши «Жертву вечернюю» г. Боборыкина,[3] получишь фальшивое убеждение, что ознакомился с «Новейшими основаниями науки психологии», и, чего доброго, пожалуй, сочтешь себя образованнейшим молодым человеком.

Но для чего же, спросит читатель, эти разговоры об науке в саду, ночью и при луне, тогда как, принимая в расчёт заведомый либерализм

[1] Перу Салтыкова принадлежит резкий отзыв на это произведение («Отечественные Записки», 1868 г., № 4, отдел «Новые книги»).

[2] Недоразумение.

[3] Свое отрицательное отношение к этому роману Салтыков высказал в статье «Новаторы особого рода» («Отечественные Записки», 1868 г., № 11).

графа, их можно вести на свободе дома и днем? Читатель! хотя мы и не можем разрешить этот вопрос, но думаем, это не более, как драматический прием, или, лучше сказать, авторская хитрость, пущенная в ход для того, чтобы пьеса не могла растянуться до бесконечности. Дело в том, что нигде так не удобно камердинеру Николаю застать воркующую пару, как в саду, где он тоже прохаживается ночью по своим делам; Николай же питает к Решетову непримиримую злобу за то, что барышня-графиня слишком исключительно с ним занялась и вследствие того Решетов возгордился. Разумеется, Решетов возгордился совсем не этим, а тем, что он выучил книжку; но Николай этого не понимает (может быть, и он с своей стороны считает себя в праве гордиться тем, что прочитал «Воительницу» г. Стебницкого), и доносит о своем открытии графу. Граф

... дал ему злата и презрел его,

или попросту выгнал, а змию-Решетову отказал от должности, т. е. тоже выгнал, и тоже дал на дорогу злата.

Но Соничка очень хорошо помнит, что папа ее либерал; и в ту минуту, когда уже подаются лошади, чтоб увлечь Решетова в Москву (Николай отправлен просто на подводе, а может быть даже и пешком), она вбегает и требует объяснения. Открывается тайна несчастной любви, провозглашаются устами графа целые тирады из «Вести», начинаются стоны — слабое предвкусие тех стонов, которые ожидают зрителя в четвертом акте!

Четвертый акт — это та темная область стонов, в сравнении с которыми ничтожен даже могущественный стон, который производят колеблющиеся тени в глюковском «Орфее». Трудно себе представить, чем может сделаться стон, когда производство его поручено театральным начальством г-же Струйской 1-й. Это что-то такое ужасное, перед чем, мы уверены, не могла бы устоять даже самая непоколебимая административная твердость. Застони таким образом недоимщик-крестьянин — можно сказать наверное, что исправник простит его! Г-жа Струйская стонет в продолжение получаса без отдыха, как будто бы угрожая зрителю: «погоди! вот в пятом акте застонет г. Нильский — тогда-то ты восчувствуешь!». Этот систематический преднамеренный стон изредка перемежается непреклонностью старого графа, который попрежнему остается верен афоризмам «Вести». На помощь графу является сестра его, генеральша Каратаева, и тоже убеждает Софью Борисовну, что ежели что̀ сказано в «Вести», — так тому и быть. Но тщетно все. Г-жа Струйская продолжает стонать, и, наконец, захлебнувшись стоном, падает на сцене мертвая.

Мы следили за лицами собравшихся вкупе столоначальников и ясно видели в них недоумение. «Ужели, думалось им, страсть к науке может довести до таких пароксизмов? уж не бросить ли нам?». С другой стороны, может быть, им думалось и то: из-за чего эта глупенькая девочка стонет, когда ей стоило бы только бросить своего тупоумного отца, чтобы жить да поживать с своим милым Ганичкой да детей наживать? Увы!

они не знают, эти неопытные администраторы, коррозивной[1] силы афоризмов «Вести»! Они не понимают, что эти афоризмы всасываются в кровь человека и окрашивают ее особенною краскою, даже до третьего колена! Мы, с своей стороны, нимало не удивились ни неистощимой непреклонности графа, ни неистощимой стонательной способности его дочери. Мы тем более не удивились этому, что знали наверное, что г. Самарин все это с тем и представил, чтобы ничему не верили, и что ни подобных графинь, ни подобных графов на свете не существует.

Многих из зрителей приводило в недоумение: что сделалось с графом после таких потрясений? Убедился ли он в несостоятельности афоризмов «Вести» и стал подписываться на «Московские Ведомости»?[2] Или он подкрепил себя еще афоризмами «Нового Времени»[3] и продолжает пропагандировать учение о чистоте крови? Не он ли, прикрывшись именем г. Скарятина, отправляется с тоски на торжество открытия орловско-витебской железной дороги? — раздавалось по театру; не его ли так утонченно-язвительно отделали наши либеральные и любезно-верные смоленские сеятели и деятели? Но г. Самарин оставил этот вопрос без ответа и, вместо того, чтобы разрешить его, предпочел произвести в пятом акте новый стон, горше первого.

Пятый акт составляет совершенно лишний придаток к пьесе, и г. Самарин без ущерба для

[1] Едкой, разъедающей.

[2] Орган воинствующей реакции. С 1863 до 1887 г. его возглавлял М. Катков.

[3] Помещичья газета, основ. в 1868 г. Киркором и Юматовым.

своего произведения мог бы совсем уничтожить его. Впрочем, он мог бы столь же легко остановиться и на третьем акте, потому что и тогда уже исход драмы ни для кого не подлежал сомнению. Но автор, как видно, человек солидный и аккуратный: он хотел показать зрителю, что̀ сталось с его героем, Решетовым-сыном, и как он перенес потерю Сонички, т. е. пал-ли или воспрянул. Но, с другой стороны, зачем же он не объяснился с зрителями насчет судьбы старого графа? Зачем он не показал нам, перестал ли пить Егоров, как живет да поживает Решетов-отец, и получил ли место и за какое жалованье камердинер Николай? Все это такие промахи, которых он, конечно, постарается на будущее время избежать, сочинив такую комедию, которую мы будем смотреть три дня и три ночи, но в которой зато уже ничто не останется необъясненным.

Пятый акт начинается, подобно первому акту, разговором Решетова-отца с Егоровым, который является на сцену, порядочно уж выпивши. Решетов рассказывает, что сын его совсем испортился: не пьет, не ест, не умывается, а только все толстеет. Следуют рассуждения, вроде того: каково-то родительскому сердцу! и за что он себя губит! и как это все приключилось! и т. д. Рассуждения эти позволяют безобидно протянуть время, покуда Решетов-сын не сделается снова действующим лицом. Но вот и он. Лицо его распухло и в пятнах (очевидно, он не умывается с тех пор, как его примчали из деревни графа Шитвинского), зубы не вычищены, ногти отросли и в беспорядке; одним словом, все так и говорит

в нем: вот истинная горесть! вот как надо оплакивать потери сердца! Начинается стон, но, к удивлению зрителя, Решетов-сын не только не ослабевает в этой тяжкой работе, подобно Соничке, но как будто бы почерпает в ней новые силы. Долгое время Егоров уговаривает его без всякой пользы; долгое время коснеющим от вина языком он доказывает, что первое достоинство мужчины есть быстрота и натиск, что не доучивши книжку, он тем самым нагло обманывает доверие начальства, что у него есть отец, о котором он не должен забывать, что он, наконец, не имеет права бросить науку, ибо за что же она-то будет страдать, и т. п. Увы! Доброе семя не вдруг принимается в этой благодарной почве, и Решетов-сын продолжает стонать, переходя от рыданий к вздохам...

Но вот он задумывается; зрители ожидают, что он чихнет. Нисколько не бывало. Он вздрагивает, он проводит рукой по волосам, он подходит к шкафу с книгами и берет одну из них. Конечно! Спасительный кризис совершился! Из стона рыдательного г. Нильский делает быстрый переход в стон ликующий и удивляет зрителей разнообразием своих дарований. Он машет книжкою (мы очень хорошо помним, она была в синей бумажной обертке) и объявляет, что отныне его любовницей будет одна наука. Учиться!.. кто не учился... о, если бы все учились... все зло от того, что мы не учились — вот слова, которые так и сыплются градом из уст его на зрителей. «Засядем в ночную!» розглашает он в заключение, и только быстрое падение занавеса мешает нам видеть, что шампанское уже готово, и что любов-

ник науки приступает к занятиям в первый раз тем, что с гитарой в руках дирижирует: „Gaudeamus igitur".

Пьеса кончилась, и цель пятого акта объяснилась. Он лишний — в этом нет никакого сомнения; но в то же время он главный, а лишними скорее должны быть названы остальные четыре акта — и в этом тоже не может быть сомнения. Бывают такие пикантные положения в драматической литературе, когда не знаешь сказать наверное, что̀ именно лишнее: хорошо бы и такой-то акт выкинуть, да и такой-то, пожалуй, не дурно... а не вычеркнуть ли всю пьесу? Гм... жалко! но с другой стороны, что̀ же делать, мой друг? Мы, конечно, не принадлежим к числу тех лиц, которые охотно подали бы г. Самарину совет снять его пьесу с репертуара, но не принадлежим единственно потому, что для нас решительно все равно, будет ли на сцене Александринского театра одной плохой пьесой более или менее.

Таково содержание драматического опыта г. Самарина. Не имея под рукой подлинного текста пьесы, мы, конечно, не можем представить читателю выдержек из нее, но, во всяком случае, ручаемся, что внутренний смысл комедии передан нами вполне согласно с истиной. Теперь обратимся опять к тому, с чего мы начали наше обозрение.

Мы сказали выше, что комедии г. Самарина всего ближе было бы присвоить заглавие: «Детские мысли, или чего хочу — не знаю, о чем тужу — не понимаю». Постараемся, по мере сил наших, объяснить причины, побудившие нас высказать такое мнение.

Что такое детские мысли? Это суть такие мысли, которые, получив право гражданственности за несколько тысячелетий до рождества христова, постепенно изъемлются из всеобщего обращения или как ненужные, или как слишком общеизвестные, но в то же время продолжают волновать некоторые умы, недостаточно знакомые ни с историей развития человеческой мысли, ни с тою суммою истин, которая в данный момент составляет ее достояние. Вслушайтесь в детский лепет, и вы наверное узнаете из него множество таких истин, которые вам не только давно известны, но с которыми вы отчасти даже уж порешили, как с непригодными или имеющими слишком слабое значение, чтобы с ними нянчиться. Эти истины, конечно, могут быть до известной степени интересными, если они составляют плод самостоятельной умственной работы ребенка; но ежели этот ребенок вам почему-либо дорог, то вы, погладив его по головке за остроту ума, все-таки поспешите объяснить, что есть истины гораздо более полезные и плодотворные, нежели те, до которых он дошел при помощи собственных усилий. Так, например, ежели вы увидите, что ребенок, убедившись в пользе таблички умножения, будет ломать свою голову над ее изобретением, то наверное не будете столь жестоки, чтобы скрыть от него, что эта табличка уже изобретена. Точно такое явление очень часто встречается и в людях взрослых, с тою только разницею, что малые дети ищут пищи для своей наивной изобретательности в области мира реального, а дети взрослые — в области мира нравственного. Так-называемые общие места, ничего

не определяющие, не заключающие в себе никакого действительного содержания, становятся в этих случаях таким неистощимым источником изобретательных наслаждений, в чаду которых всякое, даже ничего не значащее слово уже кажется чем-то плодотворным, проливающим новый и яркий свет на жизненные отношения. Человек, произносящий, в сущности, лишь бессодержательные звуки, мнит себя новатором потому только, что никто не дал себе труда объяснить ему, что нет надобности беспокоиться об изобретении таблички умножения, как скоро она уже изобретена.

К числу подобных, давно открытых и отчасти уже упраздненных истин принадлежит бо̀льшая часть изречений так-называемой народной мудрости. Если бы кто задумал написать трагедию на тему: «праздность есть порок», то его труд наверное послужил бы только наглядным доказательством этой истины. То же самое должно сказать и об истине: «ученье свет, а неученье — тьма», которую проводит г. Самарин в своей комедии. Нет спора, это истина очень почтенная, но слишком ошибается тот, кто вздумает заявить претензию, что он первый додумался до нее. Он не получит привиллегии на ее пропаганду уже по тому одному, что мысль эта давным-давно свила себе гнездо в сердце каждого извозчика.

Вот почему мы, кажется, были правы, предложивши назвать основную мысль комедии г. Самарина мыслью детскою.

Но, сверх того, эта мысль поражает нас и своею чрезвычайною неопределенностью. Конечно, ученье — свет, а неученье — тьма, но история

человеческих обществ была свидетельницею учений столь разнообразных и достигавших столь различных целей, что любопытство относительно действительного значения, которое скрывается в этом слове, делается не только позволительным, но и необходимым. Конечно, очень приятно было слышать из уст г. Самарина проповедь о необходимости ученья; но было бы еще приятнее, если бы г. Нильский объявил публике, по крайней мере, заглавие той книжки, которою он так усердно махал перед ее глазами. А ну, если и в самом деле это не иная какая книжка, как вторая часть «Жертвы вечерней» г. Боборыкина? Как поступить, куда деваться с подобным учением?

Предположим, однако, что автор хотел в этом случае предоставить зрителю свободу выбора. Тем не менее, и за это его похвалить нельзя. Очевидно, он забыл, что так-называемые «излишества свободы», вредные вообще, нигде не приводят к таким печальным результатам, как в деле выбора руководящих книжек. Здесь свобода не развязывает зрителю руки, а, напротив того, угнетает; он чувствует, что от него чего-то требуют, что его дразнят какою-то книжкой, и, не будучи в состоянии уяснить себе этих поддразниваний, ожесточается. «Да ты сам-то, полно, знаешь ли, какая у тебя книжка в руках?» восклицает он и, в неразумии своего негодования, охотно смешивает и Решетова-сына, и г. Нильского, и даже самого г. Самарина.

А между тем, не было ничего легче, как устранить все эти недоразумения: стоило только присвоить пьесе название: «Чего хочу — не знаю,

о чем тужу — не понимаю». Несмотря на свою кажущуюся скромность, это заглавие разрешило бы многое: оно не только освободило бы почтенного автора от обязанности называть заглавие таинственной книжки, но и зрителю дало бы понять, что эта книжка самая беспутная, по поводу которой нет даже надобности мучить себя излишнею любознательностью.

Рассказав таким образом содержание новой комедии и те впечатления, которые мы из нее вынесли, считаем нелишним прибавить несколько слов об исполнении пьесы на сцене Александринского театра.

Персонал петербургской русской сцены возобновляется до крайности туго. Вот уже много лет, как не появляется ни одного сколько-нибудь замечательного дарования, между тем как старые актеры, в былое время удовлетворявшие публику, очевидно, ветшают. Характер репертуара в последние десять лет изменился настолько же, насколько изменились и самые интересы русской публики. Вместо «Булочной» и «Героев преферанса», с грехом пополам изображавших былую современность, явились пьесы тенденциозные, бескуплетные и имеющие в виду одну цель: как-нибудь так ошеломить почтеннейшую публику, чтоб она сколь можно дольше не могла поправиться. Нет спора, что эти наружно-увесистые произведения в существе своем столь же легковесны, как и «Герои преферанса», но эта увесистая легковесность имеет тот неизбежный результат, что она совершенно вытесняет со сцены всех старых, более или менее талантливых актеров. У них нет для подобных пьес ни нужных слов,

ни нужных движений; они и рады бы изобразить радость по случаю, например, открытия земских учреждений, но что̀ делать, если руки у них двигаются наоборот? То же должно сказать и о так-называемых капитальных пьесах репертуара. Упразднился целый репертуар Полевого, Зотова, Кукольника, и вместо него на сцену выступили пьесы с бытовым содержанием, но и в них актеры прежнего времени не появляются, да и появиться не могут, потому что привыкли ходить в порфирах, а не в зипунах. Положим, это беда еще небольшая, что мы редко̀ наслаждаемся игрою гг. Григорьева и Каратыгина; но беда в том, что вместо них мы слишком часто видим гг. Озерова и Шемаева, которые продолжают их традицию на русской сцене, забывая, что эта традиция уже анахронизм, и что они, сверх того, не имеют в своем распоряжении и десятой доли той талантливости, которою обладали их предшественники.

Из прежних актеров остался один Самойлов, у которого нашлись и нужные слова, и нужные движения. Правда, что это один из тех немногих сценических деятелей, которые могут украсить любую сцену; но, во-первых, в большинстве пьес нового репертуара он все-таки не участвует, а во-вторых, мы невольно спрашиваем себя: что̀ же останется на сцене Александринского театра, если Самойлов почему-либо оставит ее? Останется, конечно, два-три полезных артиста, а затем... Подумайте, читатель, что не только Мартынов, но даже Максимов до сих пор не заменен — а затем судите, не в праве ли мы ожидать повторения того же явления и относительно Самойлова?

Эта бедность подготовки составляет своего рода загадку, распутать которую было бы весьма небезынтересно. Ни в одном ведомстве (а сколько их в нашем отечестве — одному богу известно) она не выступает так ярко, как в театральном. Зайдите в любой департамент, и вы увидите целые легионы молодых столоначальников, которые не только не уступают старым, но развязностью манер даже превосходят их. Мало того: каждый из сих малых едва вступит на сцену администрации, уже тяготится своим скромным положением и угрожает в непродолжительном времени сделаться администратором в полном значении этого слова. Загляните в ведомство более подходящее—в балет, и там вы убедитесь, что каждый год непременно приносит что-нибудь новое: то г-жу Канцыреву, то г-жу Вергину, то г-жу Вазем. Везде прогресс, везде неторопливое, но неуклонное шествие вперед: вводятся самострельные ружья, появляются самоговорящие ораторы, издаются самошпионствующие журналы, выходят на сцену самопишущие литераторы, — тронь только за пружину, и вдруг все разом начинает выкидывать такие артикулы, что даже смотреть зазорно! Одна русская драматическая сцена до сих пор не успела ничего придумать для своего облегчения, даже самоиграющего актера.

Нам скажут, может быть, что создать хорошего столоначальника нетрудно, потому-де, что тут нужно только уметь подшивать бумаги. Но возражение это, очевидно, основано на недоразумении, на воспоминании о старом типе петербургского столоначальника. Что прежние столоначальники только подшивали бумаги и нюхали

табак — в этом не может быть сомнения; но нынешний столоначальник смотрит на свое дело уже совсем другими глазами; он бдит, предусматривает и стоит на страже. Поэтому-то бумаги у него остаются неподшитыми, зато стража и пронзительность — превыше всяких похвал. Не нужно думать, что в природе существуют занятия высокие и занятия низкие. Все занятия одинаковы, все требуют участия той обременительной для многих работы, которая называется работою мозгового вещества.

Итак, особенностями актерского ремесла тайна нимало не разъясняется. Не разъяснится ли она особенным устройством нашего театрального училища, или какими-нибудь оригинальностями, допущенными в самом образе командования российскими драматическими искусствами? Как ни прискорбно такое предположение, но, по мнению нашему, оно одно только и может объяснить бедность нашего драматического персонала. Тем не менее, мы оставляем нашу беседу об этом предмете до другого раза, во-первых, потому, что статья наша и без того вышла достаточно обширна, а во-вторых, потому, что мы имеем в виду собрать достаточное число фактов, необходимых для нашей цели.

Что касается собственно до исполнения комедии «Перемелется — мука будет», то говорить об нем значит говорить об одном г. Самойлове. Нам положительно редко случалось видеть на какой бы то ни было сцене игру более умную, изящную и приличную. Главная задача актера — представить цельное лицо (иногда даже и помимо воли автора), была выполнена здесь вполне. Г. Са-

мойлов не позволил себе ни одного резкого жеста; повидимому, он даже позабыл о том, что актер должен непременно что-то изображать. Он жил на сцене, а не изображал.

Из остальных актеров упомянем о гг. Бурдине и Горбунове, которые сдали свои роли весьма прилично. Но зато г. Нильский, г-жа Струйская 1-я...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

II

Мещанская семья

Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева
(Бенефис г-жи Жулевой 17 января)

Я мог бы писать отличные драмы, прекраснейшие комедии и дышащие животрепещущим интересом романы, но воспоминания преследуют меня. Они осаждают меня толпою, как только я берусь за перо. То Жорж-Занд, то Тургенев, то Островский, то Гоголь, то Бальзак — держат мою мысль в такой тесной осаде, что я не могу сделать шагу, чтобы не раздражиться ими. Я очень прилежен и изо всех сил стараюсь что-нибудь выдумать, но сведущие люди утверждают, что все мои выдумки давно уже выдуманы и даже изложены в гораздо приличнейшей форме. Тем не менее, я человек скромный; я охотно примирился бы даже с ролью изобретателя изобретенного, если уж нет для меня никакой другой роли; но тут меня настигает другая беда: никак не могу свести концы с концами. Начну-то я довольно благополучно; жили да были такие-то и был у них подводный камень такой-то (смотри Жорж-Занда, Бальзака, Тургенева и других изобретателей), [1] но каким образом поступить с этим под-

[1] Намек на роман М. Авдеева «Подводный камень» (1860 г.); критика неоднократно отмечала, что в этом произведении Авдеев явился подражателем Жорж-Занд.

водным камнем, каким образом сделать, чтоб он был действительно подводным, а не аэролитом— никак не придумаю. Много могу я измыслить всякого рода действующих лиц — и седых, и брюнетов, и белокурых, и скромных, и напыщенных, и прилежных, и ленивых; много могу написать разнообразнейших диалогов; но как свести этих действующих лиц в одно место, как заставить их быть именно «действующими», а не просто слоняющимися из угла в угол лицами, как устроить, чтоб мои диалоги приходились ко времени и к месту, чтоб суп у меня не подавался после пирожного, и чтоб рубашка не надевалась после фрака — решительно ума не приложу. Всегда как-то так случается, что не сюжет обладает мною, а я обладаю сюжетом. Когда я пишу, то — много ли, мало ли я ни написал — я чувствую, что пьеса моя не имеет конца и иметь его никогда не может. Т. е., коли хотите, он и есть, этот конец, но приходит он совсем не тогда, когда ему придти нужно, а тогда, когда я сам того пожелаю. В этом отношении я деспот беспримернейший; захочу — напишу пять действий; не захочу — окончу на третьем. Конечно, эта свобода имеет свои выгоды, но не могу скрыть, что иногда на меня нападает сомнение, действительно ли во всех случаях свобода есть такое сладкое благо, чтоб можно было пользоваться им без соблюдения экономии. Да и публика, как слышно, не очень-то долюбливает, когда в искусстве слишком исключительно господствует правление монархическое, неограниченное.

Вот мысли, которые невольно приходили мне в голову, когда я смотрел на новую комедию

г. Авдеева, название которой выписано выше. Она с такою ясностью поставила передо мной вопрос о моем драматическом бессилии, что, выходя из театра, я дал себе слово впредь всегда оставаться самим собою и как огня опасаться чужих одежд. Сверх того, мне показалось, что неизлишне будет, если я по временам буду остерегаться слишком широко захватывающих мыслей. Слов нет, оно хорошо, думалось мне, если мысль у меня с крылышками, а ну как, упаси бог, я не сумею совладать с нею, да вдруг и сведу хорошую-то мысль к нулю. Ведь тогда, чего доброго, скажут, что я стреляю с ковра, а бью с рогожи. Нет, лучше оставлю-ка я хорошие мысли и буду довольствоваться мыслями средними. Пусть будет мой удел скромен, пусть буду я простым рассказчиком, фельетонистом, рецензентом; пускай называют меня человеком среднего полета; но, по крайней мере, я буду в состоянии утверждать, что те средние мысли, которыми я пробавляюсь, суть мои собственные мысли, и что то добро, которым я от времени до времени делюсь с публикой, есть мое собственное добро.

По моему мнению, скромный удел есть в то же время и самый завидный удел в целом мире. Не тот писатель блажен, который, подобно орлу, ширяет в высотах, высматривая, не завалялось ли где годного для употребления вопроса, а тот, который имеет хотя и не мудрые, но свои собственные вопросы. Очень может быть, что найдутся зоилы, [1] которые скажут, что обладатель немудрых вопросов мелко плавает, но наверное никто не

[1] Злые критики.

будет отвергать, что у него есть *собственное* место в литературе. Его не смешают ни с кем другим и тем избавят от неловкой обязанности выслушивать комплименты за Тургенева, Островского и Бальзака.

Хотя публике мало известно, что г. Авдеев несколько лет сряду агитирует в русской литературе вопрос о положении современной женщины в семействе и обществе, тем не менее эта неизвестность происходит совсем не от того, чтобы попытки почтенного автора в этом отношении могли подлежать какому-либо сомнению, а от причин совершенно особого рода. Между этими причинами самое главное место занимает то обстоятельство, что г. Авдеев нигде с достаточной ясностью не высказал, что, собственно, его беспокоит в современном состоянии женского вопроса, почему он находит положение женщины неудовлетворительным, и чего бы он желал для улучшения его? Хотя героини романов г. Авдеева прежде всего рекомендуются читателю, как женщины угнетенные и недовольные, но это недовольство имеет очень мало действительных точек соприкосновения с женским вопросом, и стихия, которая ярче всего выступает вперед в этом случае, есть стихия, так сказать, камелийная. Женщина г. Авдеева не ищет никакой другой свободы, кроме свободы любви, так что, ежели мы сравним эту основную идею его произведений с теми традициями, которыми издревле руководился роман, изображая так-называемую «преступную любовь» или «любовь с препятствиями» (обыкновенное содержание всякого романа), то легко убедимся, что между первою и последними

не имеется никакой существенной разницы. А так как читатель всегда усматривает в книге не более того, что она ему дает действительно, тенденциозность же г. Авдеева выражается не столько ясностью возбуждаемых им вопросов, сколько частым обращением к одной и той же теме, то из этого выходит, что все старания его указать на неудовлетворительность положения современной женщины в обществе пропадают для большинства читателей даром, т. е. представляются обыкновенными приемами, к которым прибегает каждый автор, желающий сделать «преступную любовь» одним из элементов изображаемой им драмы. И таким образом, значение г. Авдеева, как писателя-специалиста по части женских интересов, не успело в глазах публики получить никакой силы и с самым именем почтенного автора не связывается в уме читателя иного понятия, кроме того, что оно принадлежит писателю, подобно прочим приятно описывающему те случайности, которым подвергается женщина, желающая испытывать волнения «преступной любви».

Нельзя не признаться, что подобное определение литературной физиономии г. Авдеева вполне справедливо; тем не менее оно было бы очень односторонне в устах людей, занимающихся русской литературою ex professo[1] Эти последние при оценке автора обязаны принимать в соображение не только действительное его значение, но и те намерения, которые он сам предъявляет. Если адвокат на бракоразводном деле постоянно проигрывает процессы, которые он берет на себя,

[1] Как профессией.

то это все-таки не отнимает у него права именоваться адвокатом не по каким-либо другим, а именно по бракоразводным делам. Можно назвать его несчастным адвокатом, но отрицать его специальность нельзя. Точно так же нельзя отвергнуть и специальность г. Авдеева. Приступая к чтению или слушанию каждого нового произведения этого автора, можно заранее и безошибочно сказать, что на сцену наверное явится женщина, которая или преступила, или, по малой мере, нашалила и тем доказала свою правоспособность в сфере понимания женских интересов. Можно опровергать доказательность воззрений автора на существо женского вопроса, можно утверждать, что они поверхностны и ограничены, но усомниться в его намерениях нет ни малейшего основания. Самое постоянство в выборе сюжетов уже доказывает, что тут нет никакой случайности, и я тем охотнее признаю этот факт, что он до крайности облегчает мой труд, как рецензента.

Нет ничего приятнее, как иметь дело с писателем-специалистом. В последнее время наши литературные деятели заявили решительную наклонность устроиться каждый в своем углу и там на свободе предаться разработыванию различных специальностей, не допуская к ним никаких общечеловеческих примесей. У нас есть специалисты по части вольной клубнички, специалисты по части извещения, специалисты по части чиновнических обличений; если не ошибаюсь, то есть даже специалист по части легкомыслия. При взгляде на сочинения этих авторов вы сразу угадываете, о чем тут будет идти речь, и сразу же

знаете, что̀ следует сказать об них в качестве рецензента. В этих сочинениях все специально, а следовательно, и все просто. Вы не рискуете встретиться тут ни с какою нравственною запутанностью, которую вам предстояло бы разъяснить, не найдете ни одного положения, которое являлось бы продуктом известного жизненного строя. Все здесь просто и изолированно; все живет своею собственною, независимою жизнью. Следовательно, рецензенту при разборе такого рода сочинений предстоит одно: удостовериться, в какой степени автор остается верен своей специальности, т. е. ежели он специалист по части легкомыслия, то до конца ли остается легкомысленным, ежели специалист по части вольной клубнички, то не заставил ли своего героя страдать от недостатка оной. И если автор оказывается исправным, то рецензенту ничего больше не остается, как доложить публике: такая-то книга принадлежит специалисту такому-то, и, не представляя никакой пищи ни для ума, ни для сердца, в достаточной степени удовлетворяет избранной им специальности.

Признаюсь откровенно, точь-в-точь таким образом намеревался я поступить и в настоящем случае, когда отправлялся в Александринский театр в бенефис г-жи Жулевой. Признавая г. Авдеева одним из самых решительных литературных наших специалистов, а именно специалистом не столько по части женского вопроса, сколько по делам бракоразводным, я рассуждал так: хотя мне положительно известно, в чем заключается сюжет новой пьесы, и я мог бы с помощью одной афиши рассказать читателю ее со-

держание, но так как мне пришлось бы при этом утверждать, что я лично присутствовал при ее представлении, то пойду в театр хотя бы только для очищения совести. Однако, на сей раз ожидания мои были обмануты, и самым неприятным образом.

Нельзя сказать, чтобы г. Авдеев совершенно покинул дорогой ему бракоразводный вопрос, но он дал ему в новом своем произведении эпизодическое значение и тем значительно повредил своей репутации, как специалиста. К счастью, в то же время он остался совершенно верен другой своей специальности, т. е. той чуткости, с которою он постоянно относится к произведениям других своих собратий по ремеслу.

Идея «Мещанской семьи» не новая, но очень благодарная. Разбогатевшее, завистливое мещанство, охотно отрекшееся от своего прошлого, но еще не успевшее отыскать для себя твердой почвы в настоящем; мещанство, беспрестанно само себя обличающее, самодовольное и в то же время на каждом шагу озирающееся; мещанство, видящее себя предметом самых грубых ласкательств и в то же время не могущее скрыть от себя, что за этими ласкательствами таится едва сдерживаемое презрение — вот тема, которую избрал г. Авдеев для нового своего произведения, и которую, по всем видимостям, внушила ему комедия Ожье:[1] „Legendre de monsieur Poirier“[2]. Повторяю: тема очень благодарная и в руках талантливого

[1] Французский драматург. О нем писал Салтыков в статье «Драматурги-паразиты во Франции» («Современник», 1863 г., № 1).

[2] «Зять господина Пуарье».

автора могущая дать канву для разнообразнейших и интереснейших драматических комбинаций. В этом фальшивом мещанском мире нет ни одной ноты, которая звучала бы правильно, ни одного поступка, который не был бы недоумением и не заключал в себе зародыша бесчисленного множества других недоумений. Трудно дышится в этой грубо намалеванной сфере, в которой до того извращены все понятия, что самые естественные требования здравого смысла и чувства представляются чем-то вопиющим, неестественность же и чудовищность, напротив того, усвоивают себе все признаки естественности и нормальности. Но для того, чтобы сделать для зрителей эту нравственную смуту сколько-нибудь понятною, для того, чтобы зритель увидел в ней нечто более, нежели простую диковину, необходимо, чтобы автор отнесся к своей задаче не только как к сброду более или менее комических подробностей, соединенных между собой чисто механической связью, но раскрыл бы тот внутренний прах, которым, собственно, и держится эта чудовищная агломерация всевозможных бессмыслиц, недомолвок и недоразумений. К сожалению, г. Авдеев предпочел пойти первым путем, как легчайшим, и дал нам ряд сцен, которые ничего не объясняют и следуют одна за другой иногда даже без видимой нужды.

На сцене семейство богатого откупщика Кубарева; члены его: сам Кубарев (г. Васильев 2-й), добрый, но довольно глупый и слабый старик, мечтающий современем достигнуть баронства; жена его (г-жа Жулева), из рода разорившихся дворян, проникнутая чванством и глубоко уяз-

вленная неаристократическою специальностью своего супруга; две дочери, из которых одна (г-жа Читау) замужем за остзейским бароном Штернфельдом и требует свободы любви, другая (г-жа Яблочкина 1-я) еще в девушках и представляет собой одну из тех бесцветных личностей, о которых даже сказать ничего нельзя; наконец, сын гусар — стереотипный наглец, из которого г. Журин, сверх того, потрудился сделать личность совершенно противную и непозволительную. Кроме того, у Кубарева есть мать, простая старуха, которая носит на голове волосники, и которая, как нарочно, приезжает в Петербург, чтобы подлить еще более горечи в эту и без того преисполненную всякого рода горечью семью. Такова внешняя обстановка новой комедии, обстановка, хотя и не поражающая авторскою изобретательностью, но тем не менее могущая служить канвою для содержания довольно разнообразного. Но этою внешнею обстановкою все дело и оканчивается, так что в дальнейшем совершенно достаточно прочитать афишу, чтоб угадать, какого рода драматические положения выведет автор для удовольствия и назидания зрителей.

Из первого действия зритель узнает, что существует на свете некто господин Панкратьев (г. Нильский), который находится в довольно странных отношениях к дочерям Кубарева. Со старшей он находится в любовной связи и в то же время ищет руки младшей дочери. Нужно сказать, что эта интрига совсем не нужная ни для хода пьесы, ни для ее идеи, и что даже сам автор оставляет ее без всякого развития, но та-

кова уже сила бракоразводной специальности г. Авдеева, что он не мог воздержаться, чтобы и тут не коснуться ее, хотя бы с явным ущербом для своего произведения. Скучными объяснениями этого Панкратьева и очень неловкими увертками его между двумя сестрами наполняется целая половина первого акта. Наконец, на сцене собираются все члены семьи, из которых каждый, хотя и своими словами, но в сущности совершенно однообразно, объясняет зрителю свой характер. Между прочим, молодой гусар Кубарев рассказывает, как он кутил целую ночь на Средней Рогатке и подшутил там над какою-то старухой, которая ехала из Москвы в Петербург не по железной дороге, а на лошадях. Едва успел он досказать последнее слово своей эпопеи, как эта самая старуха тут как тут. Оказывается, что это мать Кубарева, женщина ужаснейшая, ходящая в волосниках и вдобавок чихающая. Общее смятение, которое усугубляется еще докладом лакея о приезде князя Жижимского. Пробуют спрятать куда-нибудь старуху, выискивая для этого благовидные предлоги, но она слишком много усчитала на своем веку целовальников, чтоб поддаться на живую нитку сшитому обману. Что ж, прячьте мать-то! прячьте! восклицает она гневно, и тем полагает предел первому действию.

Во втором действии к Кубареву-отцу приезжает зять его, барон Штернфельд. С легкой руки автора «Окраин России» [1] вошло во всеобщее обыкновение обращаться с остзейскими баронами

[1] «Окраины России» принадлежат перу известного славянофила Ю. Ф. Самарина. Они были изданы в Берлине (1868—1876 гг.).

без церемонии. Этому обыкновению последовал и г. Авдеев, выведя своего барона на сцену для того только, чтобы заставить его попросить денег и высказать несколько бессмыслиц, перед которыми бледнеют даже откупщицкие бессмыслицы Кубарева. Завязывается бой на пошлостях, бой, довольно удачно напоминающий таковые же бои в названной выше пьесе Ожье, и победителем на сей раз оказывается премудрый откупщик. По изгнании остзейского барона на сцену является князь Жижимский (г. Самойлов 1-й), нечто в роде умственно развинтившегося сановника, ничего не говорящего, кроме: «что, бишь, я хотел сказать?» да «как здоровье?» Тем не менее, родителям Кубаревым удается понять, что князь приехал неспроста, и что он непрочь предложить руку и сердце младшей их дочери, Аделаиде Васильевне.

В третьем действии на сцене бал. Проходят разные лица: генералы, офицеры, чиновники на хорошей дороге, молодые люди с будущностью, молодые люди без будущности и т. д. Автор, как человек аккуратный, не поскупился на характеристики, и, во избежание недоразумений, отпечатал их в афишках. Старуху Кубареву запирают в какой-то закоулок в роде чулана, в котором она подслушивает любовное объяснение между баронессою Штернфельд и Панкратьевым, и, к довершению всего, разражается таким неистовым чиханьем, что производит общее смятение. Между тем, гости распускают на бале слух, что Кубарев разорился; происходят сцены, совершенно подобные тем, которые разыгрываются на бале в «Горе от ума». Это до такой степени обма-

нывает зрителей, что больших усилий нужно, чтобы воздержать их от вызова: Грибоедова! В заключение князь Жижимский делает формальное предложение младшей дочери Кубаревых, но Адель, к великому ужасу родителей, отказывает наотрез.

В четвертом действии Кубарев-отец объясняет технологу Пенкину (г. Самойлов 2-й), что он разорен, и что дочери его Адели необходимо выйти замуж за князя Жижимского, потому что она привыкла к комфорту и жизнь с бедным человеком для нее немыслима. Кубарев обращается к содействию Пенкина, чтоб убедить Адель в непреложности этой истины. Пенкин сам любит Адель и любим ею взаимно, но, по какому-то непонятному соображению, не отказывается от исполнения навязываемого ему поручения. Происходит объяснение между влюбленными — и что ж оказывается? — что Адель действительно до такой степени заражена любовью к комфорту, что скорее соглашается жить в чертогах с расслабленным сановником, нежели в хижине с милым сердцу человеком. Эта сцена столь удивительна, что надо видеть ее собственными глазами, чтобы понять, какое тяжелое впечатление может производить несвязный сумбур на зрителей самых невзыскательных. Кончается, разумеется, тем, что является г. Самойлов 1-й, подают шампанское, и занавес падает среди громаднейшего шиканья.

Вот какого рода нехитрою стряпнею накормил г. Авдеев свою публику. Мне скажут, может быть, что если стряпня эта такова, то не стоило и говорить об ней. Это так. Но не надо забывать,

что мы не можем выбиться из этой стряпни, что когда бы мы ни заглянули в театр, мы ни под каким видом не разминемся либо с «Пробным камнем», либо с «Фролом Скабеевым», либо с «Прекрасной Еленой». Этот факт сам по себе достаточно обременителен, чтобы поговорить о нем. И в самый этот вечер, когда шла «Мещанская семья», все-таки не обошлось без «Прекрасной Елены»; хоть один акт, а дали. И надо было видеть, какое было написано уныние, чуть не омерзение, на лицах актеров, исполнявших этот несчастный первый акт. Пожалеем их, читатель; вспомним, что в ту минуту, когда я дописываю эти строки, «Прекрасная Елена» выдерживает тридцатое представление, независимо от тех, которые были даны в бенефисы. И это впродолжение каких-нибудь двух месяцев с половиной!

Об игре актеров, участвовавших в «Мещанской семье», с особенной похвалой отозваться нельзя. Кроме г-жи Линской, которая была, как и всегда, неподражаема, и г. Васильева 2-го, который сыграл свою роль прекрасно, прочие актеры были ниже своего обыкновенного уровня. К сожалению, замечание это относится даже к г. Самойлову 1-му, который своею постоянно прекрасною игрою приучил публику быть требовательною. Но ведь и то сказать: каждый день вести изнурительную борьбу с авторами, которые, повидимому, никакой другой мысли в голове не держат, кроме той, как бы сломить непокорного актера — это может хоть кого утомить.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

Наши охранители и наши прогрессисты В. П. Безобразова.
(«Русский Вестник», 1869 г. Октябрь.).

Скажи, кто ты?
«Руслан и Людмила» (опера).

Г. академик Безобразов начинает свой новый труд рассказом довольно замечательного свойства. Дело идет о нескольких стах крестьян отдаленных губерний, вовлеченных «разными льстивыми словесными обещаниями заподряжавших лиц», а равно и собственною «безграмотностью и доверчивостью», к заключению с одним из предпринимателей железнодорожного дела таких условий, которые, по словам автора, оказались и «противозаконными по своему содержанию и возмутительными по своим последствиям». В общих чертах, смысл этих условий таков, что подрядчик выговорил в свою пользу не только право назначать заработную плату «по своему усмотрению», но и право суда над рабочими в таких преступлениях (воровство), которые подлежат ведению общих судов. Из этого вытекло, во-первых, то естественное последствие, что «после двух-трех месяцев тяжкой работы рабочие по счетам хозяина не только не имели получить ничего за свою работу сверх путевых из-

держек и задатков,* но оставались перед ним в значительных долгах», и, во-вторых, то, что «по истечении трех месяцев рабочие не могли добиться, по какой цене они работают».

Само собой разумеется, что такой оригинальный способ производства ценностей мог быть выгоден лишь для одной из заинтересованных сторон, а именно для подрядчика. Последний, конечно, имел полное основание быть довольным, ибо ему представлялся случай не только исполнить даром законтрактованные работы, но еще получить некоторую прибавку в виде налагаемых на рабочих штрафов за прогульные дни, за порчу инструментов, за грубые слова и т. д. Но рабочие взглянули на это дело иначе, и после многих колебаний и проволочек обратились с жалобой к мировому судье. Вот тут-то именно и случилось то, что неизбежно случается во всякой судебно-административной драме, в которой с одной стороны, в качестве действующего лица, является предприниматель, а с другой стороны— рабочие. Первый всегда единоличен, и потому объясняет свою претензию складно, без шума, не торопясь. Если по рассмотрении этой претензии она и окажется неосновательною, то дело могут решить не в его пользу, но ни в коем случае не назовут его ни дерзким, ни нахалом, ни бунтов-

* Жаль, что г. Безобразов не указал размера этих издержек и задатков. Мы с своей стороны, конечно, готовы верить почтенному автору на слово, что эти издержки и задатки не покрывали ценности двух-трех месяцев работы, но люди, которых он именует «охранителями», чего доброго, назовут подобный способ обличения (с опущением фактов, на которых зиждется обличение) легкомысленным.

щиком. Напротив того, рабочий почти никогда не является на суд в одном лице, а всего чаще рекомендует себя в виде целого легиона. В этом заключается, однако ж, очень большое неудобство, ибо людям робким при виде этого легиона всегда мерещится ежели не настоящий бунт, то, по крайней мере, попытка к бунту. Точно то же померещилось и в случае, описываемом г. Безобразовым. Когда толпа в 150 человек явилась на улице, то робкие люди «сейчас подняли крик, что *рабочие бунтуют*, и начали осаждать мирового судью требованиями об усмирении бунта».

Дальнейшее движение этого дела очень любопытно. Первый мировой судья (почетный), у которого разбирался спор, во всем завинил рабочих и даже положил взыскать с них по 1 руб. 50 коп. за самовольное оставление работ («т. е. за приход к мировому судье с жалобой», — прибавляет г. Безобразов, не знаем, серьезно или на смех); подрядчика же обязал только объявить рабочим в течение трех дней цены, по которым они работают. Как ни мало удовлетворительно это решение, однако, рабочие подчинились ему, т. е. начали работать; но подрядчик все-таки продолжал секретничать и цен не объявлял. Тогда рабочие стали уже отказываться от работы и потребовали выдачи паспортов. Появилось сознание права, которое было переведено словом «бунт»; выступила вперед полиция, «усилив себя местною военной командой», и «заставила несчастных людей работать под страхом ружейных выстрелов». В промежутках этих действий полиции рабочие узнали, что существует мировой съезд, и подали туда жалобу на решение миро-

вого судьи. Съезд отменил решение и передал дело другому судье. Последний решил дело так: 1) подрядчик обязывается в течение трех суток выдать паспорты рабочим и *рассчитать их по совести;* 2) если он этого не исполнит, то рабочие могут обратиться снова к судебной власти...

«Но даже и эта мировая сделка», — продолжает чувствительный автор,— «на которую рабочие согласились по чрезвычайному своему мягкосердечию, не была исполнена подрядчиком, который сам ее предложил и подписался. Паспорты рабочих пришлось получать не иначе, как принуждением, посредством исполнительного листа, а расчет будет снова производиться судебным порядком, и *можно даже сомневаться, чтобы рабочие когда-нибудь получили какое-нибудь вознаграждение за свою работу*».

Последние подчеркнутые нами слова до того безнадежны (и, прибавим от себя, легкомысленно-бездоказательны), что едва ли самый «беззаветный свистун» (так именует г. Безобразов, на своем академическом языке, русских прогрессистов) решится написать их. Но в том-то ведь и дело, что настоящие «беззаветные свистуны» обитают совсем не там, где их, по преданию, ищут, а там, где они находятся в действительности, т. е. в тех убежищах, где изготовляются бесплодно-свистопляшествующие статьи о китайских ассигнациях, о мерах к распространению пролетариата и т. д.

Как бы то ни было, но факт, представленный г. Безобразовым, такого рода, что непременно требует заключения. Первое и непосредственное заключение, какое по прочтении этого рассказа

должно представиться уму всякого непредубежденного читателя, формулируется так: может ли быть названо удовлетворительным положение, в котором рабочий, проработав три месяца в самых тяжких условиях, в конце-концов, обязывается возвратиться домой не только без всякого вознаграждения за свой труд, но даже и без надежды на оное?

Ответ на подобный вопрос может быть только один: нет, подобное положение удовлетворительным названо быть не может. Такой именно ответ дает и г. Безобразов. Нет нужды, что тотчас вслед за сим он позабудет об этом ответе и отречется от него: в первую минуту истина до того поражает его своею ясностью, что иного ответа он дать не в силах. Рассказанный факт возмущает его до глубины души, и он не без раздражения отзывается о тех, которые могут к подобному вопиющему делу относиться иначе. «Нам говорили, — с горечью повествует он, — что крайне вредно объяснять русским рабочим, что они плохо живут, что они должны бы иметь лучшую обстановку своего быта». И далее: «если бы и появились (между рабочими) неправильные желания относительно освобождения от исполнения законных контрактов, то разве такие же точно желания не бывают и в кругу самых образованных людей, домогающихся нарушить невыгодные для них договоры? Разве подобные недобросовестные домогательства служили когда-нибудь поводом к отказу в правосудии по другим, законным домогательствам? Разве не желательно, чтобы в среде рабочего класса преуспевали законность, гражданское со-

знание своих прав и обязанностей, чтобы он научился опытом различать между трудом, налагаемым на него по противозаконному и по законному принуждению». * Вот как беззаветно рассуждает г. Безобразов, выказывая себя в этом случае совершеннейшим нашим сопрогрессистом и сосвистуном.

Но заключением столь простым вполне удовлетвориться всё-таки невозможно. Сознавши неудовлетворительность известного положения, человек непременно будет искать выхода из него. Как бы ни был прогрессивен прогрессист или беззаветен свистун, но и он не лишен способности испытывать сущность вещей и идти несколько далее первых, непосредственно представляющихся уму вопросов. Может быть, найдутся внешние обстоятельства, которые помешают ему предложить по этому поводу «какую-нибудь совокупность государственных мер» (ниже мы увидим, что отсутствие такого рода предложений составляет один из упреков, делаемых Безобра-

* Кстати, о труде, «налагаемом по законному принуждению». Может ли существовать такая рубрика труда? Смеем думать, что закон никогда не принуждает к труду (единственное исключение: обязательный труд в состоянии невольничества или крепостного права), а только обусловливает (при контрактах и договорах) те или другие последствия труда. Обыкновенным условием, обеспечивающим исправное выполнение работы, представляется штраф и неустойка, но отнюдь не требование личного труда во что бы то ни стало. Такого рода требования может предъявлять не закон, а разве практика, да и то такая, которая основана на слишком еще живучих преданиях крепостного права. Для просвещенного экономиста такого рода обмолвки едва ли позволительны.

зовым свистунам-прогрессистам), но что он непременно спросит себя: какой тут может быть выход? — это не подлежит никакому сомнению.

Совершенно иначе взглянул на это дело г. Безобразов. Оказывается, что он рассказал всю приведенную выше историю просто на смех, ради ее шикарности и пикантности. Это даже совсем и не история, а аллегория, которую он завел для того, чтоб привлечь к своему беззаветному суду «наших охранителей» и «наших прогрессистов», и о которой он тут же немедленно и забывает. Но каким же, по крайней мере, образом он связывает эту аллегорию с действительным предметом своего исследования? Каким образом может быть по поводу ее заведена речь, например, хотя о прогрессистах, которых уже ни в каком случае нельзя заподозрить в равнодушии к рабочему классу? Станет ли автор обвинять их в подстрекательстве и в возбуждении рабочих к неповиновению? Или, напротив, обвинит их в постыдном равнодушии, скажет: вот что у вас под носом делается, а вы, называющие себя прогрессистами, стоите и хлопаете глазами?

Напрасные догадки. Органической необходимости привлекать к этой истории кого бы то ни было не существовало. Причина одна: погоня за шикарностью и пикантностью, т. е. повторение того же явления, которое породило «Китайские ассигнации», «Меры к распространению пролетариата» и проч. Г. Безобразов (мы говорим это совсем не на смех, а с глубоким прискорбием) принадлежит к числу тех круглописцев, в сочинениях которых никогда не замечается внутренней связи, а существует лишь связь внешняя.

С одной стороны — то, с другой стороны — то, а в средине — ничто, с целою свитой «конечно», «смеем думать» и т. д.

Г. Безобразову понадобилось выразить следующую шикарную мысль: наши прогрессисты и наши охранители, несмотря на взаимное недружелюбие и даже ненависть, в сущности имеют одни и те же воззрения. С натяжкой и некоторой дозой недобросовестности (т. е. придерживаясь исключительно внешних признаков сходства), такую мысль поддерживать можно. Но, к несчастию автора, у него в запасе оказалась история о бедствиях рабочих на одной из строящихся железных дорог. История эта совершенно противоречит его основному намерению, но она так пикантна, что почтенный академик не может сыскать себе покоя, покуда как-нибудь не обнародует ее. Каким образом связать с нею прогрессистов и охранителей? Доказать, что обе эти партии, по существу, смотрят на нее одинаково — это нелепость, которая бросается в глаза с первого раза. Сказать, что обе партии смотрят разно — это не удовлетворит второй задаче, шикарность которой именно в том и заключается, что и охранители и прогрессисты, в сущности, составляют одно целое, расколовшееся лишь вследствие недоразумений. Как выйти из этого положения? — очень просто: взять, рассказать одну историю, потом забыть об ней и начать рассказывать другую историю. Так г. Безобразов и поступил.

Идея заставить две противоположные партии исповедывать одни и те же убеждения, несмотря на свою шикарность, далеко не нова. К подоб-

ным приемам обыкновенно прибегают публицисты, которые в исследованиях своих не идут далее внешних признаков явления и которые с ребяческим, а быть может и с недобросовестным изумлением останавливаются на том, что люди разных убеждений могут говорить на одном и том же языке, употреблять одни и те же выражения и быть недовольными одним и тем же фактом. Поэтому мы и не останавливаемся на этой пикантной мысли, а обратим наше внимание единственно на те еще более пикантные подробности, которыми она обставляется. При этом мы будем говорить исключительно о самих себе, оставляя в стороне «охранителей» и даже предполагаемое наше сходство с ними.

Начнем с того, что г. Безобразов усматривает в нашей литературе три партии: «охранителей» или «лжеохранителей», органом которых он считает газету «Весть»; «прогрессистов», органом которых предполагаются «Отеч. Записки», и, наконец, третью партию, которую автор нигде прямо не называет, но к которой, повидимому, принадлежит сам. Признаки * этой последней партии обозначаются так: 1) она состоит из лучших представителей здоровой общественной

* Кстати, о слове «признак». В нашем журнале печатались и печатаются статьи под названием «Признаки времени», в которых слово «признак» с совершенною ясностью употреблено в смысле, указывающем на известные характеристические черты современности. И что ж? Г. Безобразов уверяет, что автор употребил это слово в смысле предзнаменовательном и предсказательном, в смысле, угрожающем России бедствиями. Вот до каких извращений может довести желание сказать что-нибудь щикарное и пикантное!

среды, которые не принадлежат ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме знамени России и ее обновления, и 2) главное занятие ее состоит в твердой вере в прочность совершающегося перед нами дела и в зорком наблюдении за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями («Русск. Вестн.» № 10, стр. 786).

Откровенно говоря, мы не совсем понимаем, зачем понадобилось г. Безобразову окрестить нас названием прогрессистов. Конечно, если мы будем следовать только буквальному, действительному значению этого слова, то не увидим в нем ничего предосудительного. Что такое прогрессист? Это человек добра, человек, верящий в непрерывное нравственное и материальное преуспеяние общества. Против такого толкования протестовать было бы нелепо. Но в том-то и дело, что некоторые слова, кроме действительного значения, имеют еще значение искусственное, придаваемое им озорством и недобросовестностью, и с изумительною легкостью усвоиваемое практикою. В этом последнем толковании слово «прогрессист» имеет смысл не всегда безопасный, ибо означает по преимуществу «непризнание» и «разрушение», как качества, противоположные тому «признанию» и «созиданию», которые составляют существенный признак таквызываемых охранителей. Не может подлежать сомнению, что г. Безобразовым это выражение употреблено именно в этом смысле; но мы позволяем себе думать, что если даже он прибегнул к подобному приему только ради его шикарности, то и в таком

случае ему надлежало бы воздержаться от него, ибо там, где начинаются пределы действия полицейского, не должно быть места для шикарности.

Мы с своей стороны полагаем, что в России существует только одна партия — охранительная. Но так как на дело охранения могут существовать различные точки зрения, то и в этой единой и сильной партии естественным образом намечиваются некоторые оттенки, разнствующие между собою во взглядах на существо охранения. Таких оттенков мы, подобно г. Безобразову, примечаем три. Один из них на всякий успех в жизни общества смотрит с недоверчивостью, как на шаг в область неизвестного, долженствующий расстроить те отношения, которые окрепли и выработались в прошедшем. Но, не будучи в состоянии не признать силы совершившегося факта, люди этого оттенка употребляют все усилия, чтобы, по крайней мере, сделать как можно более короткими те звенья, которые связывают настоящую минуту с предшествующей. Такого рода охранителей можно назвать — охранителями ретроспективными. Другой оттенок — охранители современности, которые современную минуту считают минутою окончательною, современное дело — делом окончательным, забывая при этом, что и минута предшествующая также когда-то считалась минутою окончательною. Эти охранители относительно людей третьего оттенка играют ту же роль, какую играют охранители первого оттенка относительно их. Наконец, охранители третьего оттенка суть те, которые думают, что творческая сила жизни не прекра-

щается, что дело новое и благотворное представляет собой успех не только как упразднение заблуждений и ошибок предшествующей минуты, но и как свидетельство непрерывности преуспеяния вообще, обещающее в будущем не застой, а развитие и совершенствование. Охранители этого оттенка суть охранители по преимуществу, т. е. люди, которые познали тщету поставляемых жизни преград и потому полагают, что искусственное построение таковых может привести общество только к вредным и нежелательным потрясениям.

Вот три партии, которые мы видим в нашем отечестве. И все эти партии, т. е. люди к ним принадлежащие, суть не враги России, а *верные ее подданные,* что отнюдь не следует забывать публицистам, слишком легко вступающим в полемику с своими собратиями.

Виноваты, мы забыли еще третью [четвертую? — *Ред.*], очень многочисленную партию. Это партия баламутов и несносных болтунов, которые назойливо втираются во всякое дело и никогда не могут свести концы с концами, которые не знают над собой другого ига, кроме ига грамматики и правописания, которые, выйдя из данного пункта, постоянно приходят к заключениям, прямо противоречащим ими же высказанной основной мысли. Но эта партия может быть любопытною только в психологическом смысле, политического же значения она никогда не имеет, а потому мы и оставляем ее в стороне.

О людях первой партии мы говорить не будем, так как указываемый г. Безобразовым орган ее, газета «Весть», конечно, сам сумеет объяснить

действительный смысл обращаемых к нему инсинуаций.

Людей второй партии, к которой причисляет себя и автор разбираемой статьи, мы понимаем так, как они определены нами выше, т. е. как охранителей современной минуты без всякого отношения (или, во всяком случае, с весьма слабым отношением) к прошедшему или будущему. Но так понимать, как определяет их г. Безобразов, мы затрудняемся. Прежде всего определение его кажется нам слишком обширным, и потому ничего, собственно, не определяющим. В самом деле, какое может иметь значение партия, которая заявляет себя «не принадлежащею ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме России и ее обновления»? Что можно найти в этом определении, кроме темного общего места, сказанного «на смех»? Что такое «знамя России»? — это такое выражение, которое во всяком случае нужно наполнить каким-нибудь содержанием, чтобы оно было понятно и предстояла материальная возможность об нем говорить. Если под этим выражением разуметь любовь к отечеству, то совершенно непозволительно, что находится такая партия, которая берет это чувство в исключительное свое заведывание. По крайней мере, пишущий эти строки может заверить, что и он, и, конечно, редактор «Вести», г. Скарятин, любят свое отечество не менее пламенно и не менее сознательно, нежели сам г. Безобразов. Затем, что такое «знамя обновления»? — это тоже выражение, которое необходимо чем-нибудь наполнить, чтобы оно было понятно. Всякий мыслящий человек желает и призывает обновле-

ние (нельзя же думать, что это привиллегия одного г. Безобразова), — но всякий желает его с своей точки зрения, и притом не слова только, а действительного дела. Одни смотрят на эту задачу робче и нерешительнее, другие смелее и нетерпеливее. Необходимо выразить не мутными и ничего незначащими, а совершенно определенными словами, о каком обновлении идет речь и что в этом выражении заключается. Например, ежели вы рассказали историю о рабочих, не получивших расчета от железнодорожного предпринимателя, для того, чтобы вывести заключение, что такого рода порядки требуют обновления — мы будем с вами согласны. Если же вы рассказали это только ради смеху, чтобы показать читателям, что в этом-то именно и состоит «обновление», то мы с вами не будем согласны. В том-то и дело, что надо, наконец, понять, что всякое выражение должно иметь смысл непререкаемый, ибо только тогда слово перестает быть медью звенящею и дает возможность для споров и обсуждений. И смеяться-то ведь надо со смыслом, а не только в силу одной бессовестной смешливости, как смеялся некоторый гоголевский лейтенант.

С другой стороны, определение г. Безобразова кажется нам уже слишком специальным. Обязанность «строго следить за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями», которую он возлагает на людей своей партии, есть обязанность непосильная и могущая увлечь ее в сферу совершенно ей чуждую (по крайней мере, в смысле литературном). Мы желали бы, чтоб здесь слово «неблагонадежность»

было заменено словами: «неправильность» или «неверность». Неправильно смотреть на то или другое дело — вещь очень обыкновенная (errare humanum est).[1] В виду подобного факта, всякий правильно мыслящий человек, конечно, обязан неправильно-мыслящего вразумить и наставить (что сим нами и исполняется), — но этим обязанности его и исчерпываются. Совсем другое дело — неблагонадежность. Неблагонадежность в деле литературы — ведь это преднамеренная агитация, это призыв к непризнанию установленных властей, к неповиновению им. Где, в какой русской литературной партии можно найти подобный чудовищный факт? — конечно, нигде! Ни на что подобное не укажет г. Безобразов, если б даже он и был в состоянии проводить свои обвинения с самою строгою последовательностью. Зачем же понадобилось ему это несчастное, не имеющее никаких применений слово? Увы! оно ему совсем даже не надобилось; оно сказалось спроста, в одну из тех смешливых минут, когда требования шикарности и пикантности неудержимо становятся впереди требований простого здравого смысла справедливости. Ведь сказалась же история о рабочих — для чего сказалась?..

Затем остается третий оттенок охранительной партии, определение которому также дано нами выше. Но г. Безобразов, окрестив людей этого оттенка наименованием «прогрессистов», нашел в этом прозвище самый естественный исход для своей природной смешливости.

[1] Человеку свойственно заблуждаться.

Признаки, которые, по мнению его, характеризуют так-называемых прогрессистов, суть следующие:

I. Невозможно уразуметь, серьезно или на смех они говорят. Самый естественный ответ на такое положение, по нашему мнению, есть следующий: ежели человек чего-нибудь не понимает, то он не должен о том и говорить. Так, конечно, и поступил бы г. Безобразов, если бы он предпринял свой новый труд не ради одного смеха, и мы могли бы только похвалить его в этом случае. Мы сказали бы: вот человек, который не понимает, но зато он настолько скромен, что и не говорит о том, что ему недоступно. На этом бы дело и покончилось.

Но очевидно, что упомянутые выше слова сказаны г. Безобразовым опять-таки только ради одной пикантности, и что, в сущности, ежели он действительно не понимает того, о чем говорят, то, во всяком случае, старается понять.

«Прогрессисты, — пишет он, — совсем не так страшно смотрят на все окружающее, как это кажется, и потому гораздо уживчивее, чем всякие охранители. Известно, что самые свирепые Базаровы, по собственному их признанию, вполне примиряются со всякою средою, если только получают в свое неограниченное распоряжение, для своих безжалостных секций, достаточное количество лягушек; надо надеяться, что не скоро истощится запас этих животных. А до тех пор мы можем с полным спокойствием смотреть на действия этих, не слишком опасных инстинктов разрушения. Впрочем, сама публика уже свыклась с приемами «новых людей», и они уже не ка-

жутся ей так страшны, как в былое время, тем более, что, благодаря господствующему в прогрессивной печати тону, публика всегда, в самые трагические минуты негодования прогрессистов, может недоумевать, серьезно или на смех они говорят. Сатирический элемент занимает такое видное место в нашей прогрессивной литературе, что ее веселость смягчает ее нравы и удобряет самые злые ее вдохновения».

Что вся эта выдержка есть не что иное, как явный бунт (с оружием в руках) против здравого смысла — это доказано будет нами ниже; теперь же обращаем внимание читателя на тон выдержки. Читая ее, можно подумать, что так говорит знаменитость в роде Гумбольдта или Гегеля, у которой накипела в сердце боль от слишком далеко зашедших школьничеств разрезвившихся учеников. Увы! таково печальное положение русской литературы, что этот тон позволяет себе брать г. Безобразов, т. е. публицист, который на следующей странице забывает, что он сказал на предыдущей, который сам не умеет достаточно оправдать повода, который заставил его взяться за перо, который в состоянии написать около ста страниц убористой печати и ничего другого не высказать, кроме бесплодных поисков за шикарностью и пикантностью. Ужели это не безотрадное явление? Ужели не будет пределов этому бесконечному самохвальству и самозванству? Ужели мы навсегда осуждены на выслушивание громов, неизвестно откуда гремящих?

Но постараемся опознаться в этом взбаламученном море круглописания, постараемся помочь

автору понять его собственную мысль. Очистив выписанную выше тираду от ее смешливой серьезности, мы увидим, что она заключает в себе четыре предложения: а) что прогрессисты совсем не так страшны, как это кажется; б) что они охотно примиряются со всякою средою, лишь бы эта среда доставляла достаточное количество лягушек для их безжалостных секций; в) что запас лягушек истощится еще не скоро, и г) что сатирический элемент значительно смягчает нравы прогрессивной литературы.

Что люди, которых г. Безобразов называет прогрессистами, не страшны — в этом ничего нет удивительного, а тем более представляющего повод для насмешки. Страшны (в смысле угрозы для общества) насилие и грубость, страшно самодовольное ничтожество, которое ни о чем не хочет слышать, ничего не хочет знать, кроме самого себя. Иногда это ничтожество взбирается на высоту и оттуда с беззаветной смешливостью, а иногда и с преднамеренной недобросовестностью кидает направо и налево пустозвонными обвинениями. Тогда действительно становится страшно за все живущее и мыслящее. Ничего подобного, разумеется, нельзя ожидать от прогрессистов, т. е. от людей добра, желающих нравственного и материального преуспеяния общества. Их свободно можно назвать не только не страшными, но даже и не сильными. Они составляют в обществе такое меньшинство, которое должно употреблять почти сверхъестественные усилия, чтобы заставить хоть отчасти выслушать себя. Натравить на это меньшинство толпу ничего не стоит, потому что для этого нужно только

обратиться к некоторым темным инстинктам, которые всегда процветают в изобилии. Быть гласом, вопиющим в пустыне, повсюду встречать самый грубый fin de non recevoir[1] — это история, преемственно повторяющаяся и, конечно, очень мало соблазнительная. Все это так, все это сущая, хоть и весьма неприглядная правда, но трудно понять одно: где же тут повод для смешливости?

Что «прогрессисты» легко сживаются со всякой средой, в изобилии производящей лягушек — это тоже явление успокоительное; но для чего приплетены сюда лягушки, где смысл этого загадочного речения — это опять-таки можно объяснить одною шикарностью, одним желанием мудрость академическую подкрепить мудростью тургеневскою.[2] Опыты над лягушками производятся не со вчерашнего дня, и притом вполне независимо от прикосновенности или неприкосновенности к ним российских «прогрессистов». Эти опыты, как известно, привели к очень полезным практическим и научным результатам, которыми воспользовались не только «прогрессисты», но даже и баламуты. Что же в этом смешного? и что в том презрительного, что люди предпочитают «уживаться с средою», производя невинные секции, нежели волновать общество по вопросу о выеденном яйце?

[1] Отказ.

[2] Здесь имеется в виду изображение молодежи шестидесятых годов в «Отцах и детях» Тургенева. Салтыков отнесся к этому произведению резко-отрицательно, усмотрев в нем реакционные тенденции.

Что же касается до того, что запас лягушек не истощится, то это сказано весьма основательно. Мы убеждены в этом столь же твердо, как и в том, что никогда не истощится запас легкомысленных публицистов, над которыми точно так же легко «производить секции», как и над лягушками.

Наконец, нам следовало бы сказать нечто о сатирическом элементе, но претензия заставлять говорить писателей тоном идиллическим, лирическим, сатирическим и т. д. до такой степени наивна, что не стоит даже возражать против нее. Сатира узаконена всеми учебниками словесности, и всеми же учебниками словесности признано, что все роды литературной разработки жизненных вопросов хороши, кроме бессмысленного.

Таким образом, оказывается, что укоризна, обращенная к нам г. Безобразовым, может быть скорее применена к нему, нежели к нам. Читая его, конечно, легко понять, что то, что он говорит серьезно, должно возбуждать один смех, и напротив, то, что говорится на смех, может иметь довольно серьезные и даже им самим не предугадываемые последствия, но в результате дело все-таки сводится к тому, что он не понимает самого себя. Всякий человек, понявший какое-нибудь важное явление и приступающий публично к его разбору, прежде всего должен уяснить себе свои собственные отношения к рассматриваемому предмету. Но г. Безобразов даже этого не сделал; он не спросил себя, что с его точки зрения желательнее: чтобы прогрессисты были страшны, или чтоб они были не страшны? Он сказал себе

только: посмотрю, что за люди, называемые прогрессистами, и если они страшны, то закричу «караул», если же не страшны, то призову на помощь весь запас веселонравности, который во мне таится. Что за простота критических приемов! что за поразительная бесхитростность дилемм! Удивительно ли после этого, что «прогрессисты» примиряются, положим, не со всякою, а вот хоть с такою средою, которая допускает подобные приемы?

II. Преднамеренная безотрадность картин современности, представляемых прогрессистами.

Нащипав несколько литературной корпии из сочинений современных «охранителей», к которым впоследствии, ради шикарности, приурочиваемся и мы, г. Безобразов в негодовании восклицает:

«Читатель готов перекреститься, что он читает это сочинение внутри России, которая, по его непосредственным наблюдениям, еще не совсем разлагается, а не за границей, откуда он, прочитав эти мрачные строки, по всей веооятности, никогда не решился бы вернуться, если только в нем нет охоты быть свидетелем позора своего отечества и заняться исключительно плачем по нем на груде его развалин!»

И далее:

«Окончательные и ближайшие результаты деятельности того и другого лагеря на литературной почве одни и те же: каждый по-своему силится подорвать доверие к новым общественным силам, только что получившим бытие благодаря условиям новой государственной эпохи».

Прежде всего спросим себя, кто написал приведенные здесь строки. Их написал тот самый

человек, который за несколько страниц перед тем нарисовал картину самого безнадежного бесправия, тот самый, который за минуту перед тем доказывал, что приведенный им пример бесправия не имел трагического выхода лишь по мягкосердечию одной из заинтересованных сторон. Но что может быть трагичнее этого мягкосердечия? Разве трагедия непременно должна кончаться побоищем? разве безмолвие во многих случаях не знаменательнее насилия?

Но г. Безобразов или позабыл об этом рассказе, или не сознал, для чего он ему понадобился. Он не понял, что он может быть уликой только для него самого, т. е. выставить в полном цвете его собственное легкомыслие. Если б он обдумывал свои действия, то должен был или умолчать о виденном им случае, или же обратиться к «прогрессистам» и сказать: да, вы правы; хотя нынешние порядки неизмеримо выше прежних, но они все-таки далеки от идеального совершенства, и вот именно случай, которого они не могли вместить в себе, и который доказывает, что реформы самые широкие и благодетельные подлежат развитию.

Вместо того, г. Безобразов с самою бесцеремонною развязностью начинает уличать нас в тождестве с «Вестью», умышленно или наивно забывая, что ежели и мы и «Весть» рассматриваем одни и те же явления, и ежели эти явления обоим органам одинаково кажутся не вполне удовлетворительными, то эта неудовлетворительность с нашей точки зрения совсем иная, нежели с точки зрения «Вести». Для чего могла понадобиться подобная подтасовка? — этого одного вопроса

достаточно, чтоб смутить каждого. Несмотря на то, что вся сила негодования автора, повидимому, обращена не к нам, а к «Вести» (с нами он до некоторой степени пускается даже в снисходительное балагурство), нельзя не чувствовать, что «Весть» для него все-таки нечто в роде заблудшей овцы, которую он не отчаивается современем обрести, и что спор между ним и этой заблудшей овцою совсем не существен, но раздут исключительно ложно понятым соревнованием, кому над кем начальствовать и под чьим предводительством на «прогрессистов» походом ходить. Не для того ли автор привлек нас, чтобы сравнением с нами постыдить «Весть»? Не для того ли он поставил нас на одну доску, чтобы сказать г. Скарятину и его сотрудникам: вы, которые покинули райские обители, оглядитесь, куда вы попали, и поспешите опять в рай!

Все это очень возможно, хотя мы и не беремся отвечать на эти вопросы вполне утвердительно. С своей стороны, мы можем только разуверить почтенного автора и сказать ему: а) что никому в райские обители вступать не препятствовали, хотя сами идти туда и не желаем; б) что во всех двадцати четырех книжках «Отеч. Записок», изданных до настоящей минуты, наверное, не встретится картины настолько безотрадной, насколько безотрадна та, которую сплеча и вследствие одной необдуманности нарисовал г. Безобразов, и, наконец, в) что если даже из факта столь ясного, каким представляется рассказанная им история с рабочими, автор умеет делать выводы неосмысленные и беззаветные, то причина такого явления кроется уже в нем самом, а не в нас.

Затем, мы считаем совершенно излишним опровергать рассуждения г. Безобразова насчет «безотрадности» наших взглядов и насчет сходства их с взглядами «Вести». Пикантность этих ребяческих измышлений никого в заблуждение ввести не может, и потому пускай всецело остается при авторе. Думаем, однако ж, что если в г. Безобразове уже так сильно желание «зорю следить» за чьею бы то ни было неблагонадежностью, то прежде всего он должен обратить свою подозрительность на самого себя.

III. «Прогрессисты» никогда не указывают не только на «какую-нибудь совокупность государственных мер», но даже на какое-нибудь направление их, которое могло бы удовлетворить их желаниям.

Прежде чем укорять кого бы то ни было из русских литераторов в отсутствии инициативы относительно «какой-нибудь совокупности государственных мер», самая простая справедливость требует, чтоб был разрешен вопрос, в какой степени эта инициатива им доступна. Очень возможно, что это и заблуждение с нашей стороны, тем не менее, мы совершенно искренно думаем, что русская жизнь и до сих пор разделена на довольно большое количество клеток или шестков, на которых как нельзя более вразумительно написано: всяк сверчок знай свой шесток. Да не подумает, однако ж, читатель, что мы желаем оправдаться или сознаваться; нет, мы настолько убеждены в том, что мы говорим, что считаем всякие оправдания и сознания вполне неуместными. Это правда — и больше ничего. Конечно, нам могут указать на сравнительно-смелый и от-

кровенный образ действий «Московских Ведомостей»; но на это мы находим себя в праве ответить: как ни достойна уважения откровенность почтенной московской газеты, но мы все-таки не можем последовать ее примеру. Партия, которую г. Безобразов называет «прогрессивною» и которую «Москов. Вед.» переименовывают уже в «лжепрогрессивную» (№ 245-й), существует не со вчерашнего дня, но ей почему-то никогда не счастливилось. Одни походы русской журналистики против нее в 1862 г. практически стоили ей так много, что очень может быть даже и обессилили ее в значительной мере. [1] Для того, чтоб она высказалась определительно и без оговорок, нужно, чтоб в обществе, по малой мере, утвердилось мнение, что мысль человеческая, каково бы ни было ее содержание (мы говорим о мысли с точки зрения ее теоретического формулирования), не есть что-либо зазорное, и чтобы спор был возможен действительно в качестве спора, а не в качестве травли. Если даже теперь, когда г. Безобразов сам сознает скромное положение, занимаемое прогрессивною партиею в нашей литературе, и когда мы, благодаря лишь этой скромности, имеем возможность дать ему отпор, он тем не менее не может воздержаться, чтоб не пустить ей несколько смешных слов вдогонку,— то, конечно, его смешливости не было бы преде-

[1] Летом 1862 г., после известных петербургских пожаров, были приостановлены на восемь месяцев «Современник» и «Русское Слово», закрыты народные читальни и клуб литераторов. Реакционная журналистика, естественно, горячо поддержала эти мероприятия правительства. В этом же году был арестован Чернышевский.

лов, если б она была обеспечена полною безответностью с нашей стороны. Конечно, подобный бесцеремонный образ действия доказывает и большое легкомыслие, и значительную недобросовестность, и забвение всяких приличий, но иногда в самом воздухе бывает какое-то странное настроение, которое даже тяжелого на подъем человека приглашает порезвиться, и не ради чего-нибудь полезного, а ради одной шикарности и пикантности.

Повторяем: покуда у нас возможен не спор, а травля, мы ни на какую «совокупность государственных мер» указать не в силах, тем более, что и разработка таковых мер принадлежит не нам, а министрам, сенату и государственному совету. Конечно, мы знаем очень много людей, которые отнюдь не прочь помероприятничать, но, по нашему мнению, это люди, которые не понимают самой простой экономической истины, которая во всяком деле требует тщательного разделения труда и которая в России имеет особенную силу. Из всех занятий, какие существуют на свете, нам всегда казались наименее привлекательными занятия бесплодные, т. е. такие, из которых, по обстоятельствам, ничего выйти не может, точно так же, как из всех качеств, могущих определять человека, самым дурным и несносным — навязчивость. Видеть человека, который думает о себе, что он «везде поспел» и на этом основании готов во всякую минуту напрудить целый пруд всевозможными умственными объедками, украсив их именем «государственных мер» — ужаснее этого зрелища может разве представить зрелище другого человека, обязанного

выслушивать этого везде поспевающего индивидуума...

На этом мы и покончим с г. Безобразовым. Во всей его статье, на протяжении целой сотни страниц, нет ни одной фразы, которая не втаптывала бы в грязь фразу предыдущую и фразу последующую. Это сплошная борьба, отчаянная борьба человека с самим собою, предпринятая даже без всякой надежды вывести из нее какой-нибудь назидательный смысл. Хочется и полиберальничать, хочется сказать «прогрессистам»: что вы там толкуете! вот послушайте-ко, что я расскажу! — но затем весь этот напускной пыл вдруг соскользает, и оказывается, что он тут так не причем, спроста, что человек начал всю эту историю для того, чтоб изувечить самого себя...

Всего этого было бы, конечно, очень достаточно, чтоб избавить нас от разговоров с г. Безобразовым. К сожалению, редакция «Моск. Ведомостей» нашла возможным (№ 245) сослаться даже на этот немыслимый авторитет, как на что-то победоносное и разгромляющее. Явление это мы можем объяснить только недоразумением. Если б почтенная редакция с полным вниманием прочитала статью, о которой идет речь, то, конечно, убедилась бы, что это не более, как путаница, подобия которой трудно подыскать даже в нашей обильной всякого рода путаницами литературе.

ОДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ МЫСЛИ

Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк А. Станкевича. Москва 1869 г.)

Статья первая

Процесс, посредством которого либеральная мысль проникает в общество, сопровождается такими типическими признаками, которые повсеместно и во все времена повторяются с одинаковым постоянством. Самый существенный из этих признаков заключается в том, что мысль представляется нам действующею под покровом тайны, затемняемою множеством оговорок, окруженною со всех сторон враждебными элементами и сопряженною с значительными рисками и пожертвованиями для ее представителей. Как ни ясны убеждения истории, доказывающей, что попытки либеральной мысли всегда были направлены единственно к тому, чтобы устранять различные недоумения, мешающие общественному развитию, что они всегда клонились к наилучшему устройству умственных и материальных (наиболее доступных пониманию большинства) интересов человечества, и что, наконец, они, во всяком случае, несмотря на противодействия, приобретали успех, и успех тем более спокойный и надежный, чем менее испытывалось противодействий, — установившаяся практика мало ве-

рит не только указаниям истории, но даже убеждениям таких фактов, которые случились у нее на памяти. На глазах ее проходят явления, которые вчера еще поражали своим либерализмом, а следовательно, и предполагаемою опасностью, а сегодня уже сделались принадлежностью самого обыкновенного порядка вещей, но она и за всем тем остается при своем недоверии, обставляя его, для приличия, ссылками на несвоевременность, неподготовленность и т. д. Отсюда то прямое последствие, что, кроме чрезвычайной медленности, которою сопровождается укоренение цивилизующих идей в массах, до сих пор не выработано даже достаточно твердых рамок, в которых эти идеи могли бы спокойно формулировать себя и спокойно же выслушивать возражения. Почему-то предполагается полезным, чтобы мысль находилась в состоянии постоянной тревоги, чтобы она высказывалась не сразу, а только в размере сотой или тысячной доли, и чтобы в обществе царствовало умеренное невежество, в котором видится надежнейший залог его благополучия. Человек пытливый очень часто бывает несчастлив в жизни — практика подмечает это обстоятельство, и, не вникая в его причины, выводит заключение, что истинное счастье состоит в возможно большем ограничении области знаний доступных и в возможно большем расширении области знаний, предполагаемых недоступными. Чтобы достигнуть этого счастья, да кстати привлечь к нему и соседей, которые, быть может, и не желают его, предпринимается целый ряд усилий, нередко имеющих очень чувствительное практическое значение.

Где кроется корень этой подозрительности? в исторических ли недоразумениях, которые составляют основной капитал всякой рутины, или в тех обобщениях, которые приносит с собой цивилизующая мысль и безграничная въедчивость которых не может не действовать устрашающим образом на неразвитые умы? — на эти вопросы может обстоятельно ответить только будущая история цивилизации человечества; но не подлежит сомнению, что недоверие к либеральной мысли принадлежит к числу тех непререкаемых фактов, которые представляются человеческому уму сами собой всякий раз, как он решается затронуть такие вопросы, которые освящены всемирным обычаем или просто обычаем какой-нибудь страны. Среди всеобщего господства рутины, дающей свободный приют всевозможным бессилиям, человек, вносящий в жизнь новую мысль, является в мнении масс не более, как назойливою аномалией, стремящейся сдвинуть общество с наезженной колеи единственно ради удовлетворения личного болезненно-развитого самолюбия. Призыв к сознательности считается на ряду с оскорблением; попытка анализировать данное положение становится чем-то вроде преднамеренного озорства, предпринятого не с тем, чтобы открыть обществу глаза, а с тем, чтобы породить в нем бесконечные волнения. Что нужды, что в конце концов от анализа все-таки никуда не скроешься, что он придет сам собою и будет тем неумолимее, чем внезапнее произойдет его появление, — общественные массы слишком стеснены всякими насущными потребностями, чтобы так далеко простирать свою предусмотри-

тельность. Даже и тогда, когда эта предусмотрительность приходит к ним со стороны, они смотрят на нее, как на непрошенную помеху, которая отвлекает их от так-наз. текущих интересов жизни, и против которой никакие меры предосторожности не могут быть сочтены излишними.

Как бы то ни было, но на первых же порах, как только либеральная мысль вступает на арену деятельности, эта арена уже представляется ей стерегомою чем-то вроде зева чудовища, которое на каждом шагу угрожает поглотить деятеля. Опасности, с которыми приходится иметь дело, бесчисленны, но они все-таки были бы не столь непреодолимы, если бы приходили только извне, не затрагивая самой внутренней сущности мысли. Но в том-то и дело, что эти внешние опасности слишком скоро усложняют свой грубый характер множеством всякого рода признаков чисто-интимного свойства и приводят за собой целую свиту опасностей внутренних, с которыми бороться уже гораздо труднее. Для примера укажем здесь на те из этих опасностей, которые имеют наиболее решительное влияние на успехи цивилизующей мысли. Опасности эти, по мнению нашему, заключаются, во-первых, в том, что изменяется самое содержание мысли; во-вторых, в том, что незаметным образом деятельное проявление мысли подчиняется такого рода приемам, которые значительно ослабляют ее влияние на общество, и, в-третьих, в том, что мысль постепенно изолируется и делается неспособною стоять на одном уровне с позднейшими успехами человеческого разума и понимать потребности той среды, к которой она обращается.

Что внутреннее содержание мысли может замениться другим, имеющим с ним очень мало точек соприкосновения, и даже на долгое время отодвинуться на задний план — это объясняется тем, что одна из самых существенных потребностей мысли заключается в пропаганде. Пропаганда необходима не только в видах приобретения возможно большего количества прозелитов, но и в видах успокоения собственных колебаний мысли. Предоставленная исключительно самой себе, или обращаясь в среде слишком однородной, мысль может достигнуть результатов болезненных, почти чудовищных. Таковы были некоторые проявления средневековой мысли, выразившиеся в религиозном фанатизме; таковы же проявления мысли в замкнутых корпорациях, почему-либо считающих себя отделенными от жизни extra muros[1]. Целые поколения прозябают, довольствуясь скудною и, так сказать, загнившею духовною пищею, именно благодаря недостатку в освежении умственного материала, или тому, что освежение это происходит в пределах слишком ограниченной и исключительной среды. Но для того, чтобы пропаганда могла существовать не по имени только, необходимо сделать арену ее настолько свободною, чтобы вопросы и возражения формулировались во всем их объеме. Если одна из спорящих сторон имеет возможность высказывать свои положения без утайки, а другая высказывается только с примесью бесчисленного множества оговорок, то последствием такого рода обмена мыслей может быть лишь бесполезная

[1] Вне ее.

трата времени. Отсюда то необходимое последствие, что первые шаги мысли неизбежным образом направляются к тому, чтобы обеспечить свободу действия и оградить от насильственных вторжений те рамки, в которых ей предстоит проявлять себя. Или, говоря точнее, первенствующее значение приобретает уже не действительное содержание мысли, а то, что по отношению к нему составляет не больше, как побочное обстоятельство (инцидент). Это искусственное отвлечение лучших сил мысли к такому делу, которое важно лишь, как вопрос регламентации, не только мешает своевременному выполнению главной задачи ее, но даже в значительной степени затемняет ее. Учение, имевшее в первоначальном своем источнике социальное или обще-философское основание, приобретает характер политический, совершенно ему чуждый. Одна задача, или, лучше сказать, одно слово занимает все умы, это слово: свобода. Но что такое, в сущности, это слово? представляет ли оно какой-нибудь конкретный смысл? — Нет, оно имеет только значение рамок, которые необходимы для того, чтобы человечество без помехи и наилучшим образом могло обсудить и устроить свои интересы, но которые никак не могут служить сами по себе целью. Представьте себе какое-нибудь политическое или ученое общество, которое, вместо того, чтобы разрабатывать те предметы, для обсуждения которых оно собралось, истощило бы все свои силы единственно на разрешение вопросов об устройстве и порядке своих заседаний, — что можно было бы сказать о таком обществе, кроме того, что оно пожертвовало своими прямыми целями

в пользу вопросов, не имеющих никакого существенного значения? И вот, между тем подобного рода препирательства,—только в громадных размерах, — идут от начала веков по поводу такого понятия, которого подразумеваемость во всяком деле должна считаться сама по себе непререкаемою истиною.

Нам скажут, может быть, что в настоящее просвещенное время, когда сфера политических прав постепенно расширяется, странно даже и говорить о каком-то непризнании принципа свободы. Но это странность только кажущаяся. Свобода, как принцип, действительно признается всеми, и все партии охотно пишут это слово на своем знамени, потому что привлекательность его освящена преданием. Но те же партии очень хорошо понимают и его растяжимость, и знают, что оно ровно ни к чему не обязывает. Свобода в этих случаях принимается как нечто отвлеченное, совершенно независимое от того содержания, которым она наполняется. В этом смысле ее допускают действительно очень охотно. Но как только содержание начинает идти в разрез с господствующими мнениями и предрассудками, то никому не кажется ни предосудительным, ни нелогичным противодействовать ему не только путем доказательств и опровержений (против чего невозможно и претендовать), но и путем самой простой травли. Самый принцип свободы при этом представляется нетронутым, ибо он заслоняется тем содержанием, которое его наполняет; кажется, что попирается в этом случае не свобода, а то учение, которое благодаря ей увидело свет и которое в данную минуту почему-либо считается неблаго-

временным. Какой-нибудь мудрец московского Зарядья засел в свою мурью и протестует оттуда против непреодолимого хода человеческой мысли. Он ничего, собственно, не опровергает, а только цитирует и отдает на поругание; но спросите его, думает ли он при этом надругаться над принципом свободы мысли и слова, — нет, он представит вам тысячу доказательств, что слово «свобода» точно так же дорого для него, как и для вас, что он никогда и не предполагал ругаться над ним... Отчего же он, однако ж, на каждом шагу попирает его? а оттого просто, что он не понимает или не хочет понимать, что это слово не имеет самостоятельного существования, что люди держатся за него не в смысле окончательной цели человеческого прогресса, а только в той мере, в какой оно ограждает то существенное и самостоятельное, которое ставится под защиту его.

Подобные увлечения побочными отвлеченностями составляют первую внутреннюю опасность для цивилизующей мысли. Постоянная необходимость борьбы за принципы, чуждые существу мысли, производит прецеденты, от которых освободиться очень не легко. Философ, натуралист, экономист превращаются в политических деятелей просто в силу одного обычая и очень часто истощают все свои силы для того, чтобы сказать только одну извечную истину: что арена мысли должна быть, по малой мере, свободна от травли. И опять-таки, сказать ее не прямо, а под покровом таинственности, которая даже и инциденту придает смысл неполный и значительно видоизмененный. Какие ущербы несет от подобных от-

клонений общество — это даже приблизительно определить невозможно, но что они существуют, мы можем в том убедиться, если представим себе такое положение вещей, в котором человек, вместо того, чтобы производить ценности, проводил бы время в испрашивании себе разрешений на это производство. Нелепость подобного положения ясна всякому, но, к сожалению, очень мало мы видим людей, которые были бы способны делать по поводу его те применения и обобщения, которыми оно так богато.

Другая внутренняя опасность, которая сторожит цивилизующую мысль в ее развитии, заключается в сокращении приемов действия и в подчинении их принципу так-называемого соглашения. Нет почвы более опасной и скользкой, как почва соглашений. Однажды попав на нее, человек незаметно для самого себя приобретает такое множество дурных привычек, что только чудо может спасти его от окончательного падения. Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость (и, заметим в скобках, проповедуется совершенно правильно в смысле принципиальном), как такие качества, которые наиболее приличествуют характеру человеческих действий, и упускается из вида та обстановка времени и места, в которой эти поекрасные качества должны проявляться, и которая может сообщить им характер совершенно неожиданный и нежелательный. И, что всего важнее, забывается, что уступчивость, как орудие тактики, тогда только может иметь действительное значение, когда она одинаково практикуется обеими заинтересованными в споре сторонами, а не тогда, когда

одна сторона расширяет свои требования до бесконечности, а другая обязывается в такой же пропорции суживать свои. Нет сомнения, что терпимость есть действительно лучшая окраска человеческой деятельности, но не может быть спора и о том, что действие этого качества тогда только представляется существенно полезным, когда оно ограничивается формальным признанием общей свободы убеждений (хотя бы и невежественных), а не тогда, когда оно наносит ущерб цельности собственного убеждения лица, практикующего терпимость. В этом последнем случае терпимость, снисходительность и уступчивость нередко до такой степени изменяют свой характер, что делается трудным различить, действительно ли тут идет об них речь, как о принципах, или же они выставляются вперед только для прикрытия робости и малодушия тех, которые проповедуют эти качества. Обыкновенно человек начинает проповедью терпимости, а кончает тем, что один по одному обрывает лепестки того пышного цветка, который носит имя нравственного убеждения. Понятно, что в результате оказывается бесцветный остаток, незаметно приравнявший себя бродячей и бесцельно мечущейся толпе, которая ничего не знает, кроме преданий и завещанного ими кодекса бессодержательных истин.

И между тем, эта скользкая почва соглашений есть та самая, на которую всего чаще указывает и суровость установившейся практики, и та неизвестность, которая со всех сторон охватывает дело либеральной мысли. Нужно обладать очень сильным и верным вооружением, чтобы пройти мимо упомянутого выше чудовищного зева, не от-

равив навсегда своей памяти воспоминанием об нем, чтобы сохранить неприкосновенным все свое нравственное убеждение, не отозваться в известных случаях незнанием и не слукавить перед своею совестью. Тем не менее, объяснение вредной наклонности к соглашениям с помощью одних внешних опасений все-таки не исчерпывает факта во всем его объеме, а нуждается в других, более существенных подкреплениях. Что в деле соглашений деятельным агентом является не один страх перед неумолимостью практики, это доказывается тем, что на этой почве мы встречаем такие имена, с упоминовением которых в наших умах возникает представление об убеждениях совершенно определенных. Присутствие этих убеждений мы чувствуем, несмотря на все колебания; мы можем проследить их шаг за шагом, несмотря на запутанности, которыми они окружены. Люди, выработавшие себе вполне ясные идеалы, не могут уступать их ради одного страха перед внешнею обязанностью уже потому одному, что самая выработка этих идеалов сопровождается опасностями настолько значительными, что человек, испытавший их, имеет полное право без недоверия относиться к своей нравственной силе. Тот решительный шаг, который дает окраску всей жизни человека, никогда не делается без тяжких жертв. Для многих он стоит радикальной перемены в самом образе существования, для многих — разрыва с той коренной средой, к которой они принадлежали и которая привязывает к себе не только силою воспоминаний и привычки (а кто не испытал на себе, как велика эта сила?), но и силою действительно оказанных

услуг. Можно ли допустить, что человек, решившийся однажды на подобный шаг, есть человек робкий и легкомысленный; что он не сумеет поддержать свои убеждения с тою же твердостью, с какою к ним первоначально приступал? Нет, подобная мысль может быть допущена много-много, как один из второстепенных мотивов, обусловливающих человеческие действия, а отнюдь не как единственное или даже характеристическое объяснение их. Этого последнего, очевидно, следует искать совсем в другом месте, а именно в тех целях, которые предполагается достигнуть путем соглашения.

Цели, которых обыкновенно предполагают достигнуть путем соглашений, в первоначальном, беспримесном своем виде всегда заключаются в ограждении интересов самой либеральной мысли. Если велики нравственные страдания, причиняемые борьбою с предрассудками и наивным (непреднамеренным) непониманием истин самых бесспорных, то они делаются еще более невыносимыми, когда устраняется самый вопрос о возможности борьбы и когда предрассудок стоит твердо, благодаря не внутренней своей силе (таковой никогда у него не обретается), а множеству внешних обеспечений, которые освобождают его даже от дачи каких-либо ответов и объяснений. Устрашает не опасность борьбы и даже не неминуемость поглощения (хотя и в этом нет ничего особенно привлекательного), но предвидение гораздо более горькое и существенное: предвидение той безгласности и бесплодности, которыми имеет сопровождаться поглощение. Перед деятелем мысли стоит очень большая об-

ласть, которую он просто-на-просто обязывается не трогать, и рядом с нею очень маленькая, в которой он может распоряжаться под опасением лишения огня и воды. Эта угроза, всегда присущая, всегда выражаемая с самою возмутительною ясностью, имеет изнурительное влияние не на один внешний образ действия, но и на внутренний строй убеждений. Начинает казаться, что соглашения могут нечто спасти; является надежда с их помощью отстоять хотя наружное бытие тех дорогих принципов, которые в противном случае рискуют быть совершенно затоптанными. Пускай мысль захиреет на время, думают ее поборники, пускай она живет жизнью неполною и далеко не нормальною, но, по крайней мере, она не навсегда будет вычеркнута из числа умственных ценностей, обращающихся в человечестве, и современем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство. Таков силлогизм, который обыкновенно предшествует соглашениям, и, по нашему мнению, он заключает в себе единственно-правдивое и добросовестное объяснение даже таких уступок, которые, на первый взгляд, возмущают нас.

И действительно, мы видим, что либеральная мысль, хоть медленно, хоть черепашьими шагами, но все-таки проникает в общество, и что мы, например, люди современной Европы, отстоим довольно далеко и от азиатского деспотизма, и от идей фаталистической неравноправности людей, царствовавших в древних республиках, и от религиозной нетерпимости средних веков. Когда Людовик XIV произносил свое знаменитое: l'état c'est moi, [1] то, конечно, были мыслители,

[1] «Государство — это я».

которые очень хорошо понимали, что подобная фраза есть плод самого вредного тщеславия, однако, ни один из них не решился выразить это прямо, и знаменитый король так и умер в том приятном заблуждении, что в его лице сосредоточивались и благополучия, и невзгоды всей Франции. Тем не менее, с небольшим через полвека, эта самая фраза, никем в свое время прямо не опровергнутая, все-таки встретила себе опровержение самое наглядное и бесповоротное.[1] Не доказывает ли это, что при известной обстановке убеждение, высказанное, так сказать, в упор, может, без всякой для себя пользы, возбудить только слепой и авторитетный фанатизм и все ужасы сопряженной с ним ярости? Не доказывает ли это, что самая наклонность к соглашениям заключает в себе своего рода упорство, которое даже не бесполезно для успехов мысли?

Что во всех этих предположениях есть известная доля справедливости — с этим невозможно не согласиться, особенно если мы не будем упускать из вида ту невыгодную обстановку, среди которой мысль обыкновенно проявляется, но в абсолютном смысле все-таки еще более справедливо, что ничто не действует на мысль столь растлевающим образом, как необходимость прибегать к оговоркам и уступкам. Учение, пораженное этой язвою, кроме того, что бывает вынуждено делать продолжительные и бесполезные обходы, всегда принимает в себя столько примесей, которые делают его в значительной степени

[1] Имеются в виду французская революция 1789 г. и казнь Людовика XVI.

неузнаваемым. Разительный пример подобного извращения мы видим на идее человеческой равноправности, составляющей одну из главных задач христианского учения. Нет сомнения, что идея эта и сама по себе совершенно проста (так сказать, присуща пониманию каждого), да и вполне соответствует выгодам большинства, а между тем, сколько прошло веков, сколько пролито человеческой крови для ее торжества, и все-таки твердых оснований, которые дозволяли бы предполагать, что она действительно вошла в общее сознание, не имеется и скорого конца борьбе за восстановление первоначальной ее чистоты не предвидится. Другой подобный пример, хотя и не столь разительный, представляет идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил: naturalia non sunt turpia,[1] а мало ли даже в наше время найдется таких, которые в этом афоризме не видели бы посягательства на спокойствие общества, а в деятельности, проникнутой подобным направлением, не заподозрили бы элементов, стремящихся втоптать в грязь верования, которыми живут массы! Отчего происходит это вечное колебание, в котором находятся истины, повидимому, совершенно бесспорные? Очевидно, что причину его должно искать, между прочим, и в том невыгодном положении, которое обязывает мысль поступаться самою существенною частью самой себя, и которое не только замедляет ход ее, но и самую ее сущность рас-

[1] Что естественно, то не безобразно. В «Губернских очерках» (7. Лузгин) Салтыков переводит это изречение так: «Неудобных вещей в природе не существует».

тлевает множеством самых дурных привычек, обращающихся нередко в природу. Если и представляется вероятным, что соглашения до известной степени ограждают мысль от опасностей совершенного исчезновения, то не подлежит никакому спору, что они же делают ее малосильною и достигающею своих результатов медленным и мучительным путем.

Наконец, третью внутреннюю опасность представляет та изолированность, в которую становится мысль вследствие долговременного разобщения с жизнью и ее действительными требованиями. Справедливость этого положения всего лучше объяснит нам следующий пример. Известно, что после декабрьского переворота во Франции для либеральной мысли наступили черные дни. Представители ее были рассеяны по лицу земли: одних сослали в Кайенну или в Алжир, других просто изгнали из Франции, третьи сами удалились за границу. Таким образом, очень значительная масса людей, стоявших во главе либерального движения (по свидетельству одного из апологистов декабрьского переворота, Гранье-де-Кассаньяка, этим порядком освободились от 26 000 человек), вдруг очутилась не только вне его, но и вне всякого практического участия в делах своей родины. Долгое время либеральные стремления Франции оставались без явных и сколько-нибудь ярких руководителей, но так как без остатка истребить либеральную идею все-таки невозможно, то она и жила под пеплом, постепенно приобретая себе более и более простора. Наконец, время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система

стеснений представляет много таких неудобств, которые делают управление страной невозможным, и что самая необходимость указывает на освежение правительственного механизма посредством привлечения к нему (разумеется, в возможно-ограниченной степени) либеральных элементов, как на единственный исход, требуемый не только честным воззрением на дело, но и чувством самосохранения. Но тут-то именно и выказались плоды той изолированности, в которой долгое время находилась либеральная мысль. То, что случилось некогда с эмигрантами французской революции, возвращенными к деятельной жизни реставрацией, то же самое повторилось и над либералами 1848 года. Кажется, Гейне сравнивал первых с часами, которые, будучи однажды остановлены и потом, через несколько лет, вновь пущены в ход, начинают свой бой именно с того числа ударов, который им приходилось выбивать в ту минуту, когда они были остановлены; это же сравнение можно применить и к настоящему случаю. Все современные известия удостоверяют, что французская либеральная партия, несмотря на сравнительно большой простор, полученный ею для своих действий, не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей. Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах, которые и до декабрьской катастрофы не дали никаких практических результатов; новые деятели оказываются не внушающими доверия по своей малоопытности и совершенному незнанию тех формальных приемов, которые, несмотря на свою бессодержательность, все-таки необходимы в борьбе с таким строем,

который сам весь держится на формализме. Многие в этом видят повод, чтоб упрекать либеральную партию в бессилии и осыпать ее насмешками, но, кажется, справедливее будет, если мы отнесемся к этому факту, как к явлению очень печальному, но совершенно естественному. Мысль живет и питается практическими применениями; если однажды нить этих применений прервана и устранена их преемственность, то само собою разумеется, что и самое развитие мысли прекращается, или, по крайней мере, ослабляется очень значительно. Странно и даже возмутительно слышать эти легкомысленные упреки и недобросовестные насмешки. Сначала считают ни во что разорить мысль и довести ее до изнеможения, а потом, когда она, несмотря на это варварство, все-таки заявит о своем праве на существование, начинают бросать в нее камнями и плевками за то, что она не может сразу собраться с силами и овладеть делом. Но не достаточно ли свидетельствует в ее пользу уже то одно, что она осталась жива? Когда Сийеса спрашивали, что он делал во время террора девяностых годов, то он отвечал, что оставался жив. По нашему мнению, это — ответ, который с полною силой может быть применен не только к одной какой-нибудь форме террора, но и ко всем террорам вообще.

Как бы то ни было, но мысль, разобщенная с средою, которую она почему-либо считает для себя наиболее приличною, действительно утрачивает очень значительную долю своей энергии и плодотворности. Незаметно для самой себя она является в свет с устарелыми панацеями, недействительность которых ясна для всех, кроме нее

самой. Мало того: она не только продолжает верить в непогрешимость выработанных ею афоризмов, но идет еще далее, т. е. развивает их до таких пределов, за которыми можно встретиться только с чудовищностью. Рассказывают, что некоторые французские изгнанники представляют в этом смысле примеры поистине поразительные, и этому легко можно поверить. Человек, сильно пораженный какою-нибудь идеей (особенно, если эта идея имеет чисто политические основания) и лишенный всякой возможности для ее проверки, может дойти до мистицизма, до однопредметной восторженности. Осложненное горечью неудачи, такое напряженное состояние духа делает невозможным не только ясное понимание частных ошибок, присущих каждому учению, но и вообще отделение истины от лжи, возможного от невозможного. И вот, доведенного до такого-то состояния человека вновь призывают к жизни; погребенного заживо, утратившего всякий смысл живой действительности, пробуждают из мира мечтаний и приобщают к миру практики и деятельности. И когда он начинает выбивать то же самое количество часовых ударов, которое он бил в ту минуту, когда его заживо замуровывали, над ним начинают глумиться, на него сыплются упреки и обвинения! Ужели тут есть какой-нибудь смысл, кроме того, что насилие столь же нахально в своих действиях, как и в своих оценках?

Таковы вообще условия того процесса, при помощи которого либеральная мысль проникает в общество. Они не могут быть названы благоприятными ни с точки зрения внешних опасностей, ни с точки зрения опасностей внутренних.

Хотя же ответственность за эти последние и возлагается часто на того или другого из деятелей мысли, но, по мнению нашему, это делается, в большей части случаев, совершенно несправедливо, ибо, в сущности, и увлечения мысли несвойственным ей содержанием, и колебания, и ее разобщенность с действительностью — все это вместе взятое составляет не что иное, как неизбежное и вместе органическое последствие внешнего гнета, и не может быть отделено от него никакою действительно заметною чертой.

От этих общих воззрений обратимся к тому, что стоит к нам ближе, и посмотрим, в каком положении находится либеральная, цивилизующая мысль собственно у нас. Предупреждаем, впрочем, читателя, что мы будем говорить не о современной эпохе, а о том обществе, среди которого жил и действовал Т. Н. Грановский, по поводу которого мы и решились высказать настоящие наши мысли.

Чтобы выполнить нашу задачу по возможности обстоятельно, постараемся уяснить себе, во-первых, какими свойствами обладала та среда, которая выделяла из себя наших публичных деятелей; во-вторых, какого рода подготовку давала она им, и, в-третьих, при каких специальных внешних условиях должна была развиваться деятельность, имевшая какую-нибудь претензию на общественное значение.

Среда, выделявшая из себя наших общественных деятелей, была среда замкнутая, устроившаяся и обеспеченная. Лозунгом ее была привилегия, обусловливавшая и ее собственные эгоистические интересы, и ее отношения к общему

течению жизни. Сравнивая свое нравственное и материальное положение с таковым же положением других слоев общества, она должна была считать первое удовлетворительным не потому, чтоб оно не дозволяло желать ничего больше, а потому, что оно все-таки довольно резко и выгодно выделялось из общего уровня. Эта сравнительная точка зрения должна была иметь решительное влияние и на требования, которые среда простирала к жизни, сообщив им характер крайней немногосложности и ограниченности. Ничто так не принижает человека, не суживает до такой степени его умственного кругозора, как легкая возможность сравнивать собственную бесспорную бедность с бедностью еще более бесспорною и абсолютною. Тут беспрепятственно расцветают всевозможные лжи мелкого самолюбия и окрашивают своим непрочным, но ярким цветом действительность самую скудную и неприглядную. В таком именно положении постоянного самообольщения находилась и среда, о которой идет речь. Жизнь давала ей мало, но зато она оказывалась еще более скупою, как только выходила за пределы ее; никакими особенными благами она не была наделена, но зато, благодаря своей замкнутости, твердо держала в своих руках то малое, которое выпало ей на долю, и не гналась за благами высшими, так как не обладала достаточною суммою интеллектуальной развитости, чтобы видеть в этих благах не пустую прихоть, а необходимость. Но когда потребности низменны сами по себе, и когда притом удовлетворение этих низменных потребностей не стоит никакого труда, то само собой разумеется, что и поводов к пере-

несению их из сферы интересов узко материальных в сферу интересов умственных существует чрезвычайно мало. «Лучше жить незатейливо, но зато обеспеченно и спокойно, нежели гнаться за какими-то идеалами, достижение которых обставлено всеми условиями неизвестности», — так обыкновенно рассуждает индивидуум, которого не терзает ни материальная нужда, ни другого рода нужда, именуемая душевным голодом. Так же точно рассуждает и целая среда, жизненный строй которой представляет нечто цельное, еще недостаточно предрасположившееся к разложению под влиянием мысли. Каждый шаг вперед пугает ее и кажется посягательством на ее приviллегированное положение. Не движение составляет ее интерес, а, напротив того, охранение и застой. Застой внутри, — потому что движение одного общественного слоя неминуемо отзывается и на прочих слоях; застой в прочих слоях, — потому что тут начавшееся однажды движение должно произвести уже не просто вызов из состояния косности, а окончательное поглощение привилегированной среды. Чувство самосохранения хотя и не дальновидно, но очень верно подсказывало ей, что дремотность есть именно то состояние, которое наиболее соответствует ее выгодам, и она слепо верила этому тайному голосу и спешила удовлетвориться тем малым, которое было дано ей в удел и все-таки представлялось чем-то громадным в сравнении с бесконечно-малым, предоставленным в удел другим. Сверх того, она имела некоторое основание утверждать, что ее деятельность все-таки не вполне поглощается одними материальными интересами, но

что для нее доступны и интересы умственные. Этот простейший вид духовной деятельности, на который она считала себя в праве сослаться, представлялся в тех отправлениях чиновничества, которые впродолжение долгого времени были единственным признаком, свидетельствовавшим о существовании в нашем обществе если не умственного движения в прямом смысле этого слова, то умственной изворотливости. Да, это была именно только изворотливость, не требовавшая ни подготовки, ни развитости, ни знаний; но дело не в том, до какой степени она была низменна, а в том, что ею довольствовались, что на нее считали возможным ссылаться как потому, что она очищала от упреков в умственной сонливости, так и потому, что с помощью ее упрочивалось влияние среды на общее течение дел, т. е. опять-таки на общий застой и общую косность.

Спрашивается: могла ли подобная среда дать точку опоры для деятельности, освещенной маломальски живой мыслью? могла ли она защитить ее, дать отпор тем внешним наездам, которые так часто подрывают самые умеренные требования добра и истины? Обладала ли она сама по себе достаточною устойчивостью, чтоб не рассыпаться в прах при малейшем столкновении с чем бы то ни было, имевшим на своей стороне материальную силу? Ответ на все эти вопросы, конечно, не может подлежать сомнению. Нет, не могла и не обладала — вот все, что приходится сказать по этому поводу. Но этого мало, что она не могла ни защитить, ни отстоять, что возлагать на нее какие-либо надежды было равносильно намере-

нию еще более запутать и без того запутанное положение; оставаясь бессильною и неустойчивою в смысле отпора, она, сверх того, вынуждалась ко всякой осмысленной деятельности относиться как к злейшему своему врагу и всячески противодействовать ей.

И в самом деле, какою бы краской мы ни окрасили любую общественную деятельность, какое бы направление ни приписывали ей, но коль скоро в ней есть участие мысли, то первыми явлениями, против которых направится вся энергия ее разлагающей силы, будут: замкнутость и бессознательность. Это отправный пункт всякой мыслящей деятельности, это рамка, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Что будет далее, какое направление примет мысль впоследствии — все это может быть очень загадочным; одно несомненно: что она прежде всего поспешит обеспечить себе свободу и сознательность. Но это-то именно и противно той среде, о которой идет речь. В разрушении замкнутости она видит неминуемость своего обеднения, угрозу стать еще ниже того низкого уровня, на котором она уже стоит; в падении бессознательности ей слышится угроза еще горшая, имеющая олицетворить себя в наплыве элементов совершенно новых, беспокойно предъявляющих претензию на право участия в жизни. В виду этих угроз делаются понятными не только опасения, но даже преувеличения. Вопрос о значении собственности связывается с вопросом о поголовной резне, вопрос о значении семейства — с вопросом о поголовном разврате. Сопоставления эти незаметно входят в обычный тон жизни, и ежели кто-ни-

будь из людей разумных удивляется им, то это означает только совершенное незнакомство с недальновидными, но крайне упорными инстинктами среды. Нет спора, что она произносит свои сопоставления совершенно бессознательно, но инстинкт все-таки служит ей до известной степени верно, ибо во всех радикальных общественных вопросах хотя и нет речи ни о поголовной резне, ни о поголовном разврате, но несомненно есть речь о прекращении господства замкнутости и бессознательности, этих палладиумов, в которых непосредственно хранятся ближайшие и самые кровные интересы среды. С какой же стати ей окружать своими симпатиями такую деятельность, результаты которой прямо противоположны ее непосредственным выгодам? с какой стати ей рисковать, решаться на борьбу в пользу того, что должно положить конец ее собственному благополучию?

Очень может быть, что нам ответят на это примером, доказывающим, что среда не всегда руководится только инстинктами узкого эгоизма, и именно приведут пример Грановского, которого профессорская деятельность в Москве, по словам его биографа, была встречена общим сочувствием и имела немаловажное воспитательное влияние на общество. Но указание это едва ли может быть принято без оговорок. Мы не будем теперь касаться воспитательного значения Грановского (определение этого вопроса составит предмет следующих статей), но скажем только, что если оно и было, то захватывало не самую среду, в которой хранилась действительная сила того времени, но лишь те ее элементы, которые в ка-

честве силы должны были выступить гораздо позднее, а в то время никакой реальной поддержки дать не могли. Одним словом, в районе воспитательного влияния Грановского находилась лишь молодежь того времени, а отнюдь не так-называемое общество. Что же касается до «сочувствия» этого последнего знаменитому профессору московского университета, то мы думаем, что в этом случае слово «сочувствие» несомненно принадлежало к числу тех, которые всего легче ускользают от точных определений и всего труднее переходят в действительную поддержку. Опираясь на самого Грановского, мы можем сказать, что и он, несмотря на общий снисходительный уровень своих требований, был не слишком-то лестного мнения об этом «сочувствии» московского общества. В одном из своих писем он выражается так: «возможно ли веселиться (?) в обществе, которое страшно скучает, потому что у него нет никакого умственного движения, никакого живого интереса, которое употребляет всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку; я совершенно не понимаю, как эти люди не погибают от тоски». В другом письме, по поводу успеха читанных им публичных лекций, он прямо дает себе кличку „boeuf à la mode". [1] Наконец, в третьем письме, по поводу подобного же успеха, он говорит: «публика многочисленна и внимательна, но есть и другие стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, обвинения в том и другом и т. п. Мне кажется, что на эти мерзости

[1] Буквально: тушеное мясо. В переносном смысле — модное блюдо.

приличнее всего отвечать молчанием. Есть споры, которые марают даже того, кто спорит даже за правое дело». Кажется, этого свидетельства совершенно достаточно, чтобы определить отчасти бессознательный, отчасти злостный характер того участия, которое пробудили в московском обществе лекции Грановского, и биограф покойного профессора совершенно напрасно старается усилить значение сочувственных отношений и умалить значение отношений злостных. На деле первые были вполне бессодержательны и обусловливались только скукою людей, «употребляющих всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку», тогда как вторые заключали в себе то узкое, но упорное понимание умственных интересов, которое вполне исчерпывало взгляды современной Грановскому общественной среды. Поэтому на первые рассчитывать было невозможно, тогда как со вторыми необходимо было считаться. По нашему мнению, разоблачение этого мнимого сочувствия не только не умаляет, но даже увеличивает значение Грановского, и усилия, делаемые его биографом в обратном смысле, кажутся нам не вполне уместными. Странно было бы, если бы это сочувствие существовало действительно, если бы в самом деле могла найтись какая-нибудь нейтральная почва, на которой могли бы встретиться: и в высшей степени гуманная личность профессора, и совершенно лишенные всякой гуманности стремления той среды, к которой он принадлежал по своему положению в свете. Допустить подобную мысль— значило бы приравнять эту среду к одному из лучших деятелей нашей мысли, что совершенно

невозможно в виду свидетельства самого профессора о грубости и пошлости, в которых коснело современное ему московское общество.

Да и чем могла заявить эта среда о своем сочувствии, кроме противно-бессмысленных возгласов, в роде charmant! sublime![1] к которым она всегда прибегает для выражения своих беспричинных восторгов? где доказательства того, что «со времени публичных лекций Грановского московское общество *сильнее, чем когда-нибудь* (?), сознало свою связь с университетом?». В чем выразилась эта «связь» в то время, когда Грановскому внушалось, что «реформация и французская революция должны быть излагаемы с католической точки зрения, и как шаги назад», и когда он вынужден был предложить не читать вовсе революции? Где была она в то время, когда Грановский по поводу своей диссертации «Аббат Сугерий» (кто бы мог подумать это!) должен был принести объяснения митрополиту Филарету? Как, наконец, она заявила себя в ту минуту, когда от Грановского требовалось составление руководства к изучению всеобщей истории, «написанного в русском духе и с русской точки зрения», и когда он вынужден был прибегнуть к целой системе уступок, чтоб удержать хоть частицу того, в чем заключалась сущность его исторического взгляда? Очевидно, что рассчитывать на такие симпатии, которые отсутствуют именно в ту минуту, когда их подкрепление всего более необходимо, все равно, что рассчитывать на помощь тех оловянных солда-

[1] Прелестно! превосходно!

тиков, которых в таком изобилии выделывает игрушечный мастер Ваханский.

Вот какова была эта мнимая популярность Грановского, эта мнимая «связь» его с современным обществом, о которой так много распространяется его биограф. Многие, впрочем, не видят еще большого зла в этом отсутствии популярности и охотно сравнивают популярность с «дымом», «пустым звуком» и т. д. Но это едва ли справедливо, или, лучше сказать, справедливо только в таких положениях, как, например, то, о котором идет в настоящее время речь. Мы действительно не знаем истинного значения слова «популярность», мы очень часто видим людей, которые вчера своею деятельностью обращали на себя всеобщее внимание, а нынче уж исчезли неизвестно куда, и нимало не формализуемся этим исчезновением. Привычка — не то, что не уважать авторитета, но топтать все, что можно топтать безнаказанно—вот ужасная школа, в которой мы воспитывались. Но это доказывает только нашу нравственную несостоятельность и робость и в то же самое время наше желание увернуться от обращенных к нам обвинений посредством преднамеренного извращения действительного значения самых общеизвестных слов и понятий. Не рукоплесканиями захмелевшей толпы выражает себя популярность общественного деятеля, а тою материальною и нравственною поддержкою, которую дает общество и перед которою невольно задумывается самая нахальная беззастенчивость. Вот этой-то популярности у нас никогда не было, как не было и многого другого, о чем с такой напыщенностью

трактуют наши публицисты, а заменялось все это дешевыми рукоплесканиями да трактирными спичами, одинаково готовыми петь хвалу и успеху деятеля, и его исчезновению с арены деятельности.

Такова была среда, из которой выходили наши общественные деятели и которую они волею или неволею должны были постоянно иметь в виду. Теперь посмотрим, какого рода умственную и нравственную подготовку она могла дать тем детям своим, которых выпускала на поприще публичной деятельности.

К какой исключительной цели направлено было все наше воспитание? Какую задачу предполагал разрешить отец или педагог при взгляде на сырой материал, называющийся ребенком?

Эта цель, эта задача определялась двумя словами: приготовить чиновника.

Никто, конечно, не станет оспаривать крайнюю исключительность и ограниченность этой задачи, но мы все-таки могли бы примириться с нею, если б она хоть с какой-нибудь стороны была причастна к знанию и требовала хоть малейшей умственной подготовки. Знание, как бы ни было ограничено его содержание, имеет втягивающую силу, и человек, вкусивший его, невольным образом делается наклонным к расширению его. Но в том-то и дело, что даже в общем, самом низменном сознании слово «чиновник» означало не что иное, как tabula rasa,[1] на которой прихоть и произвол как попало начертывали свои немудрые афоризмы. Чиновник, предста-

[1] Чистая доска.

влявший собой орган государства, мог свободно не знать, что̀ такое государство, в чем заключаются те функции, которые отделяют его от общества и определяют его отношения к последнему; он обязывался иметь ясное понятие только о «начальстве», он знал только букву «предписания» и даже не чувствовал ни малейшего поползновения уяснить себе ее смысл и ее отношения к действительности. Чиновничество изображало собой организованное невежество не только по отношению к общей области знания, но и по отношению к той специальности, которой оно служило. Оно ничем не отличалось от среды, его производившей, оно прозябало одной с ней жизнью, с тою лишь разницей, что отдельные его члены за свои бессознательные действия отчасти награждались, отчасти отдавались под суд, тогда как бессознательность отдельных членов среды не подвергалась ни награждению, ни преследованию. Для того, чтобы согнуть в бараний рог, упечь туда, куда Макар телят не гонял, ничего другого не требовалось, кроме некоторой доли изворотливости, которая помогла бы выполнить затеянное предприятие в лучшем виде. Никто не скажет, что это наука трудная, но никто же не будет и отрицать, что это та самая наука, которая составляла весь фонд нашего недавнего воспитания. Молодой человек, окончивший так-называемый «курс наук», хотя и приобретал некоторые знания, но без всякой системы, не работая над собой и не ассимилируя их себе. Эти знания соскользали так же легко, как легко приобретались, тем более, что ничто в дальнейшей деятельности не требовало ни по-

вторения, ни применения их. В редких случаях они доставляли возможность убить время с большим или меньшим разнообразием, но гораздо чаще бывало так, что молодой человек, выходя из школы, считал себя счастливым, что делался свободным от наук. Уже Грановский заметил эту особенность нашего воспитания. «Студенты, — пишет он («Биогр. очерк», стр. 105), — занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходе из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее надежды, пошлеют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из круга так-называемых положительных интересов; их губит материализм и безнравственное равнодушие общества». Вот подлинные слова Грановского; к этой меткой характеристике мы можем прибавить только, что тогдашнюю молодежь губил совсем не материализм (выражение и доныне остающееся двусмысленным), а дешевая возможность дешевых удобств жизни, и не *положительные* интересы, а, напротив того, совершенное отсутствие интересов, кроме тех, которые насильно навязывались всеобщею скукою. Все это губило не только в будущем, т. е. по окончании школы, но уже в самой школе, воспитание которой только случайно касалось знания, а всею своею сущностью было направлено к тому, что Грановский неточно называл материализмом и положительными интересами и чему следует присвоить совершенно иные названия.

В самом деле, ежели мы вникнем в содержание нашего воспитания, то увидим, что в нем преобладал элемент спекулятивно-мистический, с совершенным почти исключением каких бы то ни

было *реальных* знаний. Но если реальное знание по самой природе своей ограничивает человека в том смысле, что отнимает у него возможность выбора между *множеством* путей к прогрессу и сосредоточивает его внимание на *одном*, то ничто не представляет такой широкой арены для всевозможных фантастических концепций, как тот спекулятивный мистицизм, который царствовал в наших школах. Все, что идет вперед с завязанными глазами, что бьет на удачу, встречает себе готовый приют в нем; предположение самое странное, самое рискованное может надеяться хоть на время найти для себя возможность укрепиться в этом убежище всевозможных гадательностей. И при этом совершенное отсутствие всякой системы, дававшее возможность самым легкомысленным образом относиться к знанию и на каждом шагу менять взгляды на ту или другую его отрасль. Возьмем для примера хоть всеобщую историю: ее предполагалось возможным преподавать «в связи с успехами и открытиями естествоведения», но в то же время не отрицалась и другая возможность: излагать ее «в русском духе и с русской точки зрения». Что такое этот русский дух, или русская точка зрения в науке — это очень вразумительно разъяснил нам, в конце пятидесятых годов, «Русский Вестник» в опубликованных статьях «о народности в науке»; это же разъясняют нам в настоящее время «Московские Ведомости», заявляющие (1869 г. № 184), что «истинно национальная политика может быть успешна только как последствие соответственного успеха в основной национальности государства», или, говоря словами

более вразумительными, только та национальность может иметь влияние и силу, которая может представить доказательство действительной цивилизации. И это разнообразие взглядов, которое признавалось возможным прилагать к преподаванию истории человечества, прилагалось не к ней одной, а проникало всюду, и везде давало возможность освещать знание не тем светом, который ему принадлежит, а тем, который признается наиболее удобным для требований, образующихся совершенно от него независимо. Подобная шаткость в столь важном акте человеческой жизни, как воспитание, имела последствием такую же шаткость в дальнейшем ее развитии. Приобретая знание в самом недостаточном количестве, и притом такое, которое не представляло никаких применений к действительности, молодой человек не задумывался над своим будущим, не искал в его неизвестности возможности каких-либо новых путей, но успокаивался на тех, которые были приготовлены жизнью и ее преданиями. Он прямо делался «чиновником», т. е. человеком, которому воспитание дает возможность жить на чужой счет, совершенно на одном уровне с любым из членов среды, в которой сосредоточивалась вся сумма наших тогдашних умственных интересов. Можно ли удивляться, что дело, начатое с подобными намерениями, приносило и результаты, вполне соответствовавшие этим намерениям? Можно ли требовать, чтобы «чиновник», оказывавшийся таковым чуть ли не на руках нянек, не продолжал быть и в дальнейших фазисах жизни тем же чиновником, т. е. человеком, который ни в какой другой способности

не ощущал нужды, кроме способности «гнуть в бараний рог»?

Нет; скорее можно удивляться тому, что даже подобные злосчастные условия иногда уступают перед силою даровитости и таланта. В доказательство сошлемся на воспитание Грановского, одного из тех представителей нашего недавнего прошлого, которые выражали собой лучшие стремления того времени. «В учении его не было никакой последовательности, никакого плана», — говорит его биограф: «оно велось отрывочно и случайно»; затем, хотя присутствие в его семействе некоторых светлых личностей (из них в особенности выдается г-жа Герито) и смягчало эти недостатки в том смысле, что благодаря этим личностям он успел воспитать в себе вкус к умственному труду, но стоит только заглянуть в лежащий перед нами «Биографический очерк», чтоб убедиться чрез сколько колебаний и мытарств должен был пройти Грановский, прежде нежели вступил на ту стезю, на которой создалось впоследствии его благотворное общественное значение. Что доказывает эта нерешительность выбора между юридической, дипломатической и даже военной карьерами, которая ознаменовала первые сознательные шаги его в жизни? По нашему мнению, она доказывает только ту истину, что Грановский сам не знал, куда ему удобнее приютиться, и все профессии считал для себя равно доступными (заметим в скобках, что он был уже не ребенком, а довольно развитым юношей). В этом предположении утверждает нас и мысль о самоубийстве («Биогр. оч.», стр. 24), которая волновала Грановского в эту переходную эпоху. Био-

граф его справедливо видит в этой мысли следствие стремлений к задачам и целям жизни, без достижения которых существование теряет смысл и цену; даровитая и впечатлительная натура Грановского не могла примириться с тем безразличием, в которое бросала его воспитательная подготовка, и не могла не ужасаться при виде нравственных опасностей, представляемых этим безразличием. Кого из мыслящих людей не волновал этот вопрос, и многие ли разрешали его для себя? Много ли найдется таких, которые не оставили в этой борьбе лучшей части своего нравственного бытия? Однако ж, скажут нам, Грановский все-таки разрешил эту задачу и нашел, наконец, такую область, которую вполне мог назвать своею. Да, это, пожалуй, отчасти и так, но кто же может сказать наверное, что, не будь случайного стечения благоприятных обстоятельств, он не очутился бы в лагере совершенно противоположном, и, вместо того, чтобы сделаться воспитателем современного ему поколения, не сделался бы просто способным и обладающим прекрасным пером чиновником? Даровитость его, конечно, и в этом случае осталась бы неприкосновенною, но ведь с точки зрения польз общества важность вопроса не в этом, а в том, каким бы питалась содержанием эта несомненная даровитость и какое было бы ее влияние на жизнь.

Таким образом, выступая на арену общественной деятельности, русский деятель встречался, во-первых, с неопределенностью своей собственной воспитательной подготовки и, во-вторых, с совершенно ясным пониманием, что общество, которому он приносит свое служение, не только не

даст ему никакой защиты, но даже при первом случае отвернется от него. Спрашивается, при каких же внешних условиях приходилось действовать двигателям русской мысли, столь недостаточно вооруженным и столь мало поддержанным?

Эти условия достаточно известны всем и каждому, чтобы нужно было распространяться об них. Вот каким образом г. Станкевич выражается об эпохе, непосредственно следовавшей за смертью Грановского. «В русском обществе, — говорит он, — около того времени начинало пробуждаться сознание. Оно начинало чувствовать необходимость перемен, невозможность оставаться в прежнем порядке вещей. Общественная нравственность, справедливость робко, неясно начинала поднимать свой голос, заявлять свои требования в лице лучших людей. Современному человечеству нельзя жить, забывая о добре, нравственности, чести, о началах, на которых зиждутся христианские общества, и это начинало понимать все большее и большее число людей. После мрачной ночи занималась прекрасная заря»... Если это суждение может быть названо верным относительно эпохи нам современной, то из него, конечно, можно вывести весьма характеристическую посылку и к эпохе предшествующей. Окажется, что русские времен Грановского (ибо до «прекрасной зари» он не дожил) были люди, забывшие о добре, нравственности, чести и даже вообще о началах, на которых зиждутся христианские общества; что они походили на тех персов и греков времен Александра Македонского, о которых Нибур (Соч. Грановского, т. II, стр. 119), произносит следующую меткую ха-

рактеристику: «в это несчастное время злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя; все чистое, благородное, совесть, свойственный даже порочным людям стыд дурных и бесчестных дел исчезли»... Жить в такое время, быть действующим лицом в подобной среде — участь далеко не завидная; но нам кажется, что характеристика г. Станкевича, как ни кажется она верною в общих чертах своих, все-таки применена не совсем туда, куда следует. Не говоря уже о том, что она странным образом противоречит его же свидетельству о сочувствии, которое встретил Грановский со стороны московского общества, мы думаем, что общество, которое «скучает», не может быть злым в прямом значении этого слова. Оно не имеет повода «забывать о добре» уже по тому одному, что никогда не было настолько знакомо с понятием о зле, чтоб иметь возможность провести ясную границу между ним и понятием о добре. Бессознательность, отсутствие каких-либо определенных задач, коснение — вот типические черты подобных обществ. Не к обществу следует отнести упреки, делаемые г. Станкевичем, а к тем его эманациям (историческим и всяким другим), которые хотя, бесспорно, исходят из общества, но с течением времени до такой степени обособляются и отверждаются, что могут быть рассматриваемы как нечто внешнее, в свою очередь воздействующее на свой первоначальный источник. Не в коснеющем и скучающем обществе заключается творческая сила зла, а именно в тех застывших и обособившихся его эманациях, с которыми специально должна была иметь дело мысль и ко-

торые встречали ее первый проблеск и неотступно следили за всеми дальнейшими ее проявлениями...

Из всего вышеизложенного с достаточною ясностью обнаруживается, что общее неблагоприятное положение, в котором находится цивилизующая мысль, в рассматриваемых нами условиях усложнялось еще многими другими обстоятельствами, которые принадлежали собственно времени и месту и ставили ее существование в пределы еще более тесные и зависимые от всякого рода случайностей.

Тем не менее, и у нас, как и везде, мы видим, что действие цивилизующей мысли не прекращается. Несмотря на то, что практика отвергает не только немедленные применения этой мысли— это было бы до известной степени объясняемо тем, что непосредственные применения затрагивают именно ту ближайшую обстановку, в которой человек живет в данную минуту и к изменению которой он недостаточно приготовлен — но и теоретическую ее разработку, всегда, даже в эпохи самого непроглядного общественного ослепления, находятся такие самоотверженные люди, которые, однажды убедившись, что в истине заключается действительное благо человечества, считают, что сокрытие ее несовместно с достоинством человека убежденного и сознающего свою нравственную силу. Обыкновенно подобных людей называют героями, но, в сущности, это только личности, которые в такой степени сознали верность выработанных ими начал, что последние вошли в их жизнь и сделались составною ее стихией наравне со всеми другими инстинктивными движениями. Но на этих-то людях

собственно и зиждется то непрестающее движение, которое мы замечаем в истории.

С каждым днем все более и более приобретает себе авторитет та мысль, что история заключает в себе силу утешения не только для тех, которые занимаются ею как наукой, но и для всех вообще людей, вносящих в жизнь новую мысль, новое убеждение. Справедливость этой мысли нельзя опровергнуть, но, тем не менее, весьма заблуждался бы тот, кто полагал бы силу этих утешений только в противоположении добродетельных деяний гнусным, или в том, что история представляет множество примеров самоотвержения и твердо перенесенных страданий. Утешающее значение истории заключается, во-первых, в том, что она представляет картину не только постепенного распространения цивилизации, но и постоянного истощения сил, ей противодействующих, и, во-вторых, в том, что примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее время ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают современем сделаться вовсе ненужными. Несмотря на поборников бессознательности и произвола, человечество продолжает жить; несмотря на ненормальность такого явления, как самоотвержение, оно освещает от времени до времени историю не ради оправдания своей рациональности, а единственно ради объяснения своей условной уместности.

Что же заставляет этих героических людей, этих двигателей истории, действовать даже в такие минуты, когда мысль подвергается всякого рода искушениям, которые или насилуют, или запутывают ее? Что побуждает их покидать

пути рутины, на которых их ждет спокойный и непререкаемый успех, и вступать на такие пути, где их подстерегают неизвестность и подозрительность? Прежде всего, как уже сказано выше, их вынуждает к тому необходимость пропаганды, как неотъемлемая принадлежность самой мысли, ищущей проверки и успокоения собственных сомнений; но, кроме того, есть еще и другой возбудитель, который в этом случае является двигателем не менее деятельным и который носит имя общего блага.

Цивилизующая мысль, рассматривая человека, в равной степени признает право гражданственности за всеми его свойствами и определениями, т. е. ни одного из них не стесняет, не преследует, не считает проклятым. Сверх того, она заключает в себе такую внутреннюю силу обобщений, которая постоянно захватывает все большую и большую область жизни. Признавая известное право нормальным и соответствующим пользам человека, она стремится перенести его всюду, где встречается возможность для применений. Предмет ее воздействий—не каста, не цех, а человечество вообще; значение этих воздействий не только цивилизующее, но и эмансипирующее. Вот почему и предполагается заранее, что окончательный результат ее общее благо. То, что мы утверждаем здесь о свойствах и действии цивилизующей идеи — совсем не умозрение; это истина, которая на каждом шагу подтверждается историей. Везде, где история записывает на страницах своих торжество либеральной или цивилизующей идеи, везде она в то же время записывает и факт распространения обла-

сти пользования известными благами жизни. Напротив того, везде, где мы видим сокращение упомянутой выше области, мы можем быть уверены, что встретимся с мыслью совершенно иного свойства. Следовательно, идея цивилизующая и идея общего блага, в сущности, составляют одно нераздельное целое, которое мы делим только потому, что к такому делению обязывает нас свойство человеческого мышления.

Представление об общем благе обязывает цивилизующую мысль ко многому, и прежде всего к деятельному проникновению в массы. Правда, что процесс этого проникновения сопряжен для нее с весьма существенными опасностями, на которые мы указали выше и которые могут извратить самый характер и действие мысли. Но не следует ли смотреть на эти опасности, как на неизбежных спутников всякой пропаганды, которые будут существовать до тех пор, покуда мысль не завоюет для себя условий более благоприятных? Но следует ли останавливаться перед этими предвидениями и оставаться в выжидательном положении до тех пор, пока не исчезнет возможность периодического появления их? Когда уничтожится эта возможность? Сама ли собой она уничтожится, или падет под усилиями тех, которые выходят с намерением перейти вселенную из конца в конец, но, благодаря враждебным условиям, успевают удержать за собой только пядь земли?

Вопросы эти ставят нас лицом к лицу с теорией так-называемого абстенционизма, [1] о которой мы и предполагаем беседовать с читателем в следующей статье.

[1] Воздержания, неучастия.

НАШИ БУРИ И НЕПОГОДЫ

Когда я сравниваю настоящее время с минувшим — минувшим, которое было даже не очень давно, например, лет 30 или 40 назад, то думаю, нам ли не жить счастливо, т. е. спокойно, довольно, с светлым взглядом в будущее. Из бесчисленного множества поколений, населивших и обстроивших русскую землю, мы первые счастливцы, которые имеем право называть себя не обывателями только, а некоторым образом гражданами русской земли, которым дана известная свобода мысли и самодеятельности, известная доля участия в управлении, дан народный суд, у которых, наконец de jure [1] нет, не осталось и тени рабства нигде, ни даже в самых отдаленных и глухих уголках обширного отечества. Правда, все это только пока в начатках, но это такие начатки, об существовании которых не мечтали люди даже ближайших к нам поколений; это такие начатки, владея которыми можно безбоязненно и светло смотреть в будущее и работать с наслаждением. Если бы какой-нибудь герой «времен очаковских и покоренья Крыма» взглянул на наше настоящее, он, конечно, сказал бы с восторгом в простоте души: «да у вас не мишура только, а действительно золото; вы

[1] Юридически, формально.

настоящие европейцы; вам и умирать не надо». Он никогда не увидал бы, что мы, новоиспеченные европейцы, ничуть не блаженнее его, — бывшего раба или, что еще хуже, рабовладельца варварской России второй половины XVIII столетия, что мы часто гуртом не спим от таких вещей, от которых не был потревожен в своем безмятежном сне ни один из его современников, что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим и переживаем политические бури.

Читатель понял, конечно, о каких бурях мы ведем речь. Он знает их так же хорошо, как и мы.

Живет себе русское общество спокойно и смирно; каждый сидит под виноградом своим и под смоковницею своею, занимаясь своим делом; вообще, вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром. На отечественном небосклоне всюду светло и ясно, никто не видит нигде и не предчувствует никакого признака невзгоды и беды. Как вдруг в это время, неизвестно откуда, вылетает, наподобие бомбы, некто Нечаев и с шумом и треском падает среди изумленного общества, приводя всех в страх и смущение.

Кто такой Нечаев? Что такое Нечаев? Чей он посланник? Во имя чего и к кому он явился? Какие его цели и намерения? Общество ничего этого не знает и до Нечаева нет ему, повидимому, никакого дела. Нет, говорят, дело есть; Нечаев совершил преступление из п-о-л-и-т-и-ч-е-с-к-и-х целей, и у него есть сообщники в среде общества. Положим, так, но на это есть благоустроенная

полиция, которой дано право не только преследовать, но и предупреждать преступления. Обществу опять-таки до этого нет никакого дела, и оно имело бы, повидимому, полное право оставаться спокойным и заниматься своим делом.

Однако, нет. Полиция, видимо, не знает ничего твердо определенного ни о замыслах Нечаева, ни о его сообщниках и чего-то ищет. По обыкновению общество приходит в смущение. В чем состоит нечаевское дело, остается для всех неизвестным, и публика, естественно, старается поднять завесу с этой тайны. Но как удовлетворить этому любопытству? Единственное средство в ее руках — это собрать данные и из этих данных извлечь ключ к тайне. Но после долгих соображений оказывается, что из собранных данных ни к каким общим выводам придти нельзя. Между арестованными находятся люди таких различных состояний, званий, занятий, привычек, вращающиеся притом в кружках до того разнообразных, что, очевидно, в большей части ни между ними самими, ни между ними и Нечаевым никаких связей быть не могло. Общество теряет единственную надежду, бывшую в его руках, для успокоения себя. Тогда является ему на помощь услужливая молва с своими догадками и производит решительное смятение. Начинают говорить, что Нечаев и некоторые из его сообщников, которых называют и по именам,— разумеется, — одни одних, другие других, — обличены в важном политическом заговоре. И весь этот говор имеет в своем основании что-то смутное: толкуют о знакомстве, каких-то записочках, адресах, фотографических карточках

и т. п. «Помилуйте, это дело невозможное, — говорят люди солидные, — выслушивая такое показание молвы. Ведь и Нечаев, и сообщники его были не преступниками назад тому два, три месяца. Мало ли с кем могли они иметь случайные сношения и отношения? Мало ли чьи могут быть найдены у них записки, карточки, адресы? Да, наконец, карточки, адрес могли попасть к ним даже без ведома того лица, которое они обозначают?». Но, говоря это, солидные люди втайне все-таки остаются не уверены в своих предположениях и колеблются. В это время услужливая молва приливает с новыми сведениями. Начинают говорить, что родилось убеждение, что все зло в России происходит от размножения нигилисток; что, поэтому, к нечаевскому делу присоединяется дело о нигилистках. Но молва представляет такие недостаточные, малочисленные и шаткие факты и pro и contra[1] для своего известия; что никто не знает, на чем остановиться — и от этого все приходят еще в большее смущение. Но молва не останавливается на этом. Быстро несет она новый поток сведений и слухов. Начинают говорить, что убедились, что зла нельзя будет никогда истребить, если не истребить причин, его порождающих. Эти причины — ультра-либеральные, социалистические и коммунистические идеи, распространяемые в обществе и посредством печати, и посредством разных обществ, и посредством устного слова. Это приводит в окончательное смущение всех. Как провести разграничительную черту между ультра-либерализмом

[1] И за и против.

и просто либерализмом? Кто будет проводить эту черту? Что, далее, будет *признаваться* социалистической и коммунистической идеей, и что не будет признаваться? Кончается тем, что все начинают прятаться по норам и каждый в уединенном самосозерцании и самоуглублении начинает себя испытывать: не написал ли он где-нибудь, не сказал ли в обществе чего-нибудь такого, что могло быть понято и растолковано другими за идею ультра-либеральную, социалистическую или коммунистическую. О деле Нечаева начинают говорить с осторожностью и оглядкою, разве только при самых коротких друзьях; имя его произносится полушопотом, чтоб не услыхала прислуга дома. Все, не чувствуя за собой никакой вины, начинают себя считать чуть не виноватыми. Паника доходит до смешного. Рассказывают, что один ex-профессор, отлучившийся из дому по делам очень рано и возвратившийся домой только к обеду, за обедом, с глазу на глаз с своей женой, попросил последнюю рассказать ему газетные новости этого дня. Жена рассказала разные новости и в числе прочих сообщила ему, что Нечаев убежал за границу. Как только ex-профессор услыхал имя: Нечаев, то побледнел и затрясся. Поспешно встал он из-за стола, подошел к одной двери, посмотрел, нет ли кого за ней, подошел к другой, произвел и здесь ту же ревизию, — и только тогда, несколько успокоившись, возвратился за стол и сказал жене глухим голосом: «Душа моя! мы не должны называть имя этого человека; если бы в газетах было напечатано, что разверзлась земля и поглотила *его*, мы должны бы сказать:

что разверзлась земля и поглотила некоторого человека, — только, а не имя рек». — «Отчего же?» спросила с изумлением испуганная жена. «Оттого, душа моя, отвечал ех-профессор, — что времена такие... у нас есть прислуга... Услышат фамилию, пойдут болтать...» «Но ведь ты не виноват ни в чем!» — возразила было супруга. Но ех-профессор был, очевидно, менее ее доверчив в этом случае. «Не виноват, — отвечал он, — конечно, но прежде чем узнают, что я не виноват, придется, пожалуй, *посидеть*».

Я человек от природы характера самого робкого. Когда настает общественная паника, я начинаю трусить едва ли не более всех. Чувство трусости есть самое скверное чувство; это я имел случай испытать много раз в моей жизни. Но если природа наградила кого-нибудь этим чувством, то с ним ничего не поделаешь. Остается одно: быть вечно настороже против разных невзгод и принимать во-время благопотребные меры. Так и веду себя я.

Еще с 1862 г. убежденный И. С. Тургеневым, я порешил, что в наше время всякая связь с молодым поколением опасна, и поставил себе в священный долг не только не заводить вновь знакомств с людьми, не достигшими по крайней мере *тридцатипятилетнего* возраста, но раззнакомиться и прекратить всякие сношения даже и с теми из старых знакомых, которые моложе этих лет. Это решение исполняю я твердо и неуклонно. Сколько ни просят меня разные мои теперешние почтенные и уважаемые мною знакомые, имеющие по 50 и более лет отроду, чтоб я позволил им ввести в мой дом их племянников,

внучков и других молодых людей, аттестуя их как людей меня уважающих и вместе с тем вполне достойных и благонамеренных, — я отвечаю постоянно всем одно и то же: «не могу; времена теперь не такие». Что касается до особ женского пола, то я положил допускать в мой дом: девиц и замужних женщин не ранее 30-ти летнего возраста, если только они не стригут своих волос и если моими почтенными знакомыми будет удостоверено, что они не заражены ядом нигилизма; если же стригут волосы, то, при должном ручательстве в их благонадежности, таковые допускаются не ранее 40 лет отроду.

Далее, не имея за собою ни родового, ни благоприобретенного, проживая на маленькие средства, я решился чуть не половину зарабатываемого мною дохода употреблять на то, чтобы нанимать приличную квартиру с швейцаром. Дорогая квартира лежит тяжелым бременем на моем маленьком хозяйстве и стесняет меня на каждом шагу; у меня нет порядочного стула, на котором можно бы было сесть вполне безопасно, я отказываю себе иногда в необходимой для моего здоровья рюмке вина, мой туалет не лучше туалета немецкого бурша, но за все эти лишения меня утешает мысль, что у меня есть швейцар. Швейцар — великое дело в нашей жизни. Мимо него не пройдет ни один из идущих в мою квартиру. Но мне нравится особенно то, что бог одарил моего швейцара значительною дозою проницательности, любопытства, памяти, и что эти качества сохранились в нем во всей силе, несмотря на его преклонные лета. Он знает не только имена, звания, занятия, но даже места житель-

ства всех моих знакомых. Я так доволен этим, что иногда доставляю себе особенное удовольствие слегка поэкзаменовать его: твердо ли он всех знает, не позабывает ли, не перепутывает ли. Вот иду я домой с обычной прогулки моей после обеда; швейцар отворяет мне дверь и обыкновенно старается ради любезности сказать мне что-нибудь: «А что погода, кажется, все не поправляется?», начинает он. «Да, — отвечаю я. А был кто-нибудь без меня?». «Была,—как ее,— не вспомню вдруг имени, — редакторша (так называет он сочинительниц), что живет на Невском в доме таком-то». Или: «Был старичок сочинитель, который к вам ходит, небольшого роста, у которого жена такая-то (начинается описание жены); живет на Лиговке». «А!» говорю я улыбаясь и весело поднимаюсь вверх в свою квартиру. Но еще более мне нравится то, что швейцар мой находится в самой тесной дружбе с нашим околодочным. Последний то и дело торчит около него у подъезда или они распивают вместе чай в каморке швейцара. «Ведь о чем-нибудь разговаривают же они», думаю я про себя, «проводя целый день вместе? О чем же они разговаривают? Конечно, о жильцах, которые живут в доме, о знакомых, которые к ним ходят, о том, кто эти знакомые, и проч. Одним словом, околодочный знает все то, что знает и швейцар», — заключаю я и потираю себе руки от удовольствия. «Никто, значит», продолжаю я думать: «не может заподозрить меня в знакомстве и сношениях с людьми неблагонамеренными: справка на лицо; жизнь моя как на ладони». Но как ни завидно положение мое в сравнении с другими, прихотям

смертного, как известно, нет пределов... Я желал бы, чтобы не только по наружности, но даже внутри моего жилища постоянно присутствовал какой-нибудь любопытный консерватор, который наблюдал бы за каждым моим шагом и движением, выслушивал каждое мое слово. До того я невинен, что мог бы, кажется, предстать во всякое время и всюду...

Казалось бы, мне ли не быть спокойным, что бы ни происходило в общественной жизни. И, однако ж, когда начинается общая паника, я впадаю в смущение, если не больше, то ничуть не меньше всех других. Голова начинает гореть, начинают шевелиться и бродить разные скверные мысли, так что ни о чем думать невозможно; в голове то и дело вертится вопрос: «Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли только тебе, что ты невинен?» И вот я самоуглубляюсь и подвергаю себя самому строгому самоиспытанию. Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими Ведомостями» лиц и спрашиваю себя: «Не был ли ты знаком с кем-нибудь из них даже когда-нибудь? Не знаешь ли их? Не встречал ли их где-нибудь?». По тщательном возобновлении в памяти всего прошедшего, на все такие вопросы получается ответ решительно отрицательный. Удостоверившись, что с этой стороны *твердо*, я перехожу к испытанию себя в отношении переписки: «Не писал ли ты кому-нибудь когда-нибудь писем с *вольным духом* или с неопределенными намеками, которые каждый может растолковать по-своему, не раздавал ли и не продавал ли своих карточек?». И с наслаждением снова удостове-

ряюсь, что и с этой стороны *твердо*. С ранней молодости моей я отличался отвращением к переписке. Писать письмо было для меня таким же мучением, как делать визит. С самыми лучшими друзьями я мог хранить упорное молчание впродолжение целых годов, если не представлялось настоятельной необходимости написать по делу, точно также я мог не посещать по целым годам лиц для меня самых дорогих без крайней какой-нибудь нужды. Это много причинило мне огорчений и стоило многих потерь в жизни, ибо только немногие, очень близко знавшие меня друзья мои понимали, что это не что-нибудь преднамеренное, а таково свойство моей натуры. Было когда-то время, что я сам огорчался своею неподвижностью и по временам даже предпринимал твердое намерение исправиться, но этого твердого намерения никогда нехватало и на неделю. Теперь только я опытно понял, что это свойство, причинявшее мне столько огорчений в жизни, вовсе недурное свойство, что многие, напротив, у которых руки так же слабы на воздержание от ненужного письма, как слаб язык на словоизвержение, должны сильно завидовать мне.

Затем я обратился к испытанию себя в самом наиважнейшем моменте человеческих грехопадений, в устном словоизвержении, но здесь почувствовал себя еще легче. «Язык мой — враг мой», говорит пословица. Я мог бы сказать: «Язык мой — друг мой». Несмотря на мою словоохотливость и веселость, в жизни моей мне случалось терпеть неприятности от промахов умолчания, но никогда

от словесной распущенности. Всю важность этого качества, которому я прежде не давал никакой цены, я понял только в последнее десятилетие. Трудно представить себе общество, где бы болезнь языконеистовства была так сильно развита и похищала столько жертв, как у нас. Целые политические процессы у нас велись и ведутся из-за словоизвержения, — и сколько погибло от этого сил! Есть люди, которые не могут хранить в себе ни одной зародившейся в их голове мысли, ни одного известия, услышанного от других. Пока они не опорожнятся, т. е. не расскажут того, что у них имеется, по крайней мере пяти человекам, каждому особо, они не могут быть спокойны. Даже когда они, повидимому, твердо решаются не говорить чего-нибудь другим, вообще сохранить тайну, они не могут этого сделать. Их лицевые мускулы и нервы, их телодвижения изменяют им. Сейчас видно, что их что-то прет изнутри и требует немедленного опорожнения. Ужасное несчастье!

Оставалось еще испытать себя относительно грехопадений по части литературы. Но, вступая в эту область, я чувствовал под своими ногами уже твердую почву. Во-первых, литература — дело публичное, совершаемое открыто перед всеми; во-вторых, за нею следят столько официальных надзирателей и столько литературных любопытных консерваторов, что в ней невозможно совершить преступления, если бы и хотел; в-третьих, для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс, от которого никогда ни отступают, да и отступить трудно, ибо литература — дело тонкое

и преступление ее может понимать только специалист.

Получив из самого строгого самоиспытания такие блестящие результаты, я сделался так доволен, что готов был прыгнуть от радости. Во мне явилась потребность немедленно излиться в благодарных чувствах.

В это время вошла в кабинет подруга моей жизни и, увидев меня, каким не видала уже много дней, веселым и беззаботным, спросила:

— Что с тобой?

— Ничего, — отвечал я. — А знаешь что, сегодня погода отличная. Не прокатиться ли нам? Кстати, заехали бы в Казанский собор, помолились.

— Что это значит?

— Да ничего, — отвечал я. — Давненько уж не были мы у чудотворной.

— Гм! однако ж, почему именно сегодня напала на тебя страсть к богомолью? А у меня тоже есть дело к тебе. Ты знаешь, сегодня назначены дебаты об обществе распространения женского образования, и ты непременно должен ехать со мной.

Меня немножко передернуло при этих словах.

— Знаешь что? — начал я, — теперь не такие обстоятельства, чтобы думать об основании общества. Да и сказать ли тебе правду, — я мало вижу толку в этих обществах. Они, мне кажется, убивают только и подъедают частную инициативу людей богатых. Ведь вон Пибоди — посмотри, как действовал. Даст тут миллион долларов, в другом месте два, в третьем — три, — смотришь, в одном месте, точно по-щучьему веленью, университет вырос, в другом — огромное благо-

творительное заведение, в третьем... А будь общества, он, пожалуй бы, и внимания не обратил. Дескать, есть кому пещись. Так и у нас. Не будь вашего общества, может, ныне же на женское образование дал бы Кокорев миллион, Утин — другой, Бернардаки — третий, Поляков — четвертый. Я называю этих богачей только к примеру, — а мало ли у нас таких? А учредите вы общество, они скажут: теперь есть кому и помимо нас думать о женском образовании.

— Однако ж, до сих пор ведь никто ничего не дал? — возразила моя подруга.

— Конечно, не дал, но из этого не следует, чтобы не могли дать. А как заведете общество, так наверно уж не дадут.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала, — отвечала она: — а ты все-таки со мною поедешь.

«Вот тебе и попал», подумал я, отправляясь в свой кабинет. «Что тут будешь делать? Отказаться — нет никакой возможности. Заедят, со света сживут женщины. Ехать в собрание? Но ведь там, верно, человек 20, пожалуй, 30 будет. Уж самый факт подобных собраний есть вещь незаконная. А там разнесется молва, что был в собрании, следовательно, рассуждал.... затевал нечто, положим, законное, но... следовательно, все-таки человек некоторым образом недовольный, протестующий. И зачем это они у нас женское образование какое-то выдумывают? тут надобно бы и мужчин-то разучить, чтобы не высокоумствовали!»

Просто досада меня взяла; веселого расположения духа как не бывало. В то время, на беду мою, как раз шасть в двери Федя Горошков.

Федя Горошков мужчина лет 45-ти, неуклюжий, длинный, как верста, желчный, ничего не делающий, но уверяющий всех, что он по горло завален работою и не знает отдыха. С утра до вечера он проводит время в том, что собирает разнообразные городские сплетни, преимущественно имеющие политический оттенок, разрабатывает их по своему вкусу и в украшенном и дополненном виде разносит по своим знакомым под названием новостей. Так как он темперамента меланхолического, то подбор новостей делает обыкновенно в печальном роде. Если вы находитесь в веселом настроении духа, он своею беседою непременно нагонит на вас тоску и скуку; если же вы и без того невеселы, тогда боже вас упаси от беседы с ним. В прежние времена, находясь в таком почтенном возрасте, Федя Горошков давно, конечно, понял бы, что он не более, как сплетник, но в наше прогрессивное время он остается в том убеждении, что носит в душе своей Weltschmerz [1] и почитает себя политическим деятелем.

— Слышали вы новости? — спрашивал Федя Горошков, вваливаясь в мой кабинет.

— Какие новости? — говорю я.

— Аресты, батюшка, аресты, да ведь какие аресты! Уж тысячи три человек взято!

— Полно вам вздор говорить. Арестовано каких-нибудь человек десять, много пятнадцать, а вы валите целые тысячи! Да и какое нам дело до этих арестов?

[1] Мировая скорбь.

— Вам-то какое дело?.. Как?.. Вы, литератор, и вам нет дела! Ну, нет, вы этого не говорите. Я вам историей докажу...

— Какой вы мне это историей докажете? — говорил я, чувствуя справедливость его слов и внутренне труся, но храбрясь. — Историей, конечно, реакций?

— Та, та, та,—продолжал безжалостный Федя Горошков, не примечал моего смущения:—положим, что и историей реакций. А как вы узнаете, что теперь такое у нас: прогресс или реакция?

— Уже, конечно, не реакция, — пробормотал я.

— Гм, нет, — начал снова Федя Горошков. — А слышали вы, что Белоголового арестовали?

— Вздор, вздор, — отвечал я. — Я вчера видел Белоголового.

— Ну, да, вчера вы видели, а сегодня в ночь взяли; — и всех студентов, исключенных по истории Полунина, [1] взяли, и самого даже Полунина взяли.

— Полунина-то зачем же? — спросил я, невольно улыбаясь.

— А для полноты сведений,—отвечал не запинаясь Федя Горошков.

— А слышали вы?—начал он снова...

Вестей, вроде представленных мною, рассказал мне Федя Горошков с три короба, и, прощаясь, несколько раз повторил мне: «нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; неровен случай». Все, что говорил Федя Горошков, было или просто нелепо, или невероятно, или сомнительно; рассуждения и соображения его были глупы, но

[1] Подробности см. на стр. 224—227.

когда человек находится под влиянием паники, его легковерие быстро возрастает и всегда в обратном отношении к здравому смыслу. Он делается способен скорее поверить вещи самой нелепой, нежели тому, что естественно и очевидно. Так было и со мной. Я понимал всю несостоятельность речей Феди Горошкова, мог доказать нелепость, невероятность или сомнительность каждой его сплетни, видел глупость его соображений, а вместе с тем мне невольно думалось: «А ведь почему-нибудь говорят же? Кто ж его знает, что, может быть?». В ушах у меня постоянно звучали прощальные слова Феди Горошкова: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; неровен случай». Сначала я старался отогнать их от себя, но напрасно; они то и дело завладевали всеми моими мыслями, так что я стал привыкать к ним, вдумываться в них и наконец порешил: «Почему же и не самообыскаться? Самообыскание есть ведь только восполнение самоиспытания, и восполнение некоторым образом даже необходимое».

Но здесь мне предстоял трудный подвиг. Мне не хотелось о своем намерении самообыскания говорить жене. Потому что, как хотите, неловко как-то сказать жене или кому бы ни было, что я хочу обыскивать сам себя, или, что то же, хочу сам обыскивать свою квартиру. А между тем самообыскание нужнее было скорее всего для моей жены, чем для меня. Меня мало вообще интересовали разные запрещенные политические редкости, а она была неравнодушна и к сочинениям заграничной печати, и к карточкам великих, но запрещенных людей.

Жена моя прекрасная, цельная натура. В ней нет того раздвоения, к которому мы привыкаем с самых ранних лет. Она не разделяет мысли от слова, слова от дела; что она раз признала честным и хорошим, от того никогда не отречется, даже притворно, напротив, будет отстаивать всеми силами везде и всегда. Для истины всякая аккомодация [1] к существующему положению дел, по ее убеждению, унизительна и преступна. Чем *пламеннее,* делается натиск на то, что она привыкла считать честным и хорошим, тем *суровее* дает она отпор, невзирая ни на какие лица и обстоятельства. Это качество я глубоко ценю и уважаю в ней. Но читатель, знающий наши общественные отношения, согласится, что бывают случаи, когда означенное качество может причинять большие беспокойства.

Когда я вошел в кабинет своей жены, она сидела и читала Мизераблей В. Гюго.

— Что ты читаешь? — спросил я, будто не замечая. Она назвала книгу.

— Старенько, — сказал я. — Да и талант В. Гюго давно уже поизносился. Ныне и у нас можно найти много кой-чего гораздо поновее и поталантливее.

— Что же, например? — спросила она.

— Да мало ли что? Например: «Идиот» г. Достоевского. Она сделала гримасу. «Преступление и наказание» его же, — продолжал я с прежнею храбростью. Некоторые критики очень хвалили этот роман именно за картинность, которою только и берет В. Гюго». Она поморщилась.

[1] Приспособление.

«А то вот,—снова начал я,—последние сочинения нашего романиста И. С. Тургенева: «Собака», «Лейтенант Ер...» В это время я взглянул на мою супругу и не кончил слова. Ее глаза обращены были на меня с таким укором, что мне стало совестно продолжать. — «Ну да, — начал я, — я ведь говорю это только к примеру, называю первое, что мне приходит на память. Мало ли что у нас есть хорошего? Во всяком случае, что тебе за охота читать эти размазанные, растянутые, надоевшие всем описания нищеты, вечные нападки на богатых...»

— А тебе хотелось бы, — возразила моя супруга, — чтобы я читала нападения на бедных за то, что они притесняют богатых?

Я замолчал. «С какой стати», — думал я в это время про себя, — «привязался я к этим Мизераблям. Пусть ее читает их на здоровье, если хочет!»

— Впрочем, это ведь я так, — начал я, — только между прочим и из патриотизма обращаю твое внимание на недостатки В. Гюго. А у него есть, конечно, много и достоинств, и если он тебе приходится по сердцу, отчего же его и не читать? А это что у тебя валяется? — сказал я, взяв одну из лежавших на столе книг, на которую давно уже были устремлены мои очи. — Ба! Заграничный исторический сборник. Ну, об этом нельзя сказать того же, что о Гюго. Это можно совсем не читать без всякой потери!

— Это почему? — спрашивала моя супруга, смотря на меня во все глаза.

— Да потому, — отвечал я, — что... что ж это такое? Не то роман, не то история. Иные

акты, конечно, встречаются и любопытные, но они ничем не удостоверены; что же толку в том, что ты их будешь знать?

— А какие же акты удостоверены?

— Да все, — отвечал я, — которые издаются не за границей, а у нас дома. Здесь издается все на основании подлинных, несомненных документов; если бы относительно чего возникло сомнение, можно сейчас печатно возбудить вопрос, завести спор, и дело тотчас выяснится. Мне жаль, — прибавил я, — что, читая исторические акты, издаваемые за границей, ты не заглянешь никогда в те, которые издаются здесь. Есть, которые далеко будут полюбопытнее тамошних, — а насчет подлинности не может быть и тени сомнения.

— Какие же это, например?

— Да вот все, которые печатаются в «Архиве» Бартенева. С нынешнего года выходит еще одно такое издание Семевского. Архив я имею уже, а Семевского, [1] если хочешь, также выпишу. Оба гораздо любопытнее «Исторического сборника». Впрочем, ты «Исторический сборник», вероятно, давно уже прочла. Не хочешь ли — я пойду прогуливаться и отнесу его. У кого ты его брала?

— А знаешь, что я тебе скажу, — сказала жена, пристально смотря мне в глаза, — тебе в душе должно быть очень стыдно!

— Отчего же? Я... только так, — бормотал я конфузясь.

— Признайся, — продолжала она, — что ты меня обыскиваешь и поставлен в необходимость

[1] Редактор исторического журнала «Русская Старина».

говорить разную дичь. Отчего не сказать было прямо, что ты немножко трусишь и желал бы, чтобы я очистила свою квартиру от некоторых книг и карточек, которые могут компрометировать.

— Ну да... быть осторожным—вещь, конечно, не лишняя, — говорил я с смущением, — но я вовсе не думал... ты говоришь пустяки...

— Перестань... теперь я все понимаю и все негодные книги удалю. А карточки какие тебе не нравятся?

— Карточки твои все хороши, — говорил я, пересматривая ее альбом, — только вот, мне кажется, напрасно поставила ты в первую голову Фурье, Луи-Блана, Прудона. Они, конечно, люди с талантами, но основательности в них не особенно много. Это не то, что Бэкон, Кеплер, Ньютон...

— Ты, пожалуйста, перестань об основательности. Не нравится тебе, — и я выброшу их.

— Нет, зачем же выбрасывать... Они, во всяком случае, светила, но ты только поставь их подальше. Да кроме того у тебя коллекция замечательных лиц неполна, да и альбом с пустыми местами смотрит как-то некрасиво. Не хочешь ли, я дам тебе — для пополнения — нашу иерархию?

— Какую это иерархию?

— Да карточки наших преосвященных.

— Это зачем? Ты, пожалуйста, не прислуживайся. Уничтожать можешь, что хочешь, а пополнять тебе мой альбом не позволю. Можешь свой завести и помещать там, кого хочешь.

— Ну, где ж мне возиться с альбомом. Я и тебе посоветовал так, ради полноты твоего альбома.

— Не нужно советов. А что ты желаешь, будет исполнено в точности: не будет ни одной карточки с лицом неодобрительного политического поведения и ни одной книги с мыслями красноты неузаконенной. Иди и будь спокоен.

Совершив тяжелый подвиг объяснения с женою, я пошел в кабинет, чтобы совершить процесс самообыскания над собою. Я заглянул в свои книжные шкафы, в ящики письменного стола, в диванные ящики, в особые сундуки, назначенные исключительно для бумаг, — везде были груды, так что, если бы собрать все вместе, образовался бы наверное большой воз. Для основательного разбора этих бумаг несколько человек должны бы были убить, по крайней мере, месяц времени. Бумажный этот хлам копился у меня в течение более 10-ти лет. В нем было все — и целые статьи разных сочинителей, предназначавшиеся к печати и оказавшиеся неудобными для печатания, и бесчисленные черновые листы напечатанных сочинений, разбитые по страницам и перемешанные вместе из нескольких десятков сочинений, и разные счеты, и бесчисленное множество писем, писанных в течение 10-ти лет на имя разных редакций — все это в течение более 10-ти лет никогда не разбиралось; при переездах с квартиры на квартиру, на дачи и с дачи складывалось охапками в простыни и из простынь таким же образом перекладывалось снова, куда попало. Можно представить себе, какой хаос господствовал в этом хламе! Что было с ним делать? Сжечь? Но как сжечь без разбору? Среди хлама могли заваляться бумаги забытые и ненужные, но которые потом,

по востребованию, могут оказаться весьма нужными. Разбирать все это? Но разбирать нужно самому и тщательно, а для этого пришлось бы просидеть за ними месяца три. Наконец, если бы на все махнуть рукой, решиться сжечь все без разбора и начать жечь, то таким аутодафе [1] можно поставить на ноги всю прислугу, возбудить подозрение, что жжешь нечто преступное. И кто поручится, что может из этого выйти? Я перекрестясь решился на волю божию оставить хлам, как он был. Но мне хотелось полюбопытствовать хотя немножко, что в нем есть, и, так сказать, предвосхитить впечатление того, кому пришлось бы разбирать его. Я подошел к одной маленькой кучке, лежавшей внизу книжного шкапа, вынул несколько ненапечатанных старых сочинений, пук всевозможного винегрета из разных отрывочных листов, счетов, писем; — перекинул в последнем несколько листов, счетов, писем и вдруг, о ужас, нахожу следующую записку:

«Приходите сегодня в квартиру ул. д. № в 9 часов вечера, здесь соберется тесный кружок людей, посвященных в тайну, для совета по известному вам делу».

«Вас ждут
Известные вам».

На записке не было никакой даты. Бумага и чернила сохранились так, как будто писаны были назад тому не более одного, двух месяцев. Прочитав эту записку, я обомлел от ужаса.

[1] Сожжение на костре.

Рука незнакомая. Когда и кем могла быть писана подобная записка? Я начал припоминать, думал, думал, но напрасно ломал голову; ничего не мог придумать. Боже! уж не подброшена ли мне кем-нибудь из любопытных консерваторов такая записка... Меня обдало холодом при этой мысли. Однако ж, поразмыслив немножко, я признал всю невероятность, нелепость подобного предположения. В это время, все продолжая раздумывать о записке, я машинально протянул руку к следующей бумаге, лежавшей в кучке под запискою, и на вынутом мною листе прочел список лиц. Тогда для меня все объяснилось. Этот список заключал в себе имена лиц, намеревавшихся издавать газету на паях назад тому 10 лет. Предприятие это не осуществилось. Но собраний по нему было много; между прочим, были и интимные собрания человек 6 или 7, из лиц, руководивших делом, которые собирались предварительно для того, чтоб условиться между собою, что поддерживать в общем собрании. Записка написана была таинственно в шутку, из школьничества. Что, если бы эта записка, думал я, попала! Кто бы поверил такому простому объяснению дела? Ведь по ней можно подумать бог знает о каком кружке. Я, разумеется, немедленно сжег эту записку. Но мог ли я ручаться, что подобных записок нет еще в моем бесконечном хламе? А между тем делать с ним, как я уже сказал, было нечего. Волей-неволей надобно было махнуть рукой.

Кроме хлама, у меня было пачки три бумаг, действительно дорогих для меня. Это были

письма моего покойного отца, письма разных близких ко мне, накопившиеся в течение не одного десятка лет, наброски мыслей, которые я делал по разным случаям, заметки и т. п. Бумаги эти лежали отдельно от всех других в особом помещении конторки. Что делать с ними? — думал я. Жечь их я не желал бы никоим образом. Они были слишком дороги для меня по воспоминаниям. Но в случае крайности я охотнее решился бы сжечь, нежели отдать их в посторонние руки. И это не потому, чтоб в этих бумагах было что-нибудь преступное, чтоб они могли компрометировать меня; ничего подобного, ни малейшего прикосновения к политической сфере в них не было. Но эти бумаги были некоторым образом ключем ко мне самому; они вводили в мир моей души, давали возможность следить за настроением моей мысли, угадывать мои симпатии и антипатии, изучать характер моих отношений к людям и т. п. А мне не хотелось, чтобы кто-нибудь влезал в мою душу. Куда деваться с этими бумагами? — думал я, где скрыть? Я припоминал имена бесчисленных моих знакомых. Много из них было, конечно, таких, у которых я мог надежно схоронить мои драгоценности. Но как было обратиться к ним с подобным предложением? Сказать им, что я чего-то боюсь, значило бы некоторым образом уже скомпрометировать себя в их глазах. Долго я думал, где бы мог скрыть мои сокровища, наконец, меня озарила блестящая мысль.

При одной из петербургских церквей, в звании просвирни, процветала моя двоюродная тетушка Марья Осиповна Самопалова. Мы видались

с тетушкой очень редко, не более шести, семи раз в год, но это не мешало нам взаимно любить и уважать друг друга. Тетушка была женщина добрейшая и с таким природным светлым умом, что хотя и не получила никакого воспитания, но догадкой доходила до понимания многого такого, что остается подчас непонятным самым развитым женщинам.

— Время ныне стало бойкое противу прежнего, — говорила она мне. — Все везде разбирают, все критикуют. Видно, что свету в миру, противу прежнего, гораздо прибыло. Только жить от этого не легче стало. Лбом стены не прошибешь. Свет попадает в немногие головы и темноты, попрежнему, все видимо-невидимо. Светлячки бедные и гибнут напрасно.

— Что? Дали трепку! Поприжмете теперь хвост-то! — говорила мне тетушка вскоре после одной бури, многих потревожившей. — Али не уйметесь? Будете строчить попрежнему?

— Вы знаете народную примету, тетушка, — отвечал я шутя, — что кто раз начал строиться, тот будет строиться до гробовой доски; — так и тот, кто начал писать, не перестанет до конца жизни. Да и чего нам бояться? Разве мы худое что делаем?

— Коли худое, но что ты сделаешь, когда люди не прозрели еще настолько, чтобы отличить хлеб от мякины?

— Так что ж вы думаете, тетушка, бросить писать?

— Зачем бросать? Всякий пусть делает, что может и умеет. А иначе мир не будет стоять. Я вот не бросаю же просвиры печь.

— Да вам хорошо просвиры печь, когда вас никто за это не трогает.

— А ты посмотри-ка по своим книгам, — отвечала мне тетушка, — так и увидишь, что было время, когда просвиры печь было опаснее, чем писать книги. Однако, просвирни не бросали своего дела и пекли просвиры.

— Так что же?

— Ну, пишите и вы, — не боясь опасностей за чистое дело, — и достигнете того, что современем и вам так же вольготно будет, как теперь просвирням.

Такова моя тетушка.

Связав в узелок драгоценные мне бумаги, я отправился к ней в твердой уверенности, что нигде безопаснее нельзя схоронить их на время, ибо никакие политические бури не могут достигнуть до мирного жилища никому неизвестной просвирни. Тетушка только что управилась, как она говорила, с печью, т. е. вынула просвиры и сидела за чаем.

— Вот неожиданный гость! — приветствовала меня она, едва я вошел в комнату. — Не даром у меня сегодня целое утро все искры из печки выскакивали. Какими ветрами занесло?

— Что-ж? Аль ныне пути к вам заказаны, что можно попадать только с попутными ветрами? — шутил я.

— Какое заказаны, — всегда рады гостям, да гости вы спесивые; к такой мелюзге, как мы, неповадно жалуете. Что это за кулечек привез? — спросила она, указывая на саквояж с моими драгоценностями.

— Это, говорю, кой-какие мои бумаги, которые я счел за лучшее на некоторое время положить к вам.

— Что, верно, опять трепка? — сказала тетушка, улыбаясь. — Слышала уж я. На-днях дьяконица рассказывала, что какой-то ее знакомый из кутейников попался.

— За что же? — спросил я.

— А за то, что, не постригшись в попы, начал обедню служить.

— Это как?

— А так, умишку не набрался еще, в университете побыл всего без году неделю, а начал разные турусы разводить о царствах и народах; болтать везде, что и это не так, и то не так, и что мы, дескать, собираемся устроить все лучше.

— И что ж?

— Да жаль беднягу. Хорошо, если удастся отвертеться одним сиденьем, а то придется за такую болтовню дорого поплатиться. У нас, ты сам знаешь, на этот счет строго, не так, как в иностранных землях...

— А вы, тетушка, кажется, сами не прочь заняться устройством царств, — сказал я шутя.

— Ах ты, крюк этакой, — отвечала она, смеясь, — что ж, доносить, что ли, пойдешь? Тогда у кого свой кулечек-то оставишь? Давай его сюда. Вишь, сколько настрочил. Чай, тоже все об устройстве царств хлопочешь?

— А вы боитесь?

— Да что мне бояться. Я не то, что людей я и чертей не боюсь; каждая просвира с крестом, — и они бегут от моего дома без оглядки.

Поболтав еще с тетушкой около получаса, я отправился домой. На душе у меня стало опять легко и ясно. Теперь, думал я, я стал человек, как есть: самоиспытан, самообыскан. Все неприятное удалено. Положим, что у меня остались груды неисследованных старых бумаг. Да ведь не на всякий же, в самом деле, хлам будут обращать внимание? Погода стояла отличная. Я с жадностью глотал свежий воздух. Мысль становилась все яснее и бодрее. Я стал думать, что дело, которое причиняет мне столько беспокойства, должно быть, какие-нибудь пустяки; что таким солидным людям, как мне, о подобных пустяках и думать стыдно. Я стал разбирать вышеприведенные догадки молвы, и мне стало совестно, что я мог хоть на минуту верить подобному вздору. Домой я приехал в совершенно спокойном и веселом расположении духа. Жена выбежала ко мне также вполне веселая и счастливая и, вытянувшись комически во фронт и приложив пальцы к своему чепчику, отрапортовала, что теперь в нашей квартире обстоит все благополучно, нет ни одной зловредной книги, ни одной компрометирующей карточки.

Но блаженство мое продолжалось недолго. Едва я вошел в мой кабинет, я увидел на столе целый пук «Московских Ведомостей». Я выписал их ныне очень поздно и не получал в течение более недели после нового года, и очень скучал за ними. «Московские Ведомости» составляют мое любимое чтение, потому что в них всегда есть нечто пряное, подзадоривающее, раздирающее. В случаях же, когда они захотят кому насолить, они делаются просто прелестны. Читая

их, иногда не веришь ни одному слову, которое написано, а между тем неприметно для себя самого увлекаешься, восторгаешься, чувствуешь, как пробивает в тебе шаг за шагом чувство кровожадной, татарской свирепости, которое мудрая политика московских князей вместе с монголами, соединенными усилиями, насаживала и воспитывала в русском народе, и которое, благодаря этим усилиям, так глубоко утвердилось в нем, что не заглохло до сих пор, несмотря на все гуманные помазания и врачевания последнего времени. Прочитывая подобную статью, находишь себя вдруг способным повесить весь мир ни за что, ни про что. Я с жадностью бросился на лежавшие предо мною «Московские Ведомости». Но прием пряностей на этот раз был так силен, что через полчаса меня била уже лихорадка.

Невероятные вещи! Все, что я знал доселе о нечаевском деле — все становилось вверх дном! Все мои самоиспытания и самообыскания не вели ни к чему. По уверению «Московских Ведомостей», виновны вовсе не те, которые виновны, а виновата на первом плане петербургская литература, вожаками которой в злоумышлениях представляются Шелгунов, Суворин [1] и Генкель. [2] Я читал и не верил глазам своим. Возможно ли это? Возможно ли, чтобы эти почтенные граждане были конспираторами?

Если бы г. Шелгунов, думал я, и захотел сделаться петербургским конспиратором, он не может; он давно уже живет вне Петербурга,

[1] Впоследствии — издатель «Нового Времени».
[2] Переводчик и издатель.

в изгнании. Суворин... но нет, кому же из читающих его фельетоны в «Петербургских Ведомостях» может придти на мысль заподозрить этого писателя в политических замыслах? — Наконец, не есть ли полнейший абсурд самая мысль о том, что в этих замыслах может принимать участие такой гражданин, как Генкель, вся деятельность которого есть неумолкающее свидетельство о его благонамеренности?

Так представлялось мне дело с одной стороны, и я, повидимому, вполне убеждался, что «Московские Ведомости» говорят вздор. Но немедленно ряд успокоительных мыслей вытеснялся рядом других, совершенно противоположного свойства. «Шелгунов не живет в Петербурге, думал я, но разве он не может приезжать сюда под чужими именами и видами и конспирировать? Разве у нас это так трудно? Разве не то же самое делал Нечаев? Суворин не может быть заподозрен в неблагонамеренности. Да так ли? Не он ли написал: *Всякие*, — сочинение, о котором г. прокурор судебной палаты Тизенгаузен, изучавший это сочинение, как он сам говорит, «с полным беспристрастием, требуемым правдою, во имя которой творится суд», выразился, что «оно, не представляя собой ничего полезного, может только вносить смуту в неопытные умы, возбуждая в них безотчетное раздражение против существующего порядка вещей и столь же безотчетное стремление к какому-то иному политическому и гражданскому строю». Не есть ли г. Суворин потаенный, хотя и прикинувшийся «невинностью», Ильменев? Наконец, и в самом Генкеле глаз наблюдатель-

ный не может ли усмотреть некоторого скептицизма относительно прав литературной собственности, если примет во внимание недавнее упорное отстаивание им своего права на статью Марка Вовчка без всякого законного на то акта и не взирая на протест последней? Кто может знать, не имеет ли он коммунистических воззрений вообще на собственность? А собственность составляет, как известно, одну из первых основ существующего порядка».

Эти мысли склоняли меня снова на сторону «Московских Ведомостей». Я вновь прочитывал их громовые статьи и думал, что все, что они говорят, возможно. Я соглашался даже с тем, что всякий литератор может быть заговорщиком, сам не зная и не подозревая того; он может быть кругом опутан интригою и мыслить под влиянием ее, самодовольно воображая при этом себе, что он мыслит вполне самостоятельно и независимо. Я начал сомневаться даже в самом себе. Я начал думать: действительно ли то, что я пишу, пишу по собственному убеждению? Не опутан ли я изменою, как и другие? Не заговорщик ли я?

Соглашаясь с этим, я неизбежно соглашался и с новою системою следствия, рекомендуемою «Московскими Ведомостями». По закону арестуют обыкновенно тех, против кого есть несомненные улики относительно участия в преступлении. «Московские Ведомости» держатся того мнения, что так ничего не разыщешь, поймаешь только мелкоту, а корни — главные виновники — останутся скрытыми. По их мнению, надобно брать не по несомненным уликам, и

даже не по уликам, а так просто по предположению или, точнее сказать, по вдохновению. Белоголовый пишет статью против Полунина, защищаемого советом московского университета,— очевидно, он агитатор, его надобно взять. Шелгунов, Суворин, Генкель осмелились не соглашаться с «Московскими Ведомостями» и даже непочтительно отозваться о их редакторе. А и «Московские Ведомости», и редактор их суть столпы отечества. Следовательно, Шелгунов, Суворин и Генкель хотят потрясти столпы отечества и даже, может быть, выковырнуть их. Не ясно ли, что они не только вредные агитаторы, но некоторым образом враги отечества? Но они, т. е. Шелгунов, Суворин и Генкель — только вожди. За ними стоят целые партии их единомышленников и пособников. Не очевидно ли, что для порядка было бы не худо и каждому из сих последних помочь в процессе самообыскания и вместе с тем поэкзаменовать каждого из них в некоторой особой исповеди по вопросам: «С кем вы знакомы?». «Кого вы из ваших знакомых больше любите и у кого чаще бывали?». «О чем вы между собою разговаривали?». «Каких вы держитесь убеждений относительно религии, образа правления и т. п.?».

В словах моих теперь проглядывает, как замечает, конечно, читатель, некоторым образом скептическое отношение к рекомендуемой «Московскими Ведомостями» системе следствия. Но когда я читал громоносные статьи «Московских Ведомостей» и находился под их влиянием, тогда было не то. Мне думалось, что иначе и быть не может и не должно быть; что так

именно и должно производиться следствие, как они рекомендуют, что надобно захватить и посадить в тюрьму всех, кто занимается литературой в Петербурге, кто сочувствует ей, кто читает ее.

Из этого убеждения я стал несколько выходить только тогда, когда озлобленная «Московскими Ведомостями» петербургская литература вооружилась на них почти поголовно. Поход предпринят был так удачно, так во-время и кстати, что увенчался неожиданной победой. «Московские Ведомости» смирились и раскаялись, но раскаялись так неопределенно и смутно, что трудно понять, в чем они раскаялись.

Вот почему я не могу не признаться, что победа над ними напоминает мне известную всем народную картину погребения *кота мышами*. Мыши вообразили себе, что кот умер, и высыпали из всех своих нор, чтобы праздновать свое торжество. Но кот не умер, а только притворился умершим, чтобы тем удобнее рассмотреть своих врагов и узнать их норы... Конечно, для мышей отдых и то, если кот на время только успокоился или, по крайней мере, явился приниженным, но отдых этот, как читатель сам поймет — недостаточно успокоительный. Правильно поставлено будет общество только тогда, когда в нем не будет возможности одним делаться котами, а другим — мышами...

А такая постановка общества зависит от перемены системы политического процесса.

Есть, впрочем, основание думать, что эта перемена уже начинается. По крайней мере, в нечаевском деле следствие производилось под

наблюдением прокурорского надзора обыкновенными судебными следователями; аресты, говорят, также производились с согласия прокурорского надзора. Наконец, назначен, согласно судебным уставам, сенатор кассационного департамента для ведения всего следственного процесса, как такого, который должен будет поступить на рассмотрение верховного суда. Для спокойствия общества более ничего и не нужно, кроме того, чтобы каждый политический процесс производился на точном основании судебных уставов. По крайней мере, люди невинные не будут трепетать вместе с виновными, а с людей слишком прозорливых, в роде, например, публицистов «Московских Ведомостей», снимется непосильное бремя отыскивания виноватых по градам и весям обширного нашего отечества. И наверное они сами почувствуют себя не в пример против прежнего легче...

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО» И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.

27-го августа окончилось так называемое «нечаевское дело», занимавшее внимание публики почти в продолжение двух месяцев. Под конец публика видимо охладела к этому делу, так что, войдя в одно из заседаний суда (речь шла о подсудимых 4-й категории), мы нашли уже самое ограниченное число посторонних слушателей. По-видимому, утомился и прокурорский надзор...

Толки, возбужденные этим делом в публике, по обыкновению разделялись на две категории. Одни ужасались, другие только удивлялись, но можно сказать утвердительно, что на сей раз, благодаря гласности судебных прений, ужасающиеся были в меньшинстве.

Главный результат процесса, по нашему мнению, выразился в том, что он дал случай нашей литературе высказать чувства, которые одушевляют ее.

Существовало мнение, что литературу нашу раздирают междоусобия, что деятели ее готовы грызться друг с другом даже из-за выеденного яйца. Теперь это мнение, по крайней мере, относительно вопросов существенных, оказывается положительно ложным. Какой, в самом деле, самый существенный в настоящую минуту вопрос

для России? — Это, несомненно, вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза; попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически; наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей (Сибири), и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений — все это возбуждает в публике толки и опасения. И вот литература наша, в качестве верного отголоска публики, и с своей стороны единодушно вооружается против грозящего зла; она понимает, что ей предстоит очень важная миссия, и смело становится на высоту своего призвания. «Московские Ведомости» называют замыслы подсудимых жульническими; «С.-Петербургские Ведомости» присвоивают им наименование безумных; «Голос» сравнивает наших заговорщиков с парижскими коммуналистами. «Вестник Европы» говорит с презрением о «глупых преступлениях» и о ничтожестве участников тайного общества. В виду общей опасности распри забыты; фельетонисты и составители leading'ов [1] взаимно подают друг другу руку, разумеется, удерживая за собой право немедленно расколоться, как только пойдет речь о вопросах не столь важных и непререкаемых, как настоящий. * Что означает

[1] Передовых статей.

* Даже и теперь раскол существовал, но он касался не существа вопроса, а лишь некоторых подробностей,

этот факт? — По нашему мнению, он означает, что литературное междоусобие, по поводу которого так скорбит публика, видя в нем признак слабости и неустойчивости русской литературы, есть междоусобие мнимое; что литературные наши органы, будучи совершенно согласны по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность, лишь по недоразумению разногласят относительно некоторых подробностей, которые даже и в нашей небогатой политическим интересом жизни имеют значение весьма второстепенное. И что, следовательно, скорбеть об этом разногласии и указывать на него, как на признак чего бы то ни было, нет ни малейшего основания.

Существовало еще и другое мнение: что русская литература не вполне и не вся благонадежна, что некоторые органы ее фрондируют и подкапываются. Мнение это было до такой степени распространено, что большинству публики казались совершенно естественными те меры строгости, которые по временам принимались для обуздания литературного фрондерства. Теперь журналистика наша смыла с себя и это позор-

имеющих значение второстепенное. Таковы, например, были разногласия по поводу речи, сказанной поверенным Спасовичем в защиту подсудимого Кузнецова, по поводу речи, обращенной председателем судебной палаты к оправданным подсудимым первой категории, и, наконец, по поводу способа обнародования протоколов судебных заседаний. Все эти подробности и возникшие из них пререкания мы сочли возможным выпустить в дальнейшем нашем изложении, оставив лишь то, что прямо касается до существа дела.

М. М.

ное клеймо, доказав свою благонадежность самым осязательным и непререкаемым образом. В виду единодушного, и притом совершенно свободного, взрыва негодования, последовавшего чуть не на другой день после первого заседания судебной палаты, представляется ли основание формализироваться сепаратными вспышками некоторых пламенных фельетонистов и репортеров по поводу некоторых несомненно важных, но все-таки второстепенных мероприятий, исход которых притом не только от них не зависит, но определен заранее, и притом бесповоротно, людьми вполне компетентными? Какой вред от того, что они предъявят миру свои соображения? И не полезнее ли, напротив, поощрять в них этот бескорыстный пламень, эту божию искру, дабы она никогда не угасала и, при случае, вспыхнула новым блеском, как например, это и случилось теперь, когда литература наша встала на высоту почти недосягаемую? Нам кажется, что ответ на все эти вопросы не может быть сомнителен. Да, мнение не только о радикальной, но и об относительной неблагонадежности того или другого органа русской литературы должно упраздниться навсегда, упраздниться без следа. Фрондерство, инсинуации, подземные интриги, одним словом, все эти нездоровые элементы, в которых обвиняла литературу публика и в которых она отчасти обвиняла сама себя — все это праздные слова, которые должны исчезнуть, как дым или как рой темных призраков перед светом литературного единодушия, заявившего себя так блестяще по поводу нечаевского дела.

В виду всего изложенного выше, мы возымели мысль соединить в одном месте все, что было сказано в значительнейших органах нашей литературы о заседаниях судебной палаты по первому русскому политическому процессу, производившемуся гласно. В этом намерении нас руководили два существенных соображения: во-первых, собранное в один общий фокус, отношение русской журналистики к упомянутому делу получит для читателя несравненно большую ясность, и, во-вторых, будущему историку русской общественности легче будет отыскивать материал для своих трудов в одном месте, нежели рыться в разрозненных нумерах журналов и газет.

Что касается до наших личных отношений к вопросу, о котором идет речь, то мы считаем долгом сказать по этому поводу следующее. Нам нередко ставили в вину наше молчание относительно текущих вопросов, которыми так изобилует наша общественная жизнь. Один талантливый фельетонист, успехам которого мы, впрочем, искренно радуемся, даже не без ядовитости назвал нас «братьями-молчальниками». Но позволяем себе думать, что почтенный зоил наш упустил из вида одно очень важное обстоятельство, которое, смеем надеяться, даже при всей его строгости к нам, до некоторой степени смягчит нашу вину в его глазах. «Отечественные Записки» — издание ежемесячное, и потому не могут относиться к текущим вопросам с тем лихорадочным вниманием, с которым относятся к ним ежедневные газеты. Притом, чаще всего случается, что самое содержание этих вопросов исчерпывается столь скоро и находит себе разре-

шение столь независимое от всяких литературных обсуждений, что последние нередко оказываются просто-напросто «металлом звенящим». Мы, конечно, очень рады были бы поместить на страницах своих одну из тех «сотканных из пламени и света» статей, которые от времени до времени появляются на страницах «Московских Ведомостей», но что же нам делать, коли эти статьи всегда оказываются уж напечатанными, прежде нежели мы успеем сделать соответствующее по сему предмету распоряжение? Подражать им — напрасный труд, ибо известно, что в статьях такого рода всего важнее оригинальность, подражания же всегда оказываются вялыми и безжизненными. Стало быть, остается только читать и поучаться. Вот почему и в настоящем случае мы ограничиваемся только простым заявлением о единодушии нашей литературы, и, разумеется, посильною нашею похвалою этому единодушию. Пусть укажут нам, что могли бы мы сказать о нечаевском процессе, что не было уже высказано в самых ясных и категорических выражениях всеми сколько-нибудь значительными органами русской литературы?

Обращаясь теперь к предпринятым извлечениям из русских газет и журналов, считаем долгом предпослать им следующие соображения:

1) Ранее всех (на другой день открытия заседаний) отозвались о процессе «Спб. Ведомости».

2) Чаще всех возвращались к процессу те же «Спб. Вед.» и «Голос» (первые — 5, второй — 6 раз).

3) Реже всех говорили о процессе «Биржевые Ведомости» (всего 1 раз).

4) Полновеснее всех органов отнеслись к процессу «Московские Ведомости». Они напечатали только две статьи; но в этих двух статьях выяснили дело вполне (хотя и с некоторою излишнею строгостью), заявив, что в подобных делах суд обязан произнести суждение не только о поступках и действиях обвиненных, но и о самом образе мыслей их.

Затем, печатаем и самые извлечения:

А) «Московские Ведомости».

№ 161-й. «Наши судебные уставы ни в чем существенно не уступают соответственным учреждениям в других странах, а наша судебная практика цивилизованностью приемов даже превзошла порядки, принятые во всех цивилизованных странах. У нас подсудимых, уличенных и сознавшихся в убийстве, не просто *вводят*, но *приглашают* в судебную залу. Английский или французский судья просто скажет: «подсудимый, отвечайте». У нас скажут: «господин такой-то, не угодно ли вам разъяснить...?» или: «господин подсудимый! член суда такой-то (следует звание, титул и фамилия) желает спросить вас...» Председатель суда в других странах не скажет ничего подобного; таких утонченных оборотов речи, таких взаимных представлений, напоминающих салон, где собрались люди для приятной беседы, не допускается в судебной зале других стран, где нравы грубее. Там судья, если сочтет должным остановить подсудимого, сделает это просто и скажет: «подсудимый, слова ваши

неуместны и дерзки». Но ему не придет в голову сказать: «подсудимый, ваши слова, *смею сказать*, дерзки». Везде подобные оговорки показались бы иронией, слишком жестокою в виду людей, над которыми висит обнаженный меч правосудия. А у нас это не ирония, не жестокость; у нас это цивилизация.

«По политическому делу, которое только что окончилось в с.-петербургской судебной палате, четверо подсудимых приговорены к каторжной работе, трое — к тюремному заключению, четверо освобождены. Отпуская этих последних, с которыми суд достаточно ознакомился, английский судья сказал бы: «Ступайте, вы свободны; ваше действие не подходит под букву закона, на который сослалось обвинение. Но помните, вы были в опасном соседстве с преступлением...». Быть может, он не сказал бы ничего; но он наверное не сказал бы им с некоторою восторженностью: «Подсудимые! ваше место не на этой позорной скамье, ваше место в публике, ваше место среди всех нас». Если бы он и счел за нужное произнести что-нибудь в этом роде, то все-таки он сделал бы это как-нибудь иначе и избежал бы эмфатического [1] оборота речи, коим гг. Орлов, Волховской и другие как-бы приглашались со скамьи подсудимых пересесть прямо в сонм судей. В обстоятельствах дела не усматривается поводов к подобному заявлению, и оно может быть объяснено только, как дань цивилизации, в настоящем случае, смеем думать, немножко излишняя.

[1] Напыщенного.

«Первый процесс кончился. Виновные подверглись заслуженной каре; невиновные в деле, которое было предметом преследования, оправданы. Мы не считаем себя вправе обсуждать приговор по отношению к лицам; но мы полагаем, что, в качестве публики, мы не только имеем право, но и обязаны воспользоваться уроками, которые в таком обилии предлагаются делом, войти в некоторые возбужденные им вопросы, а главное, принять на себя защиту одного лица, которое может считать себя без вины оскорбленным. Это лицо есть здравый смысл, который не раз подвергался нападениям во время судебных прений. Не все гг. защитники ограничивались только защитой подсудимых, но многие из них считали нужным пускаться в общие оценки и излагать свои философские воззрения. При этих-то эволюциях здравому смыслу были наносимы оскорбления, и никто не вступился за него. Председатель палаты благодушно выслушал подсудимых и защитников, не прервав их никаким замечанием, когда они возносились в область идей; но он уволил прокурора от обязанности что-нибудь сказать по поводу общих воззрений, высказанных господами подсудимыми и защитниками. Публика осталась в некотором недоумении; на преступников обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой-то статье уголовного законодательства; но образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся порицанию, но даже прославлен. Нигилистов ссылают на каторгу, нигилистов сажают в тюрьму, а нигилизму пред лицом суда воздан некоторый почет.

«Если в делах человеческих, даже при наилучших условиях, ничто не обходится без уклонений, и если адвокат пред судом не всегда в состоянии соблюсти святую границу между правдой и неправдой, если слово его не может иногда не уклониться в пылу прений, из суетного ли желания одержать верх хотя бы над истиной, или из побуждения в источнике своем почтенного, из жалости к несчастному, вверившему себя его защите, — если он решается пожертвовать правдой, — то пусть же это будет в пользу преступника, а не преступления. Если уж так пришлось, выгораживайте человека и доказывайте, насколько дозволит вам совесть, что он непричастен делу или совершил его не в том смысле, как утверждается обвинением, — но нельзя дурное называть хорошим, нельзя в самом суде колебать закон, каков бы он ни был. Если вам не нравится закон, протестуйте против него в другом месте, как знаете; но не смейте делать этого в суде, который держится законом и не имеет смысла вне закона. Если ничто другое не удерживает вас, то есть правила простого приличия. Вы хотите же казаться цивилизованным человеком, вы умеете же разбирать, когда надеть фрак и когда сюртук и не ездите с визитом без галстуха; постарайтесь, по крайней мере, быть приличными. А если говорун ничем удержать себя не может, то вы, господин судья, смеем сказать, смеете остановить его на слове, которое владеет им более, чем он словом. Нет надобности плодить словопрения, неуместные пред зерцалом суда: достаточно замечания, сказанного с достоинством и авторитетом, чтобы произвести должное впечатление,

«Но возвратимся к процессу, который происходил в с.-петербургской судебной палате на виду всей страны. Защитники говорили много, но не догадались бросить мужественное слово обличения в лицо тому духу лжи, который погубил их клиентов. Зато некоторые нашли возможным пококетничать с средою, откуда эти несчастные вышли. Правда, один отозвался презрительно и брезгливо о наших революционных элементах, о нашем нигилизме; но он говорил, как чужой, и находил, что в русском народе эти явления как нельзя более естественны и уместны.

«Если бы господа ораторы с.-петербургской судебной палаты захотели взглянуть прямо в глаза обману, который разыгрывается над гнилою и расслабленною частью нашего общества, если б они воспользовались безобразиями, раскрытыми делом, которое находилось на рассмотрении суда, и ударили бы в самый корень этой, так-называемой русской революции, положение подсудимых, мы полагаем, выиграло бы от того. Чем решительнее было бы слово обличения против сущности зла, тем действеннее и сочувственнее звучало бы слово их в пользу личности обвиненных. Весь процесс принял бы иной тон. С преступниками легче примирилась бы общественная совесть, а главное — в их собственную душу, быть может, пало бы семя благодатного обновления. Это смутило бы дурную среду, из которой они вышли; это подействовало бы освежительно на все русское общество.

«По окончании судебных прений дано было слово подсудимым. И вот один рявкнул стихами, а другой воспользовался случаем порисоваться перед

судьями. Этот последний — молодой человек, двадцати-двух лет, более всех преступный, но и более прочих отличающийся лоском мнимого образования. При других условиях развития, быть может, из него и действительно вышла бы хорошая русская сила. Обман изловил его на самолюбии и пленил его воображение мыслию стать героем революции. Судебные прения не смягчили его. Он только крепче завернулся в свой революционный плащ. Вместо того, чтобы раскрыть свою душу, он пустился в холодную и отвлеченную контроверсу [1] о значении пролитой крови в революционном деле. Эти люди убили своего товарища, сами не зная для чего. Кто-то во время прений сказал, что заговорщики, вероятно, думали, что пролитая кровь плотнее соединит их. И вот несчастный молодой человек, как опытный деятель по части революции, счел долгом объяснить в изысканных фразах ошибочность мысли о цементирующей силе пролитой крови, причем сослался на Брута и Кассия, между которыми в роковую минуту стала кровавая тень Цезаря; но вслед затем, сам не замечая скачка своей мысли, заявил, что убийство Иванова было совершено в тех видах, чтобы революционное общество стало единодушнее. Как все это было нужно знать судьям в грозную минуту приговора!

«А знаете, кто бы ни был этот Нечаев и как бы ни был он лжив, все-таки в некотором отношении он искреннее и правдивее понимает свое дело, чем другие, которые тому же делу служат и о нем рассуждают. Другие обращаются к ве-

[1] Спор.

ликодушным инстинктам молодости, толкуют о благе народном, о благородстве, о честности. Но гг. Бакунин и Нечаев, эти enfants terribles русской революции, говорят и поступают проще. Вы, господа, снимаете шляпу перед этою русской революцией; вы, не приученные жить своим умом и путаясь в рутине чужих понятий, воображаете, что у вас действительно есть какая-то крайняя партия прогресса, с которою следует считаться, и что русский революционер есть либерал и прогрессист, стремящийся ко благу, но слишком разбежавшийся и сгоряча перескочивший через баррьер законности. В истории всех народов есть страницы, где повествуется о борьбе подавленного права с торжествующим фактом, и вот вы думаете и учите других так думать, что так-называемая русская революционная партия хранит в себе идеалы будущего. Вы находите, что общество должно оставаться по крайней мере нейтральным в этой борьбе между существующим порядком и идеею, которую вы навязываете молодому, как вы обыкновенно выражаетесь, поколению, и всякий протест против этой крайней партии прогресса клеймите позором, как подлый донос. Но вот катехизис русского революционера. Он был прочтен на суде. Зачем спорить? Послушаем, как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания, он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей. Что обыкновенно не досказывается, рас-

плываясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдно-точному выражению; что другими не доделывается, то деятелями, в роде Нечаева, совершается с виртуозною отчетливостью. «Нечаев подлец, но я за это его уважаю», говорил один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не очутились ли вы в ужасной теснине, между умопомешательством и мошенничеством?

«Но для чего нужна такого рода организация? Цель, говорят, оправдывает средства. Какая же тут цель? Катехизис объясняет: разрушение. Разрушение чего? Всего. Но для чего нужно это всеобщее разрушение? Для разрушения. Настоящий революционер должен отложить в сторону все глупости, которыми тешатся неопытные новички. И филантропические грезы, и социальные теории, и народное благо, и народное образование, и наука, — все это рекомендуется только как средство обмана, как орудие разрушения, которое одно остается само себе целью.

«Революционный катехизис не оставляет ничего в туманной неопределенности. Он правдив и точен до конца. С кем в родстве эта революционная партия, руководимая людьми без правил и чести, не соблюдающими никакого обязательства даже между собой, имеющая целью разрушение, и только разрушение? Кто в русском народе ей пособники и союзники? Разбойничий люд, т. е. грабители и *жулики*, говоря собственным наречием этих досточтимых деятелей. Вот, говорит катехизис, истинные русские революционеры.

«Итак, вот куда по прямой линии вливается этот прогресс, у истока которого стоят наши цивилизованные либералы! Вот фазы этого прогресса: расслабленная жалким полуобразованием и внутренно варварская часть нашего общества с чиновничьим либерализмом; затем отъявленный нигилизм с его практическим и теоретическим развратом, который в сущности то же, что и программа Нечаева; затем формальная революционная организация, созидаемая людьми, свободными от предрассудков всякой нравственности и чести; наконец, лихой разбойничий люд, который обходится без всяких теорий. В самом деле, какая же существенная разница между революционером как Нечаев и тем, что называется *жуликом?* Впрочем, разница есть: *жулики* все-таки в своей среде соблюдают некоторые правила. *Жулики* лучше и честнее вожаков нашего нигилизма; они, по крайней мере, не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разврата незрелых умов.

«Слава богу, в нашем народе не оказывается иных революционных элементов, кроме людей, которые незаметными переходами приближаются либо к дому сумасшедших, либо к притону мошенников!

«И вот этим-то людям прямо в руки отдаете вы нашу бедную учащуюся молодежь!».

№ 162-й. «На-днях в с.-петербургской судебной палате начался процесс второй серии подсудимых по нечаевскому делу. Главным образом это слушатели петровской земледельческой академии, да несколько студентов московского университета четвертого курса медицинского факуль-

тета, исключенных осенью 1869 года за сопротивление властям. Из обвинительного акта мы видим, что петровская академия была самою податливою для Нечаева средою. Туда обратился он непосредственно; там учредил он свою главную квартиру, там он сформировал свой штаб и оттуда раскидывал мрежи для уловления университетских студентов. Подсудимые из числа слушателей петровской академии почти все сознались в принадлежности к организации. Все они были приписаны к каким-либо кружкам. Что касается до студентов университета, то действие Нечаева, как видно из обвинительного акта, коснулось лишь нескольких исключенных студентов, и главным образом уроженцев Востока, кавказских воспитанников. Считаем нелишним припомнить обстоятельства дела, вследствие которого эти молодые люди были исключены из университета. По случаю отъезда за границу клинического преподавателя, факультет был в затруднении, кому временно передать его обязанности. Одни отказывались по болезни, другие по другим причинам, и лишь вследствие особенных настояний факультета принял на себя эту должность декан, который сам был прежде клиническим преподавателем. В «Правительственном Вестнике» (№ 262-й 1869 года), было напечатано официальное изложение этого дела. Там приведены, между прочим, следующие слова, сказанные профессором Варвинским в заседании университетского совета 25-го октября того же года: «Члены факультета, предложив профессору Полунину клиническую кафедру на время, были глубоко убеждены, что Алексей Иванович, если

только возьмет на себя этот труд, принесет огромную пользу учащимся и своим многосторонним медицинским образованием, и своими глубокими сведениями по предметам, входящим так тесно в состав клинического учения внутренних болезней, и по своей неутомимой деятельности. Таковы были убеждения членов факультета, таковыми они остаются и теперь, как показало последнее заседание факультета, в котором была речь о грустных, совершенно неожиданных происшествиях в клинике факультетской».

«Никакого столкновения со студентами у профессора Полунина не было. Поводом к неявке их на его лекцию было распоряжение, чтоб одна больная была исследована в их отсутствии, что в клинике нередко бывает, особенно в женском отделении, по причинам, которые легко понять. Студентов пригласили ожидать профессора на мужской половине, но они отказались, не вышедши, однако ж, из клиники. Профессорская лекция не состоялась. Это было 17-го октября. Ректор, не принимая принудительных мер, поручил помощникам проректора разъяснить студентам частным образом предосудительность и незаконность их поступка и возвратить их, посредством увещаний, к исполнению их обязанностей. Но все увещания помощников проректора, некоторых профессоров и самого профессора Полунина оказались безуспешны. Студенты продолжали упорствовать и стоять на своем, что не пойдут на лекцию к профессору Полунину, хотя на прочие лекции ходили, и хотя в разнообразных ответах на эти увещания они не могли дать твердого и определительного отчета, по-

чему они так поступают. Большею частью смысл этих уклончивых объяснений состоял в часто повторяемом заявлении, что они уважают профессора Полунина и ценят его достоинства, но этим предметом будут заниматься под руководством другого профессора. Когда же им объявили, что они не будут допущены к переводному испытанию на следующий курс, то они отозвались, что они уже решились лучше потерять год, чем слушать профессора Полунина. В таких крайних, безосновательных заявлениях сильно выказывалось присутствие побуждений, посторонних для интересов науки.

«20-го октября правление университета донесло о происшедшем университетскому совету, а между тем продолжались увещания, чтобы студенты одумались, что в противном случае они потеряют целый год и могут подвергнуться еще худшим последствиям. Ректор, проректор, все его помощники, многие профессора старались это разъяснить студентам. Надобно было думать, что студенты неправильно смотрят на дело, что они надеются на безнаказанность. Из официального изложения видно, что университетский совет, собравшись 25-го октября, сделал все возможное, дабы рассеять неосновательные надежды. Единогласно было постановлено, что если студенты не начнут посещать лекции профессора Полунина в продолжение ближайших трех дней, то четвертый курс медицинского факультета будет закрыт 29-го октября. Это постановление было представлено на утверждение попечителя, на другой день (в воскресенье) утверждено им, а на третий день, 27-го октября утром, объяв-

лено студентам. Студентам было объяснено, что университет дошел в снисходительности к ним до последней позволительной меры, что они подлежали, на основании действующих правил, удалению или исключению из университета, но что мера наказания, в уважение к ходатайству профессора Полунина, смягчается и им объявляется лишь выговор со внесением в штрафную книгу. Таким образом, этим молодым людям «была еще раз предоставлена возможность возвратиться к порядку и исполнению долга», подвергшись легкому наказанию, но, с другой стороны, агитировавшие должны были видеть, что постановление совета отменено быть не может, что в случае дальнейшего упорства они подводят всех своих товарищей под большую неприятность, а получающих стипендии лишают куска хлеба. Возвращение к порядку было всячески облегчено; упорству противопоставлена мера бесповоротная. Всякому студенту должно было сделаться совершенно ясным положение дела. Дальнейшая агитация теряла смысл. Но тем не менее 29-го октября 18 студентов (в курсе, если не ошибаемся, было около восьмидесяти человек) объяснили, что не пойдут на лекции профессора Полунина. Этим они сами себя исключили из университета. Собравшемуся в тот день университетскому совету ничего более не оставалось, как постановить в этом смысле решение.

. . . .

«Мы ставим факт, но не объясняем его; мы не говорим, вследствие какого влияния началась эта история и почему она приняла такой ожесточенный характер. Быть может, поводом к тому

послужила какая-нибудь домашняя интрига;[1] может быть, кто-нибудь захотел сделать личную неприятность профессору и подбил несколько студентов на демонстрацию; но, очевидно, что движение, ожесточившееся без всякой причины, поддерживалось и усиливалось посторонними влияниями, для большей части студентов, конечно, неведомыми. Упорство молодых людей не имело смысла, но оно должно было иметь какую-нибудь причину, если не в университете, то вне его».

Б) «С.-Петербургские Ведомости».

№ 180-й. «С сегодняшнего дня мы начинаем помещать в отделе «Судебной Хроники» отчет о политическом деле, рассматривающемся в спб. судебной палате. Едва ли что может быть поучительнее этого печального процесса, составляющего такое одинокое, ненормальное явление в нашей общественной среде. С поразительною наглядностью обнаруживает он, как жалки, как безумны попытки ничтожнейшего меньшинства людей, которые, отрешась от всякой действитель-

[1] Очень жаль, что выражение «домашняя интрига» недостаточно разъяснено. Ежели это интрига, как можно предполагать по слову «домашняя», со стороны преподавателей того же университета, то за что ж пострадали молодые люди? Ведь они следовали указанию своих же начальников, только другой партии, нежели г. Полунин? Не последуй они этим указаниям, кто знает, не подверглись ли бы они преследованию другой стороны? Во всяком случае, это факт печальный: преподаватели враждуют, раскалываются между собой, а студенты несут на себе последствия этого раскола.

М. М.

ности, думают, что можно мгновенно изменить, путем насилия и следуя лишь созданиям воображения своего, то, что является результатом исторической жизни целого народа. Политические процессы на Западе имеют большею частью глубокое, реальное значение. Там нередко подсудимыми бывают люди, олицетворяющие собою известные требования действительной жизни, — такие люди, за которыми стоят серьезные партии и многочисленные приверженцы. Подсудимых в настоящем деле можно назвать представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии, которую не успели обуздать ни серьезное образование, ни знание жизни. При взгляде на многих из них невольно приходит на мысль, что место им было бы в школе, за книгою, а не на скамье подсудимых».

№ 190. (Фельетон). «В то время, когда разбирается, так-называемое, политическое дело, когда все предаются чтению его с большим или меньшим усердием, обозревателю ежедневной жизни тоже необходимо говорить о нем; но суд еще не произнес своего приговора, и всякое мнение о лицах, сидящих еще на скамье подсудимых, было бы неуместно. Но есть одно лицо, не сидящее на этой скамье, хотя тут принадлежит ему первое место, и об этом лице не мешает сказать несколько слов, в виду тех мнений, которые высказываются о нем подсудимыми и публикою, читающей газеты. Большинство подсудимых говорят о нем, как о человеке с необыкновеннной волей, с непреодолимою энергией, всепобеждающею логикой и даже с громадными знаниями. Один из подсудимых в особенности не щадит

слова «громадный» и прилагает его постоянно к существительным без особой разборчивости. Мне кажется, что воля, энергия и логика измеряются волей, энергией и логикой тех, на которых действовал Нечаев, и воля, энергия и логика сего последнего постольку велики, поскольку велики воля, энергия и логика увлеченных им. Кроме того, энергия может быть весьма одностороння и вовсе не рекомендовать с особенно хорошей стороны вообще интеллектуальных способностей. Сыщик может быть человеком громадной энергии, но из этого не следует, что у него большой ум и большое развитие.

«Мне кажется, что Нечаев обладает именно энергией сыщика, а умственное его развитие и способности подлежат сильному сомнению, ибо прокламации его — просто глупы, революционная логика — списана с иностранных книжек и нимало неприложима к нашей почве; приемы заговорщика—глупы тоже в значительной степени, ибо они — бумажные приемы, основанные на бланках и вообще на поличном. Вспомните, как поляки организовали свои тайные общества, перечитайте газетные статьи 1863 — 64 гг., в которых раскрыта была польская организация, сравните ее с нечаевской — и вы тотчас увидите, что это — дюжинный человек, но обладающий дерзкой смелостью.

«Внимательно прочитывая этот подробный, даже чересчур подробный, утомляющий незначащими вопросами и ответами, процесс, приходишь к тому убеждению, что Нечаев—лицо настолько же замечательное, насколько замечателен, например, Иван Александрович Хлестаков, с ко-

торым он имеет великое сходство. Это Хлестаков-агитатор, Хлестаков, сознательно бросившийся в обман и увлекшийся своей ролью, подобно бессмертному Ивану Александровичу. Сын полотера графа Шереметьева, сделавшийся учителем закона божия и попавший на студенческие сходки, он быстро увлекся этим шумным вопросом и повторял, что «хорошо бы сделать революцию», хорошо бы «это движение обратить в политическое дело».

«Как это сделать, можно ли это сделать? Этим он не задавался. Ему просто хотелось это сделать, как Хлестакову хотелось хорошо пообедать. Когда хозяин трактира не давал ему есть, он злился и на хозяина трактира, и на все человечество. Нечаев злился на русское общество, что оно не хочет сделать революцию, и сердито ругал его за то. В своем легкомыслии и неразвитости он полагал, что революцию сделать немудрено, и что если Россия не делает ее, то не делает по глупости. Он, как все ограниченные люди, воображал, что составляет нечто выдающееся и предназначен к высшей доле. На самом деле общество во сто раз его умнее и развитее. Г. Прыжов говорил, что Нечаев начал учиться 16-ти лет, а 19-ти лет бежал уж за границу — этим г. Прыжов хотел указать на быстроту развития этого человека. Г. прокурор, к сожалению, повторил в своей речи это показание, не имеющее никакой цены в виду показания г-жи Нечаевой, которой, как сестре, лучше известны лета брата ее. Она говорила на суде, что брату ее в 1869 году, когда он бежал за границу, было 23 года; стало быть, если он и начал учиться,

т. е. читать более или менее серьезные книги (грамоте он научился ребенком), в 16 лет, то перед ним было семь лет времени, в которое легко нахвататься разных вершков и выучить наизусть даже некоторые страницы Канта.

«Он действительно цитировал наизусть страницы из ученых сочинений — прием совершеннейшего Хлестакова, который стремился блеском наверстать отсутствие знаний. При этом и хлестаковская предусмотрительность: накуралесив он приказывает Осипу поскорей укладываться. Нечаев тоже уложился, когда его призвали в полицию и сделали легкую нотацию. Это так его встревожило, что он вдруг исчез из Петербурга, сыграв, однако, перед отъездом роль жертвы, влекомой на заклание. Отсюда начинается ряд обманов, сцепление самой невероятной лжи, которой могли верить только простодушные. Хлестаков, знакомый с посланниками, Хлестаков, которому караул выбегает отдавать честь, Хлестаков, написавший всю русскую литературу — это прототип Нечаева, это великий образец, который Нечаев копировал с замечательным постоянством. Не зная французского языка, он, однако, производит стачку между бельгийскими рабочими, поступает в международное общество, где немедленно начинает играть роль, пишет прокламации, выдает себя Бакунину и другим эмигрантам за главного деятеля в студенческой истории и, конечно, уверяет их, что в России существует огромное революционное общество. С эмигрантами он ведет себя так же, как и в Москве, рассказывая им целую сказку о том, как он был арестован, как его мучили и как он бежал от

своих палачей. На самом деле он никогда не был арестован, ни одного часу не сидел в Петропавловской крепости и бежал после первой угрозы, которую изрекла ему петербургская полиция. Бакунин треплет его по плечу и говорит: «Вот какие у нас люди есть»; Огарев пишет ему стихотворение, в котором изображает мнимые его страдания и даже мнимую смерть «в снежных каторгах Сибири». Вообразите себе эту потешную сцену, этого поэта, который слагает рифмы на тему из «не любо — не слушай, лгать не мешай!» Вообразите себе еще Огарева, Бакунина и Нечаева, составляющих заговор с надежным человеком, присланным в Женеву киевской администрацией (см. заявление одного из защитников в заседании 8-го июля). Этот посланный, очевидно, хорошо исполнил свою роль, для чего, впрочем, и не требуется никаких умений. Воображаю, как он хохотал, везя с собой пуки прокламаций, и какими мальчишками казались ему эти дальновидные устроители земли русской, так нехитро одураченные!..

«С стихами же и прокламациями является и Нечаев в Москву, является «инкогнито» — «проклятое инкогнито!» как восклицает городничий — в качестве «директора от комитета», и продолжает одиссею лжи. Стихотворение, написанное ему Огаревым, должно бы, повидимому, произвести хохот между слушателями, ибо герой, погибший «в снежных каторгах Сибири», был налицо; но, к удивлению, оно служит ему рекомендацией, и он сам сует его каждому: «Вот, мол, как обо мне пишут». Опять полнейшая хлестаковщина, приправленная рекламою плохого фиг-

ляра, который носится с газетным отзывом о нем, как с писаною торбой. Ума тут никакого я не вижу, но пошлости вижу много. Но, видно, Нечаев знал, с кем имеет дело. «Проклятое инкогнито» вывозило и нового Ивана Александровича. Малый сам по себе, он казался великим в ореоле своего самозванства. Как турецкий посланник в рассказе Хлестакова действует на простодушных обитателей мирного уездного городка, так Бакунин с Огаревым, в рассказе Нечаева, действуют на пламенных юношей. Бакунин потрепал по плечу Нечаева, Огарев написал ему стихи! Великий Нечаев! И вот, чем больше сочиняет он, тем больше ему верят, чем самоувереннее рассказывает он о мнимых своих похождениях, о мнимой силе своей, тем больше прибирает к рукам своих поклонников. Все, что ни скажет он, — свято, что ни прикажет — исполняется. Он заводит целую канцелярию, и все эти заговорщики пишут походя, пишут без устали, точно желают оставить как можно больше поличного. Даже своим разговорам протоколы ведут и все это так усердно, что просуществуй это общество год, оно должно было бы нанять целую квартиру для архива. Если все это умно, то ум — ледащая вещь»...

№ 194-й. «Петербургская судебная палата произнесла приговор свой относительно первой категории подсудимых по «нечаевскому делу», состоявшей из одиннадцати лиц. Палата не признала никого из них виновным в составлении заговора, составленного с целью ниспровержения существующего порядка управления в России (так было озаглавлено дело), а приговорила пя-

терых к наказанию за устройство тайного общества, преследовавшего ту же цель. Заговор влечет за собой, как известно, более строгое наказание, чем тайное общество. Лица, участвовавшие, кроме того, в убийстве Иванова, приговорены к каторжным работам в размере, приближающемся к средней мере этого наказания. Подсудимые Дементьева и Ткачев признаны виновными в преступлении, не имеющем ничего общего с действиями остальных лиц, именно в том, что они распространяли по поводу студенческих волнений воззвание, клонящееся к возбуждению неуважения и недоверия к распоряжениям правительственных установлений. Защита признавала также, что они только в этом и виновны. Ткачев, Флоринский и Дементьева будут, вероятно, освобождены из-под стражи до вступления приговора в окончательную силу, так как высшая мера пресечения способов уклоняться от суда лиц, приговоренных к тюрьме — отдача на поруки. Четверо из обвиняемых вышли свободными из зала суда. Приговоры относительно Успенского и Прыжова представляются на высочайшее усмотрение, так как закон этого требует по всем делам, где дворяне и чиновники приговариваются к лишению прав состояния.

«Председатель палаты, освобождая оправданных, обратился к ним с несколькими словами, сказанными, как видно, от сердца. Слова эти могут служить ответом тем людям, которые, стараясь с особым злорадством представлять всегда в дурном свете все, что делается в нашем обществе, утверждают, что, несмотря на оправдание судом, лицо, обвинявшееся в политическом преступлении,

не освобождается от других, невыгодных для него последствий, что на такое лицо ложится навсегда какое-то клеймо, что оно будет признаваться в течение всей своей жизни «неблагонадежным». Нет ни малейшего сомнения, что такие заявления ни на чем не основаны. [1] Приговоры наших судов пользуются слишком большим нравственным авторитетом, чувство законности слишком проникло в разные сферы нашего общества для того, чтоб общество не присоединилось вполне к мысли, которая выражается в словах, сказанных председателем судебной палаты».

№ 195-й (Фельетон). «Речи адвокатов в том несчастном деле, первая серия которого только что кончилась, в течение целой недели служили обильною темой для разговоров. Подсудимые не только отошли на второй план, но их как-будто не существовало. «Глубокие общественные вопросы» — беру выражение г. Арсеньева — вот что занимало читателей. Легковесность, призрачность самой этой «политической» затеи, исключая убийства, была уже сознана прежде, выяснилась для публики из судебного следствия и даже из речи г. прокурора. Но то, что будет сказано «по поводу» этого дела — вот что интересно, что поучительно...» [2]

№ 216-й. «Когда в какой-либо стране вводятся учреждения, составляющие шаг вперед на

[1] Конечно, нельзя сомневаться, коль скоро «С.-Петербургские Ведомости» удостоверяют в том.

М. М.

[2] Затем следуют подробные характеристики защитников, которые к предмету нашей статьи не относятся.

М. М.

пути цивилизации, но расходящиеся с тем, что имело прежде право гражданства в этой стране; когда в ней совершаются явления новые, идущие в разрез с теми представлениями, которые, под влиянием времени и разных застарелых привычек, сложились в умах значительного числа людей — тогда эти явления и учреждения, хотя и вызванные законами общественного развития, непременно возбуждают протесты, нарекания, жалобы в некоторых частях общества, переживающего реформы. Всегда находятся люди, которые, прикрываясь всевозможными благонамеренными стремлениями, говоря с пафосом, вызываемым будто бы опасностью, грозящей общественному порядку от вредных нововведений, стараются помешать успеху нового дела, вселить недоверие к нему, испортить его. Подобное явление, к сожалению, почти неизбежно.

«Когда вводились в России новые судебные учреждения, то раздались голоса, вопившие, что наше общество находится в страшной опасности, что противообщественным элементам открыт широкий простор, что присяжные и адвокаты, что нестесняемые приказаниями начальства судьи поведут нас прямо в пропасть, откуда мы не выберемся, что исчезнут чинопочитание и уважение к властям, что «мужику говорят вы», что чиновных людей заставляют стоять во время объяснений их с судом, что каких-то нигилистов выслушивают...

«Теперь, когда рассматривается первый политический процесс в России при свете гласности, с надлежащими гарантиями правого суда — теперь повторяется явление, весьма сходное с тем, о котором мы упомянули выше, хотя и в более

слабой степени. Есть люди, которым кажется, что такое нововведение составляет будто бы нечто крайне ненормальное и вредное для нашего общества. Суд над государственным преступником, как им представлялось, всегда должен быть окружен величайщей таинственностью, всеми страхами фемгерихтов. [1] А тут гласность, свет, свободная речь, приговор, постановленный по совести! Чтоб к чему-нибудь придраться, они заявляют, что прокурор слаб, что судьи слабы, что защита пропагандирует революцию, что печать разносит эту пропаганду во все концы России, что подсудимые нисколько не поражены торжественностью суда и не выражают никакого раскаяния. Прокурору следовало бы, по их мнению, громить не только преступные действия, совершенные подсудимыми и составляющие предмет дела, но и стараться залезть к ним в душу, разоблачить все тайные мысли их, глумиться над ложными убеждениями, которых они придерживаются. Судьи не должны оправдывать даже и невиновных, так как этим подрывается авторитет следствия и так как суд в политическом процессе будто бы не должен заботиться о произнесении приговора по закону и совести. Защитникам подобало бы обращаться не к суду, а преимущественно к своим клиентам, и поражать в лице их тот дух лжи, который они собой представляют. Словом, все судебное разбирательство должно бы обратиться в так-называемый „procès de tendance", [2] где люди пре-

[1] Тайных судилищ.

[2] Преследование за политические убеждения. Этот термин получил распространение во Франции при Наполеоне III.

следовались бы не только за то, что они совершили то или другое преступное деяние, но за то, что они так или иначе думают, где суд по возможности придерживался бы добрых, старых приемов.

«Едва ли следует удивляться тому, что суждения в роде тех, которые мы изложили выше, высказываются кой-где в обществе. Общественные учреждения, политические нравы, понятия о гражданской свободе, которые уже давно установились на Западе, или не привились к нам, или слишком новы у нас. Мы, например, еще смутно понимаем, что свобода мысли и слова — это необходимое условие общественного развития — заключает в себе самое сильное противоядие против всяких заблуждений, увлечений и безобразий, что независимое судебное сословие служит гораздо лучше делу общественного порядка, чем всякое другое. Поэтому возгласы против суда, приведенные нами здесь, составляют явление почти неизбежное, объясняющееся той степенью развития, на которой еще находится некоторая часть нашего общества. Они, в сущности, и не удивляют нас. Но мы не можем относиться равнодушно к другому явлению — когда наша печать, в лице крупных органов своих, начинает оказывать услуги разным реакционерным побуждениям, когда она старается возбудить недоверие в обществе к лучшим из наших учреждений. При всем нашем знакомстве с образом мыслей и приемами «Московских Ведомостей», статьи их о разбирательстве по нечаевскому делу (№ 161-й) повергли нас в некоторое изумление. Мы думали, что редакция этой газеты посове-

стится, по крайней мере, посягать на наш суд в ту минуту, когда на долю его выпала такая трудная и, если можно так выразиться, щекотливая задача, как первое применение гласного разбирательства по делу о государственном преступлении в России.

«Нашлись, без сомнения, люди, искренно обрадовавшиеся статье «Московских Ведомостей». Им как-то было не по душе то, что происходило в с.-петербургской судебной палате, и вот является статья, в которой обличаются и обвинители, и защитники, и судьи, где законная свобода речи именуется «неуместным словопрением», где говорится, что была «снята шляпа перед русскою революциею», что «нигилизму перед лицом суда воздан некоторый почет». Да, было чему обрадоваться, прочитав эту лживую статью!

«Но что же, в сущности, сказали «Московские Ведомости»? Они стараются прежде всего обратить в смешную сторону приемы, которые употреблял председатель судебной палаты в обращении с подсудимыми. Они говорят, что «взаимные представления», «утонченные обороты речи», употребляемые, как им кажется, председателем, напоминают салон, что они неуместны в зале суда и, как следует предполагать, особенно неуместны в политических процессах. Но что же доказывают эти жалобы московской газеты на слишком вежливое обращение с подсудимыми? Для того, чтоб что-нибудь доказать этими жалобами, «Московские Ведомости» должны бы проследить всю прежнюю деятельность г. председателя палаты и вывести из нее заключение, что он совершенно иначе обращается с прочими

подсудимыми, что он изменил свои приемы для таких, которые обвиняются в государственном преступлении! С другой стороны, придирки московской газеты к словам председателя, обращенным к «нигилистам», так же нелепы, как сетования тех лиц, которым кажется ужасным, что «в суде мужику говорят вы». Мы думаем, что в настоящем деле приличие в обращении с подсудимыми было особенно уместно: оно отнимало у них желание и повод делать публично какие-либо резкие заявления, успокаивало страсти и побуждало их в свою очередь соблюдать приличие на суде, что и было вполне достигнуто.

«Московские Ведомости» направляют всю силу своего слова, всю горячность своей речи против защитников подсудимых. Они, видите ли, поэтизировали русских революционеров, злоупотребляли свободою прений, протестовали в суде против законов, которыми держится все. Но подобные заявления содержат в себе положительную клевету. Конечно, не все защитники одинаково талантливы, не все одинаково умны, не все в одинаковой степени обладают тактом, не все равно искусны в своем деле; но ни один из защитников не сказал ничего такого, что не должно быть терпимо в стране, где сколько-нибудь уважаются свобода мысли и слова, равноправность сторон на суде. Если защитники указывали на особые свойства политического преступления, на те признаки, которыми оно резко отличается от прочих преступных деяний, если они старались охарактеризовать без злобных преувеличений ту среду, из которой вышли подсудимые, указать на те исключительные условия, которые благоприят-

ствовали развитию отрицательного направления в них, то они только исполнили долг свой, способствуя всестороннему разъяснению дела. Пусть укажут нам «Московские Ведомости» на те политические процессы на Западе, происходившие не перед революционными или военными, а перед правильно организованными судами, где бы защите не было предоставлено прав, подобных тем, которыми она пользовалась в нечаевском деле.

«Московские Ведомости» думают, что защитники должны были греметь против «нигилизма», «изобличить весь вред этого направления». Нам же кажется, что «ораторы с.-петербургской судебной палаты» — прокурор или защитники безразлично — поступили очень хорошо, что воздержались от полемики с теоретическими воззрениями лиц, сидевших на скамье подсудимых. Во всех образованных государствах людей наказывают не за то, что они держатся тех или других ложных воззрений, а за то, что они совершали известные деяния, положительно воспрещаемые законом. Если б кто-либо во время судебных прений стал особенно сильно напирать на вред «нигилизма», то трудно было бы, не нарушая основных правил равенства сторон перед судом, лишить подсудимых слова в защиту тех теорий, которых они держатся. И суд обратился бы отчасти в debatting club [1] о пользе и вреде «нигилизма».

«Московские Ведомости» попытались без всякого основания поколебать доверие к нашему

[1] Дискуссионный клуб.

суду в отношении к публичному разбирательству дел о государственных преступлениях. Они сослужили службу всем тем, кому разбор таких дел, на основании начал, установленных судебными уставами, был не по нутру, и которые затруднялись только в подыскании сколько-нибудь подходящих аргументов. Московская газета заговорила о «русской революции» и «снимании шляпы перед нею», она пускает в ход призрак нигилизма подобно тому, как западные реакционеры вызывают так-называемый «красный призрак», когда это может служить к целям. Мы сожалеем о таком образе действий одного из органов нашей печати, но думаем, что им серьезного вреда все-таки причинено быть не может. Правда возьмет верх. Несмотря на все статьи «Московских Ведомостей», наше общество признает, что с.-петербургская судебная палата оказала услугу правосудию, внесши бесстрастие, человечность, справедливость и уважение к законной свободе слова в разбирательство нечаевского дела».

В) «Голос».

№ 183 (Фельетон). «Такова [1] первая группа наших коммуналистов и интернационалистов — потому что, как видно из обвинительного акта, цель, которой они добивались, была почти тождественна с целью, провозглашенною парижскою коммуною, т. е. «разрушение государства со всеми его учреждениями, для того, чтобы освободить массы народа из рабства умственного, по-

[1] Этим словам предшествует описание наружности подсудимых.

литического и экономического». Разумеется, о том, что поставить на место разрушенного, имелись самые смутные понятия, которые некоторым из членов вовсе и не сообщались; им указывали на таинственную брошюрку, написанную, по выражению обвинительного акта, на «неизвестном языке», т. е. особенным шифром, и торжественно объявляли, что в ней заключается «вся программа». Средства, употреблявшиеся участниками открытого ныне заговора для вербования приверженцев, были совершенно те же, как и у членов «международного общества», т. е. образовались маленькие кружки, из которых избирались члены «отделений»; эти, в свою очередь, посылали делегатов в центральный комитет и проч. Способы, которыми они надеялись достигнуть своих целей, также совершенно сходны с приемами покойной парижской коммуны, т. е. революция, убийства, пожары, грабежи. Гнусное, подлое, хладнокровно заранее обдуманное и совершенное без малейшего сострадания убийство студента Иванова показало ясно, чего можно было ожидать от таких коноводов, как Нечаев, Бакунин, Огарев. Притом, разумеется, главные виновники успели убраться в безопасное место или все время оставались в стороне, предоставив на произвол судьбы тех лиц, которых они употребляли как орудия. Негодяи в роде Нечаевых и фразеры в роде Бакуниных и Огаревых преспокойно живут себе в Женеве на деньги, собранные для «общего дела», подстрекая напыщенными фразами или громкими приказами несчастных простаков, которые, сами не зная, куда они стремятся, чего хотят, во имя чего и для кого

действуют, усердствовали до тех пор, пока попадались, наконец, как кур во щи, и в награду за это удостаивались названия мучеников от г. Бакунина или стихотворения в их честь от г. Огарева. Жалкие и несчастные безумцы, которыми, как пешками, играли старые и опытные политические мазурики!

«Нет сомнения, что судебные прения по этому делу, обставленные гарантиями полнейшего беспристрастия, представят величайший интерес и раскроют перед нами полную картину тех махинаций и подземных происков, которые употреблялись заграничными «предпринимателями» политических движений для осуществления самой несбыточной мечты, когда-нибудь западавшей в головы этих пустозвонных болтунов, именно революции в России, стране, в которой связь между народом и правительством до того тесна, а любовь к монарху-благодетелю проникает до такой степени все слои общества, что их не поколебать не только таким беспардонным шарлатанам, как Бакунин и Огарев, но и всем революционным обществам всего света, соединенным вместе».

№ 188. «В настоящее время интерес публики сосредоточивается, главным образом, на процессе сообщников по так-называемому «нечаевскому делу», который происходит в санкт-петербургской судебной палате. Толков о нем было весьма много, и толков крайне разнородных, потому что до самой последней минуты ничего определенного и верного не было известно... Нельзя не упомянуть по этому поводу об одном курьезном обстоятельстве. После подавления пресловутой парижской коммуны французские публицисты и го-

сударственные люди ревностно старались доказать, что ответственность за это гнусное явление отнюдь не должна лежать на Франции, что Франция лишь случайно послужила ареною для подвигов диких демагогов, и что настоящим их притоном, будто бы, является не она, а другие государства. Исчисляя эти государства, г. Жюль Фавр счел нужным назвать в своем циркуляре и Россию. Некоторые из членов версальского национального собрания пошли даже далее: они утверждали, будто бы международная ассоциация рабочих (Internationale) находится под руководством немцев и «русских». Все это немало изумляло нас. Положение нашего отечества известно нам, по меньшей мере, отнюдь не хуже, чем ораторам французских палат, и мы с изумлением задавали себе вопрос, где же эти русские революционные силы, которые так многочисленны, что не только, будто бы, колеблют спокойствие России, но даже угрожают потрясениями чуть ли не всей Европе? Или, быть может, мы ошибаемся; может быть, силы эти действительно существуют? До сих пор нам было известно, что русская заграничная эмиграция обречена на совершенное ничтожество, что она состоит из двух или трех десятков бродяг и искателей приключений, о которых сам Герцен, как видно из посмертной его книги, отозвался с крайним презрением, и которые, после его смерти, признают своими вождями окончательно сошедших с ума Бакунина и Огарева; но если за границею «русская революция» (?) представляет столько же отвратительное, сколько комическое зрелище по своему бессилию, то не обла-

дает ли она внутри страны многочисленными адептами, хотя, повторяем еще раз, совершенно непонятно, откуда бы они могли явиться? Вот вопросы, ответом на которые должен послужить теперешний процесс сообщников Нечаева.

«Конечно, мы считаем преждевременным говорить об этом процессе, пока он еще подлежит рассмотрению суда. Было бы в высшей степени неуместно произносить свое мнение о степени преступности лиц, над которыми тяготит обвинение, но, с другой стороны, показания, сделанные ими публично, настолько характеристичны и подробны, что можно составить понятие о среде, к которой обратился Нечаев, чтобы с помощью ее осуществить свои замыслы. Что же это за среда? В настоящее время на скамье подсудимых сидят люди, принимавшие, по словам обвинительного акта, главное участие в заговоре для ниспровержения установленного государственного порядка... Какие же цели имели они в виду и какими обладали средствами, чтобы достигнуть своих целей?

«Некто Нечаев, преподаватель закона божия (?!) в приходском сергиевском училище в Петербурге, принимал участие в школьных беспорядках 1869 г., был арестован, бежал потом за границу с чужим паспортом и с чужим же паспортом вернулся в Россию. В Женеве он сошелся с Бакуниным, Огаревым, и, быть может, был принят также в международную ассоциацию рабочих, которая не брезгает, повидимому, даже и таким добром, как наши туземные искатели революционных приключений. В Петербурге и Москве Нечаев приискивает себе сообщников,

Мы знаем теперь главнейших из них: в числе их только одному г. Прыжову, который, как видно из его слов, вел весьма беспорядочную жизнь, было 42 года; все остальные не более, как юноши от 19-ти до 25-ти лет, или не учившиеся ровно ничему, или выгнанные из учебных заведений, или готовившиеся покинуть школьную скамью; исключение составляет лишь г. Ткачев, о котором в обвинительном акте сказано, что он кандидат петербургского университета. «Либеральная личность» Нечаева явилась пред этою молодежью уже окруженная ореолом: как было не поклоняться этому человеку, когда, по его собственным словам, он удостоился высокой чести быть за панибрата с Огаревым и Бакуниным и получил от них полномочие перевернуть кверху дном весь государственный и общественный строй России! Нечаев не высказывал, впрочем, открыто своих замыслов: он окружал себя большою таинственностью и уверял, что действует от какого-то комитета, держащего все нити в своих руках и требующего безусловного повиновения. По словам Нечаева, революция долженствовала вспыхнуть сама собою, именно, в феврале 1870 года, потому что Нечаев, а также школьники и проходимцы, связавшиеся с ним, считали себя столь близко знакомыми с настроением народа, что им казалось вполне несомненным, будто бы народ не замедлит прибегнуть к мятежу по прекращении переходного положения. Задачею революционных кружков было помогать восстанию, когда оно вспыхнет, «своими умственными способностями». В ожидании столь вожделенной минуты, «всякий честный человек, — утверждал

Нечаев, — обязан бросать учебные заведения и подготовлять себя на служение общему делу». Он старался уверить, что предприятие задумано как нельзя более искусно, что «громадная организация уже раскинулась по всей России», что она тысячами считает своих приверженцев и что все предвещает ей несомненный успех. Все это было чистейшею выдумкой, громадною нелепостью, однако, и в Петербурге, и в Москве Нечаеву удалось обмануть несколько личностей, сделавшихся бессмысленным орудием в руках его.

«Тогда началась возмутительная и жалкая комедия. На сходках постоянно толковали о «комитете», хотя этого комитета никто не видал в глаза и не знал даже, где он существует. Нечаев требовал от своих сообщников, чтобы они служили делу, или, вернее сказать, ему лично, двояким путем: 1) собиранием денег и 2) привлечением новых заговорщиков. Что касается денег, то очень скоро оказалось, что люди, вознамерившиеся произвести коренной переворот в пределах Российской империи, располагали лишь грошами, а относительно привлечения участников они видимо недоумевали, куда им обратиться, чтобы встретить какое-нибудь сочувствие. Г. Прыжов, например, похвалялся, что ему известна чуть ли не половина Москвы, что он изведал подноготную всех кабаков и фабрик, и несмотря на то, по его же сознанию, он собрал денег «лишь самую малость». Другой из обвиняемых, г. Кузнецов, говорит, что он всячески хотел показать себя деятельным, но чтобы Нечаев поверил его деятельности, он вынужден был представлять ложные отчеты. «Чтобы незаметна

была моя ложь, — показывал он на суде, — я старался каждый раз приносить в наши собрания деньги, будто бы собранные мною с лиц, изъявивших желание присоединиться к нам, но на самом деле эти деньги (по несколько рублей) я давал, большею частью, свои собственные». Один только из сообщников не захотел лгать и играть по дудке Нечаева: мы говорим об убитом Иванове, личность которого недостаточна ясна для нас из показаний его товарищей. Он отшатнулся от заговора и решился действовать особняком. Нечаев тотчас же предложил убить его, и главные адепты этого негодяя опять-таки рабски подчиняются его воле, хотя большая их часть протестует втайне против убийства, но не дерзает ослушаться своего вождя. Нечаев уверил их, что страшное злодеяние необходимо для успеха дела, что Иванов может повредить «громадной организации», что нечего дорожить жизнью одной личности, когда дело идет о безопасности целого легиона приверженцев задуманного «дела»... Вскоре после того, как совершилось преступление, начинают, однако, приступать к Нечаеву с вопросами: где же эта знаменитая «организация», где этот легион, действующий по распоряжению пресловутого комитета? и Нечаев должен сознаться, что если лгали его клевреты, то он лгал еще бессовестнее, чем они. «Правда, — говорит он с обычным своим нахальством, — я врал; но все средства хороши, чтобы завлечь людей в заговор. Этому правилу часто следуют за границей; между прочим, держится его и Бакунин: почему же и мне поступать иначе...»

«Итак, умерщвление Иванова — вот факт, ко-

торый бросает мрачный и ненавистный колорит на всю эту историю. Если бы не он, то можно было бы отнестись только с презрением и омерзительным чувством ко всему этому сумбуру понятий, к этому жалкому невежеству, к этой пошлой самонадеянности, которыми была проникнута среда, избравшая Нечаева своим руководителем».

№ 190 (Фельетон). «Во всем этом процессе для меня кажется самым знаменательным то равнодушие, с которым наше общество относится к нему: в его глазах весь этот заговор — преступное, но глупое и бессильное мальчишество (конечно, за исключением убийства). Это равнодушие есть беспощадный общественный приговор над всеми такими попытками. Это равнодущие должно быть для всех таких заговорщиков более безотрадным явлением, чем если б народная ярость разорвала их на клочки: их не боятся, не ненавидят, против них даже не считают нужным разгораться яростью — их холодно и покойно игнорируют. Это — наказание более тяжелое и поучительное, чем Сибирь и каторга, [1] более унизительное, чем позорный столб. Наши заговорщики не имеют даже того утешения, чтоб поразить людей громадностью своего преступления и заставить мир интересоваться своею личностью. Я уверен, что, если б находились в продаже их фотографические портреты, то на эти карточки был бы крайне малый запрос, и фотограф остался бы в большом накладе»...

[1] Можно, однако ж, предполагать, что обвиненные скорее удовольствовались бы первым, нежели последним.
М. М.

№ 147. «Никогда еще эта скамья в уголовном департаменте петербургской судебной палаты не привлекала к себе большего внимания, как в настоящем процессе, и это внимание возбуждают не только те лица, которые занимают скамью, но, может быть, еще в большей степени те, чьи места остаются незанятыми в силу обстоятельств, независящих от судебной палаты — Нечаев, бежавший за границу, и Иванов, убитый Нечаевым.

«Из числа 84 лиц, привлеченных к ответственности по «нечаевскому делу», мы видели на скамье подсудимых одиннадцать человек, причисленных к первой группе, которую обвинительная власть признала наиболее преступною. Каждый из этих одиннадцати был знаком, разговаривал, видел, в крайнем случае слышал о Нечаеве, и решительно все упоминали о нем в своих показаниях. В один голос говорили они о глубоком впечатлении, которое производил Нечаев, о неотразимом, роковом влиянии, которое он имел на всех, с кем сталкивала его судьба, на всех, за исключением одного Иванова. Один Иванов не поддавался влиянию Нечаева, на одного его Нечаев не производил впечатления. Почему? Иванов не похож на подсудимых первой группы: «это был, по словам Кузнецова, человек недоверчивый, требовавший прежде всего более или менее ясных доказательств»; Иванов относится ко всему сознательно; его нельзя принудить к слепому повиновению; он во всем дает себе отчет; он самолюбив, сосредоточен, и обмануть его трудно. «Я ошибся в выборе Иванова», говорил Нечаев Кузнецову.

«Это было единственное правдивое слово во всей массе лжи, окружающей личность Нечаева, которого нам хотят представить с какими-то демоническими чертами в характере и общем строе его натуры. Таким разумели его подсудимые первой группы, не таким считал его Иванов, и таким Нечаев никогда не был. Сын бедного ремесленника в селе Иванове, сын полотера графа Шереметьева, до 16-ти лет ничему не обучавшийся и с юности выбившийся из колеи, трудом и потом проторенной для него отцом, Нечаев является вольным слушателем в университете, сперва в Москве, потом в Петербурге. Не науки искал он в университете, и наука не давалась ему: он усвоивал себе лишь отдельные фразы помощью памяти, не мог уразуметь ни одной здравой мысли, ни одной идеи, которые требуют работы ума, и скоро дошел до отрицания всякого образования. «Ходить в школы учиться — ерунда», говорил Нечаев Орлову, не подозревая, конечно, что высказывает этим главную черту, объясняющую его вполне, со всеми его недостатками, пороками, даже преступлениями. Это была натура грубая, не смягченная ни семьей, ни школой — он бросает дома сестру в тифе и идет на сходку; он убивает Иванова и протягивает любимой женщине руки, на которых еще кровь не обсохла; это был неуч, прикрывавший свое невежество отрывочною, для него самого непонятною фразою. «Нечаев ни о чем не говорил обстоятельно, никогда не высказывался и пропускал лишь фразы сквозь зубы», говорят о нем бывшие его поклонники. Это был, наконец, человек до крайности самолюбивый, увлекавшийся своею

собственною личностью, как все малообразованные люди, любивший говорить о себе и слушать, как другие говорят о нем, желавший властвовать, наставлять других. Удовлетворяя эти потребности своей натуры, он был учителем сперва народной школы в селе, затем приходского училища в столице. Когда же, с годами, грубый инстинкт руководить, повелевать другими развился до стремления быть во что бы то ни стало передовым деятелем общества, Нечаев, не находя в себе положительных данных для подобной роли, не затрудняется в выборе средств и прибегает ко лжи, никогда не забывая, что лжет, и к обману, всегда сознавая, что обманывает.

«Нечаев обладает одною положительною чертой, одною способностью, в которой ему никто не отказывал — изворотливостью, пронырством, тою внешнею ловкостью, которая неминуемо поставила бы сына полотера во главе ивановских мошенников или московских жуликов, если б самолюбие не вывело его на иную, более широкую арену политических мазуриков...

«Судя по Нечаеву, можно уже догадаться, из какой среды он мог набирать работников для своего «дела» — единственно из среды недоучившейся молодежи: из числа одиннадцати подсудимых только Ткачев окончил курс в университете и только Прыжов не может быть причислен к молодым людям — ему 42 года. Общая сложность лет всех подсудимых первой группы, за исключением Прыжова, дает каждому из подсудимых, в среднем выводе, 24 года. Умственная развитость их очень низкого уровня; их положительные сведения слишком ограничены. Это,

большею частью, семинаристы, слушатели земледельческой петровской академии, люди, как и Нечаев, поздно обратившиеся к умственным занятиям и оказавшиеся мало к ним способными...

«Только слабостью умственного развития, которую нельзя скрыть никакою дерзостью мысли, хотя бы и не навязанной извне, только убожеством положительных знаний, которые не могут быть заменены заученными фразами из книг, хотя бы и хороших, только нелюбовью к труду можно объяснить успех Нечаева в среде подсудимых первой группы, которые, по их собственным словам, действовали совершенно бессознательно. Да и можно ли предположить сознательное отношение к делу у таких личностей, которые сегодня пишут оду в честь приезда государя императора во Владимирскую губернию, а завтра вступают в число заговорщиков для ниспровержения установленного порядка?..

«К такому результату приводит внимательное изучение одиннадцати подсудимых первой группы»...

№ 147 (Фельетон). «Этот политический процесс представляет очень много поучительного... Кажется, чего-чего не говорили и не писали о панурговом стаде, а оно все еще живо и поражает грациозностью своих прыжков и красотою рогов. Вот льется речь, чистая польская речь, [1] где глумятся не только над всем прошлым, но и над всем настоящим России. Видите ли, все у нас пусто, сухо, голо, не на чем остановиться;

[1] Слова эти, очевидно, относятся к речи г. Спасовича.
М. М.

а прошедшее Польши в пурпуре и злате, такое, что может очаровать польского демократа! Вы изумляетесь этой беззастенчивости, этой колоссальной неправде. Вот уж именно демократу, думаете вы, искать идеалов в старой Польше, этом позорном государстве, где масса была в самом ужасном рабстве у панов и жидов-арендаторов. Да хорош и пурпур! Это государство с 12 миллионами жителей пало почти без выстрела среди подкупов, разврата, усобиц, измены. Но положим с польской точки зрения надобно говорить, что это — все золото и пурпур даже и для демократа, а в России Петра, Екатерины, Александра II-го все пусто и голо. Сидите вы и слушаете, что будет дальше. Вот подымается одна из тонкорунных овечек панургова стада и начинает прыгать за польскою речью с самым добродушным видом, приговаривая: «хорошо, ай как хорошо! ай какая заслуга перед Россией!» И досадно, и жалко делается. Так и хочется сказать: «бяшенька, бяшенька, назад! куда ты за волком прыгаешь! съест тебя!» Но нет, не остановите бяшеньку. Вслед за ней бежит другая овечка, припевая: «ай хорошо, ай честно...» А там и в печати опять блеянье, и на вас же рогами тычут бараны, и бегут туда же. Остается махнуть рукой и отвернуться...

«Процесс велся с величайшим беспристрастием. с самым строгим соблюдением устава уголовного судопроизводства; замечания защитников и подсудимых выслушивались без нетерпения, обсуживались внимательно. Но нельзя не заметить, что вежливость допрашивавших иногда переходила пределы; говоря с подсудимыми, они упо-

треблями выражения: «вы изволили сказать, вы изволили сделать...»; а говоря о себе: «смею думать, смею сказать». Эти почтительные обороты неупотребительны ни в одном европейском суде, потому что они неуместны, потому что они могут подсудимому внушить ложную мысль о впечатлении, которое производит приписываемое ему преступление. Если убийцу судья будет спрашивать: «вы изволили ударить топором по голове; поэтому, смею думать, что вы желали лишить жизни такого-то», то, пожалуй, тот подумает, что дело его весьма деликатного свойства и что сам он чрез него стал на весьма значительную высоту. Да и существующие у нас обычаи на суде вовсе не в тон с этой манерой. У нас в окружном суде зачастую не только обвиняемых, но и свидетелей, даже из высших общественных классов, называют просто: свидетель N, по одной фамилии. Впрочем, в таком деле, как только-что разбиравшееся, лучше пересолить, чем не досолить».

№ 201. «Из подсудимых второй группы обвинительный акт ставит на первом плане трех лиц: двух бывших слушателей петровской академии, Н. С. Долгова и Ф. Ф. Рипмана, которые, по словам акта, входили в состав первого кружка организации, и мещанку города Калуги, Е. И. Беляеву, которую акт относит к числу организаторов тайного общества. Как из обвинительного акта, так и из показаний, данных подсудимыми на судебном следствии вчера и сегодня, более и более выясняется, что они были лишь орудием в руках Нечаева, который сперва ложью и обманом успел поселить в них доверие к себе и

затем поддерживал свое влияние устрашениями и угрозами. Ложь, к которой так часто и так бессовестно прибегал Нечаев, мало-по-малу раскрывается»...

Г) «Биржевые Ведомости».

№ 208. «Нечаевское тайное общество готовится разделить общую судьбу многих новостей, обыкновенно привлекающих к себе внимание только в начале их появления. Далек еще конец судебного разбирательства по остальным категориям подсудимых, а видимо ослабел уже интерес общества к этому делу, и показания подсудимых пробегаются далеко уж не с тою лихорадочною внимательностью, с какою следили все за Успенским, Кузнецовым, Прыжовым, Николаевым и прочими участниками первой категории обвинения. Зато едва ли мы впадем в ошибку, если скажем, что впечатления и выводы, оставшиеся в обществе после первого периода судебных заседаний, укоренились в умах надолго, и, быть может, еще не раз отзовутся в будущих явлениях общественной жизни.

«Ряд уроков дало нам первое открытое разбирательство политического дела в России. Приговором суда о первой категории подсудимых брошен свет на предыдущие обстоятельства, сделавшие совершенно ясными некоторые особенные и знаменательные оттенки этого ряда молодых увлечений и легкомысленных ошибок, разразившихся, наконец, в преступление. Какой общий тон в показаниях подсудимых? Каждый из них более или менее желал «блага народу»; около этого знамени собрались они бороться, а если

нужно — приносить нравственные жертвы и терпеть всевозможные материальные лишения. Но что же это за благо народа? Несомненно, существует в России народ; но разуметь под этим именем только серых мужиков или опивающихся рабочих неосновательно. Добиваясь бессословности, всесловного единства в жизни, — мы, однако же, не выкинули еще сословности из своих понятий. Умственно, в русском народе мы воображаем себе два народа, и сословиям более или менее интеллигентным противопоставляем кряжевую рабочую силу, простолюдинов. Это ошибка, потому что в русском народе может быть только один организм, и как легко эта ошибка переходит из безвредного заблуждения в роковое увлечение, нечаевский процесс представил тому довольно примеров. Благо народное также существует несомненно, только не существует мифических благ, мыслимых независимо от современных гражданских и государственных установлений. Преступно предполагать в народе революционера по преимуществу, революционера исключительного. Опыт всех веков и всех стран доказал, что для умов, не стоящих на степени интеллигентной, власть предержащая есть также и символ, и порука всех ожидаемых ими благ. Если бы народ русский способен был к гомерическому смеху, — он этим смехом ответил бы, конечно, всякому безумцу, который решился бы его убеждать, что без власти установленной он достигнет улучшения своего экономического и политического быта. Чрез насилие коренных убеждений простолюдина призывать его к насилию политическому — это смешно; мы

скажем — это жалко. Затем, не лоскутья ли одни останутся от этого знамени, именуемого «благом народным», если бы его понимать согласно с большинством обвиненных».

Д) «Вестник Европы».

«В течение минувшего месяца в здешней судебной палате происходило разбирательство того дела, которое известно под именем «нечаевского». Сущность этого дела состоит в составлении политического тайного общества и в совершении убийства. Коснуться этого процесса в нашей месячной хронике мы почитаем обязанностью, как по интересу, возбуждаемому им, так и по некоторым значительным его особенностям. Главная из последних та, что этот политический процесс происходит гласно; в зале суда присутствует публика и отчеты о заседаниях печатаются в официальной газете, откуда заимствуются и другими газетами.

«Польза такой гласности столь очевидна, что нечего долго на ней останавливаться. Она возвышает уважение к суду, низводит тех, кто признан виновным, из положения «тайно пострадавших» в положение правильно-осужденных за положительно-доказанное преступление, обнаруживает ясно для всего общества нелепость полушкольнического, сопровожденного изуверским действием, предприятия, остерегает в будущем молодых, неразвитых людей от сетей, расставляемых бессовестными и безумными агитаторами, наконец, выставляет на позор действия этих последних, сумевших избегнуть иной ответственности, кроме того негодования общества,

которое будет их уделом, в то время как слепые жертвы их подвергаются карам закона.

«Вот эта именно особенность, а именно гласность, впервые приданная разбирательству политического процесса мудростью правительства, и налагает на нас обязанность не умалчивать об этом деле. Если бы обвинение и разбирательство последовали вне порядка обыкновенного судопроизводства и вне гласности, то мы, без сомнения, предпочли бы сохранить молчание о всем деле, как бы велико ни было наше искреннее негодование против самого преступления и даже если бы мы были вполне убеждены в справедливости последовавшего затем приговора. Мы молчали бы и о нашем негодовании, и о нашем убеждении в справедливости кары просто потому, что нам совестно было бы выступать гласно перед обществом в качестве прокуроров, когда слово защиты было бы скрыто от общества. Чувство нравственного приличия, понятное всем порядочным людям, не дозволяло бы нам употребить гласность для обсуждения вины, когда не признано было бы нужным воспользоваться гласностью для разъяснения этой вины и для смягчения ее защитою.

«Эти оговорки относительно затруднительного положения, какое может создавать в печати наказание виновных вне обыкновенного судопроизводства и вне гласного разбирательства, не совершенно излишни в настоящее время, хотя они и не применяются к нынешнему процессу, происходившему в порядке обыкновенного и гласного судопроизводства. Чем больше простора будет для обсуждения подобных дел в печати, даже для защиты в ней некоторых подсудимых и для ука-

зания на неизбежные иногда упущения или ошибки в мерах преследования и розыска, тем полнее, свободнее порядочные, независимые органы печати станут выражать все свое отвращение и презрение к бесчестным людям в роде Нечаева, ложью и обманом завлекающим свои жертвы в нелепые, никуда, кроме преступления и гибели, не ведущие планы революционного шарлатанства. А такие предостережения со стороны печати, не заподозренной в шпионстве или продажничестве, имеют значение, которого никто в наше время ни в Европе, ни у нас отрицать не станет. Но для того, чтобы добросовестная печать могла энергично исполнять и эту обязанность, необходимо, чтобы она имела возможность относиться к подобным делам с полною свободою критики. Никто не согласился бы занимать должности прокуроров, если бы судебные уставы не давали всем обвиненным защитников. И печать, если бывало, что она умалчивала о каком-либо политическом деле, руководствовалась тем правилом, которое очевидно для всех порядочных людей: если свобода критики сводилась к свободе одного порицания, хотя бы и справедливо преследуемых лиц, то лучше было не пользоваться и этим правом, чтобы не показалось обществу, что печать выслуживается, и не лишить ее именно того права на доверие, которое одно и дает слову ее нравственный вес. [1]

. . . .

[1] Это заявление не доказывает ли нам, что русская литература была действительно, а не номинально свободна в своих отношениях к «нечаевскому делу», и что,

«Что же это было за тайное общество? Ничтожность, неразвитость его участников представляют новое и излишнее, конечно, свидетельство как о твердости существующего в России правительства, так и шарлатанстве «мастеров» революционного дела, Бакунина и Нечаева. Если бы прочность нашего правительства, преданность ему всего народа и отвращение общества к затеям профессиональных революционеров нуждались в доказательствах, то доказательство им нашлось бы именно в положении и свойствах тех людей, из которых вербовали себе агентов Нечаев и Бакунин. Только таких людей они и могли найти для своих глупых преступлений. А факт, что приискав таких людей, агитаторы с ними решились таки вести свой призрак к какому-то безусловно невозможному осуществлению, доказывает именно, что Бакунин и Нечаев, если они не сумасшедшие, — такие бессовестные пройдохи, которые готовы жертвовать людьми для того собственно, чтобы доставить себе за границею хоть малейшую долю революционной «репутации». Но Европа может судить теперь об этом деле уже не на основании каких-либо темных, негласных преследований, и в настоящем случае, когда гласный суд изобличил пред Европою всю ничтожность людей, обреченных нашими революционными шарлатанами на жертву их болезненному самолюбию, она узнает из русских органов гласности, что общественное мнение в России произносит над Нечаевым и Баку-

следовательно, высказанное ею в этом случае единодушие было единодушие свободное.

М. М.

нинным приговор глубокого презрения. Таким образом, нынешнее дело не послужит на пользу их самолюбию и за границею, и не одна Россия, но и Европа узнает в них людей нравственно павших, людей, от которых должен сторониться всякий, кто дорожит честным своим именем.

«Не будем уже говорить о ничтожестве тайного общества по положению его членов, которое не давало бы им возможности действовать ни в образованном обществе, ни в массе народа, если бы даже у нас и была какая-нибудь возможность затевать нечто в роде революции, чего вовсе нет, ни в обществе, ни в массе. Но самые личные свойства лиц, признавших себя главными соучастниками, таковы, что люди эти не могли бы сколько-нибудь годиться в агенты революции нигде, хотя бы в самой революционной из всех стран, в минуту хотя бы самую удобную для производства смятения; по бесхарактерности они становятся игрушками в руках Нечаева, который ведет их убивать человека против их воли и ругает их последними словами за то, что они не хотят помогать ему; а между тем, они все-таки шли на это дело! Гласное разбирательство дела возбудит презрение к Нечаеву и Бакунину, а молодых людей в России предостережет от доверия к темным личностям, являющимся с таинственными, недосказанными планами и предложениями «организоваться» для дела неизвестного. Молодые люди убедятся, что «организоваться» не следует потому именно, что вся цель таких пройдох в том и состоит, чтебы прославить себя устройством ни для чего не годной «организации».

Таковы отзывы о нечаевском деле значительнейших органов нашей литературы всех оттенков. Надеемся, что читатель, пробежав эти отзывы, согласится с мнением, изложенным нами выше, что ими вполне и притом с полной свободой разъясняется не только самый факт, давший начало процессу, но и те отдаленные причины, которые породили этот факт.

М. М.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Нынешний год ознаменовался очень замечательным для русского искусства явлением: некоторые московские и перебургские художники образовали товарищество с целью устройства во всех городах России передвижных художественных выставок. Стало быть, отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах академии художеств, или погребенные в галлереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех обывателей Российской империи вообще. Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званых от незваных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах.

С какой бы точки зрения мы ни взглянули на это предприятие, польза его несомненна. Полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов не только для аборигенов Чухломского, Наровчатского, Тетюшского и других уездов, но и для самих себя. Сердца обывателей смягчатся, — это первый и самый главный результат; но в то же время и художники получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, хотмыжскими, пошехонскими и т. д., и из этой проверки, без сомне-

ния, извлекут для себя небесполезные указания.

Что обывательские сердца смягчаются при взгляде на красивые линии — этому я видел поразительный пример не далее, как 30-го сего ноября (выставка открыта 29-го числа). Перед картиною г. Мясоедова, изображающей Петра Великого, рассматривающего знаменитый ботик, который сделался впоследствии родоначальником русского флота, стоял цензор (не римский, а другой) и неутешно плакал. «Что с вами?» — спросил я его. — «Помилуйте!» — отвечал он мне: «посмотрите, как великий-то государь был любознателен! как он любил науку! с какою благородною алчностью следил за ее открытиями! А мы-то! а я-то!». Но этого мало: раз ставши на почву самоосуждения, мой добрый знакомец почувствовал потребность идти до конца, т. е. принести публичное покаяние. К великому моему смущению, он встал посредине залы и без всякого постороннего наущения словами Феофана Прокоповича возопил: «братия! что мы делаем? Петра Великого погребаем!»

Сказавши это, он изнемог и упал на грудь г. Мясоедова...

Но если такой подлинно испытанный человек, как мой знакомец, был уязвлен столь чувствительно, то каких же результатов не вправе мы ожидать относительно прочих обывателей. Переношусь мыслью в город Кологрив, и вижу: помещик стоит перед картинкой г. Прянишникова «Погорелые» и потихоньку вынимает из кармана пятак, чтобы подать нищему: мировой судья смотрит на картину профессора Ге: «Петр Великий, допрашивающий своего сына», и вдруг

начинает совершенно отчетливо понимать, что значит суд скорый, милостивый и правый; поселянин вглядывается в этюд г. Крамского «Голова мужика», и восклицает: «Матрена! Матрена! смотри... рваный... это я!». И ежели, за всем тем, исправник все-таки изъявит намерение пребыть непреклонным, то непреклонность эта будет притворная. «Майская ночь» г. Крамского и на него подействует освежительно. По наружности он останется равнодушен, но в душе наверно скажет себе: вот рассказывают, будто крестьянам подати платить не из чего, а они, посмотрите-ка, какие удивительные балеты на картинках выделывают! Просто с жиру, бестии, бесятся!»

Как хотите, а для художника такая публика— сущий клад.

Кроме того, что он может проверить на ней действительный эстетический уровень цивилизованного большинства, она представит ему неистощимый источник для разнообразнейших художественных этюдов. Пусть представит художник станового пристава, стоящего перед Аполлоном Бельведерским — какая это будет чудесная картина! Аполлон, весь блистая красотой, равнодушными глазами смотрит на кишащих у ног его сеятелей и деятелей, а усердный исполнитель исправниковых велений с видом знатока вглядывается в прекрасный торс и из уст его невольно вырывается: «хорош, бестия, а все против нашего губернатора не вышел!». Или: стоит судья перед статуей Фемиды, и держит ей такую речь: «и что ты меня весами этими дразнишь! вот возьму, да куда захочу — туда они у меня и потянут!». Да

и мало ли таких сюжетов явится; стоит только русским художникам почаще проверять свои идеалы с идеалами обывателей бесчисленных российских градов и весей.

А провинциальная пресса! Сколько она одна даст полезных указаний, с разрешения гг. начальников губерний! и указания эти, я в том уверен, будут настолько вески, что «Товарищество передвижных художественных выставок» наверное воспользуется ими. Прочитав их, оно воздержится от посылки в город Мензелинск картин, в роде «Петра, допрашивающего своего сына», а просто-напросто возьмет на прокат у академии несколько десятков «Янов Усьмовичей» и пошлет их с рассыльным по принадлежности.

Такова мысль новорожденного «Товарищества»; теперь взглянем на ее выполнение.

Первая выставка, открытая в Петербурге, в залах академии художеств, производит самое приятное впечатление. Количество картин небольшое, но на каждой из них внимание зрителя останавливается с удовольствием, а на некоторых даже и более нежели с удовольствием. Невольно припоминаются те массы крашенины, которые утомляли взор, прежде нежели он отыскивал хоть какую-нибудь точку, на которой мог успокоиться. Поэтому нельзя не похвалить «Товарищество» за то, что оно, при первом своем появлении на суд общества, избавило публику от крашенины; но спрашивается: может ли оно и на будущее время всегда действовать с тою же эстетическою сдержанностью, с какою действовало в этом первом своем опыте?

По моему крайнему разумению, разрешение этого вопроса очень сомнительно, и сомнения эти основаны на том соображении, что «Товарищество» в своей организации не отрешилось ни от одного из требований рутины, которая имеет свойство обращать самое полезное дело в пустую формальность. У него есть свое общее собрание, свое правление, своя баллотировка. Спрашивается: при тех преимущественно воспитательных целях, которые, повидимому, имеет «Товарищество», какой смысл может иметь подобная организация! Ограждает ли она «Товарищество» от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п.? Нет, не ограждает, ибо по уставу на звание члена товарищества может претендовать всякий художник, «не оставивший занятий искусством»; хотя же прием новых членов обусловлен баллотировкой, но в сфере искусства баллотировка обеспечивает столь же мало, как и протекция или начальственное усмотрение. Тут явятся на сцену всякого рода сомнения и уступки: и опасение быть обвиненным в несправедливости, и просто чувство деликатности, воспрещающее устранять от дела лицо, которое, в сущности, быть может, и не даровито, но в глазах толпы пользуется значительною репутацией. А как скоро Яны Усьмовичи проникнут в «Товарищество», то они подорвут какую угодно воспитательную цель, и вместо нее введут элемент разношерстности. Если, например, «Товарищество» преследует идею трезвости, простоты и естественности в искусстве, то стоит только забраться в «Товарищество» г. Микешину, чтоб совершенно упразднить эту идею. А отказать ему в праве

на звание члена нет основания уже по тому одному, что он целую Россию покрыл сетью монументов. И как только он вступит в «Товарищество», то сейчас же изумит мир обилием и яркостью своих произведений, и уж, конечно, ни один становой пристав не остановится перед картиной Ге, если рядом с нею будет стоять ослепительное произведение г. Микешина. Спрашивается: что станется тогда с воспитательными целями «Товарищества»?

Я не отвергаю, что и к воспитательным целям могут быть применяемы соединенные усилия нескольких лиц, но для того, чтобы в этом случае был достигнут успех, необходимо, чтобы соединившиеся для одной цели лица были вполне друг другу известны и заранее с полною ясностью определили для себя все основания задуманного дела. Тут не баллотировка требуется, а полное единодушие, и ежели мне возразят, что подобное единодушие, в крайнем своем проявлении, может привести к односторонности, то, по мнению моему, и в этом еще не будет большой беды. Ведь никто же не мешает рядом с одним товариществом устраивать другие однородные товарищества с теми же целями, но с иными взглядами на их осуществление.

Но прекратим речь о будущем, которое во всяком случае гадательно, и обратимся к настоящему, т. е. к тому первому опыту передвижной художественной выставки, который состоялся 29-го ноября.

На первом плане мы встречаемся здесь с картиною профессора Ге: «Петр Великий, допрашивающий своего сына». Перед нами всего две

фигуры и строго-простая обстановка, не имеющая ничего бьющего в глаза. Петр Великий не вытянут во весь рост; он не устремляется, не потрясает руками, не сверкает глазами; фигура его без малейшей вычурности и назойливой преднамеренности посажена в кресло, и даже ни один мускул его лица не сведен судорогой. Царевич Алексей не стоит на коленях с лицом, искаженным ужасом, не молит о пощаде, не заносит на себя рук и не ломает их, а просто, и на поверхностный взгляд даже довольно спокойно, стоит перед отцом, отделенный от него столом, с несколько опущенною вниз головою. Тем не менее, всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти.

В этом-то именно и состоит тайна искусства, чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д. А г. Ге именно тем и выделяется из массы собратий по исторической живописи, что он очень отчетливо отличает внешние, крикливые выражения драмы от внутреннего ее содержания и, пользуясь первыми лишь с самою строгою умеренностью, сосредоточивает всю свою художественную зоркость на последнем. Это драгоценнейшее свойство художника постоянно являлось во всех его картинах, доселе известных; оно же, с особенною силою, выразилось и в последнем произведении его кисти.

Повидимому, личность Петра чрезвычайно симпатична г-ну Ге, да оно и не может быть иначе, потому что в глазах художника воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, т. е. насколько доступно всему разнообразию человеческих ощущений. Такова именно личность Петра Великого. Вся жизнь этого человека есть непрерывная эпопея, в которой царственное на каждом шагу смешивается с общечеловеческим, и притом смешивается не искусственно, не преднамеренно, а вполне естественно и свободно. Это такой же истинно простой в своих привычках и обыкновенном, будничном обиходе человек, как и все его окружающие, и ежели он, за всем тем, тяготеет над этими последними, то не потому только, что у него в руках имеются все внешние средства для такого тяготения, но преимущественно потому, что в нем заключается неизмеримо высокий и вполне себя сознающий внутренний человек. Петр Великий прежде всего страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности, которая и приводит к мысли о необходимости обновления и возрождения. Сознание этой необходимости овладевает всеми его помыслами, окрашивает всю его деятельность; ибо для него возрождение не просто плод отвлеченной мысли, а нечто такое, что он, так сказать, осязает, что выступает перед ним во всей ясности и со всеми подробностями. Поэтому он идет не останавливаясь даже тогда, когда его действия носят явный характер резкости и суровости. Он суров и даже

жесток, но жестокость его осмыслена и не имеет того характера зверства для зверства, который отличает жестокие действия временщиков позднейшего времени.

Да, это личность, которой художник не может не симпатизировать даже в ее слабостях и недостатках, потому что это слабости человеческие. Ей следует симпатизировать не только во имя того, что она совершила, но еще более в виду того, что она, конечно, совершила бы, если бы смерть не похитила ее. Многие из реформ Петра имели характер переходный и дисциплинарный и впоследствии послужили источником очень значительных неудобств; но это произошло совсем не по вине его, а оттого, что продолжатели его дела поддерживали только букву реформ и совершенно забыли разум их. Что Петр понял бы своим обширным умом, что дело возрождения есть дело по преимуществу движущееся и развивающееся — в этом убеждает его неутомимая, никогда не ослабевавшая реформаторская деятельность, которая стояла для него выше личных соображений, выше семейных уз.

А в этом последнем отношении грядущее представлялось в очень мрачном свете, потому что личность царевича Алексея была такого рода, что не допускала даже сомнений. Допустим, что царевич был настолько лишен энергии и чужд властолюбия, что сам охотно отказался бы от приманок власти, «была бы только подле него Афросиньюшка», но, во-первых, удостоверить полную искренность подобного отказа довольно трудно, а во-вторых, смутные времена с их Лжедмитриями были так недалеки, что и это заста-

вляло задуматься. Задумав преобразование России, Петр естественно пришел к вопросу: кто будет продолжать и развивать начатое дело — и с мучительною безнадежностью должен был остановиться на царевиче Алексее, который, во имя уз крови, становился между ним и делом всей его жизни. Отсюда — известная драма между отцом и сыном, окончившаяся смертью последнего.

Г. Ге делает нас свидетелями одного из прелиминариев[1] этой драмы. Петр Великий имеет в руках подавляющие документы, перед которыми Алексею остается только умолкнуть. Быть может, за минуту, между отцом и сыном произошла бурная сцена, исполненная гнева с одной стороны и робкой изворотливости — с другой, но теперь, в момент, избранный художником, вопрос для обеих сторон выяснился окончательно, и наступило затишье. Петр с мучительно-тоскливым чувством смотрит на сына; но во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева. Это именно только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятом, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах. Перед ним человек, до которого ему нет дела, и которому в свою очередь нет дела до него, и между тем — это человек, с которым он связан своего рода гордиевым узлом, которому он должен оставить на поругание любимое, лелеянное дело, — человек, с которым он волей-неволей

[1] Предшествующих моментов.

должен считаться, тогда как ему и говорить-то с ним не об чем. Эта мысль гнетет и убивает, убивает тем жесточе, что на настоятельный вопрос будущего еще нет никакого практического ответа. После он доищется этого ответа и найдет в себе решимость рассечь гордиев узел, но теперь он еще ничего не знает, он сам только жертва той мучительной уверенности, к которой привело его сейчас происшедшее объяснение. В лице его нет ни гнева, ни угрозы, а есть только глубокочеловеческое страдание, и сверх того, коли хотите, есть упрек, но упрек, обращенный ко всему, к чему угодно, но не к этому человеку-призраку, фаталистически ворвавшемуся в его жизнь. Рассматриваемая с этой точки зрения (мне, по крайней мере, кажется, что эта точка зрения правильна), фигура Петра представляется исполненною той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир.

Не менее выразительна, хотя и в другом роде, фигура царевича Алексея. И он договорился до конца, и для него настоящее свидание было полно нравственных тревог, но эти тревоги иного, несомненно низменного свойства. Его беспокойство скоропреходяще и все сосредоточено на одной мысли: я готов от всего отказаться, готов что угодно отдать, лишь бы уйти от этого взора, который так мучительно давит меня. И он действительно все отдаст, от всего откажется, и даже забудет вынесенную им нравственную пытку, как только переступит за порог этой комнаты. Загородный увеселительный дом, или тюрьма, привольная жизнь в Ярославле, или тесное заключе-

ние в стенах монастыря — ему все равно в эту минуту, лишь бы уйти от этого человека, с которым у него нет ничего общего, и которому он должен дать ответ о чем-то таком, что он даже в толк себе взять не может...

Вообще, впечатление, производимое картиною г. Ге, громадно, и публика постоянно окружает ее. О, пошехонцы, возрадуйтесь! ибо она будет и у вас!

И даже не одна она будет, но вместе с прекрасною картиною другого даровитого представителя исторической живописи, г. Мясоедова, который изобразил другой эпизод из жизни Петра Великого, а именно тот, когда он, еще юный, рассматривает знаменитый ботик, построенный Тиммерманом. Впрочем, в этой картине интерес сосредоточивается не столько на фигуре Петра, сколько на окружающих его боярах. В особенности интересны двое из них: боярин, стоящий за креслом, на котором сидит Петр, и другой, сидя выглядывающий из-за первого. Первый боярин — тип благосклонности, доброты и благодушия. Его румяное, улыбающееся лицо, с великолепной седой бородой до пояса, так, кажется, и говорит: не понимаю, но препятствовать не намерен, потому что в науках вреда не вижу. И ежели бы в те времена существовало «учреждение министерств», то, конечно, этот боярин был бы самым желательным министром по какой угодно специальности, ибо ежели он и ничего не знал, то ведь тогда и знать ничего не требовалось, а требовалось только доброжелательное отношение к знанию. Напротив, другой боярин смотрит на затею Петра с совер-

шенно противоположной точки зрения: он ненавидит и клянет. Вся фигура его говорит: проклинаю сатану и аггелов его, и в своем близоруком фанатизме он готов перенести эту ненависть и на цветущего юношу, с таким страстным увлечением рассматривающего ботик. Благодаря этим характерным фигурам и общему тону картины, она производит очень хорошее, здоровое впечатление, и я нимало не удивляюсь, что знакомство с нею довело моего приятеля (зри выше) до публичного покаяния.

Из представителей жанра на выставке упомяну о троих: о гг. Прянишникове, Перове и Крамском.

Две картины г. Прянишникова («Погорельцы» и в особенности «Мужики, возвращающиеся из города порожнячком») представляют своего рода перлы, которыми выставка может, по справедливости, гордиться. Каждая картина этого высокодаровитого художника представляет отрывок из действительности до такой степени трепещущий, что зритель невольно делается как бы непосредственным участником той жизни, которая воспроизведена перед ним. Несмотря на однообразно-унылую обстановку «Порожняков» (большая дорога зимой), трудно оторваться от этой картины. Всякому, конечно, случалось сотни раз проезжать мимо сцен, точь-в-точь похожих на ту, которая преображена в «Порожняках», и всякий, без сомнения, выносил известные впечатления из этого зрелища, но впечатления эти были так мимолетны и смутны, что сознание оставалось незатронутым. Г. Прянишников дает возможность проверить эти впечатления. Вы видите

перед собою ободранные санишки, шершавых, малорослых крестьянских лошадей, на которых громыхается и дребезжит рваная сбруя; видите семинариста в пальто, не имеющем ничего общего с теплой одеждой, который, скорчившись в санишках, очевидно, томится одним вопросом: доедет он, или замерзнет на дороге? — вы видите все это, и так как сцена заставляет вас не врасплох, то имеете полную возможность вникнуть в ту сокровенную сущность, которая дотоле убегала от вас. В этом умении обратить зрителя внутрь самого себя заключается вся сила таланта, и г. Прянишников обладает этою силой в большом количестве.

Г. Перов — тоже высокодаровитый художник, но, мне кажется, ему несколько вредит известная доля преднамеренности, высказывающаяся в его картинах. Особенно заметен этот недостаток в картине «Охотники на привале». Каждая фигура этой картины, взятая отдельно, есть верх совершенства, но взятые вместе, они производят впечатление не вполне доброкачественное. Как будто при показывании картины присутствует какой-то актер, которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это легковерный. охотников, и как бы приглашающий зрителя не
охотников, и как бы приглашающий зрителя не
верить лгуну-охотнику и позабавиться над легковерием охотника-новичка. Художественная правда должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толкований, так что если б г. Перов устранил ямщика (несмотря на типичность этой фигуры), его «Охотники» не проиграли бы от того, а выиграли бы.

Г. Крамской выставил одну большую картину: «Майская ночь», и два этюда: «Охотник на тяге» и «Голова мужика». Все три картины прекрасны.

Затем имеется несколько очень хороших портретов и пейзажей. Из портретов укажу на портрет писателя Островского, работы Перова, и на портрет г. Шифа, работы Ге; из пейзажей — на прелестную картинку «Грачи прилетели» г. Саврасова. О прочих портретах и пейзажах, как не специалист, умалчиваю.

М. М.

I редакция.

ИТОГИ

V [1]

К числу непомнящих родства слов, которыми так богат наш уличный жаргон, и которыми большинство всего охотнее злоупотребляет, бесспорно принадлежит слово «анархия».

Употребление этого выражения допускается у нас в самых широких размерах. Стоит только прикоснуться к вопросам, имеющим общественный характер, как уже со всех сторон поднимается крик: что Вы делаете? Разве не видите, что там, на дне, таится анархия? Стоит предъявить самые скромные требования к жизни *как отовсюду посыплются предостережения:* берегитесь! скромное требование приведет за собой иные менее скромные *требования,* а затем и анархию! Мало того: попробуйте вовсе устраниться от всяких *непосредственных* требований и вопросов и Вы наверное услышите: это он не спроста помалчивает! Это он замышляет анархию! Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными—анархией сугубою. Словом сказать, везде, где видится попытка к уяснению, исследованию. сознательности — везде вместе с тем видится и признак анархии. *Таков приговор уличного арео-*

[1] См. первые 4 №№ «Отеч. Зап.» за 1871 г.

пага и, к сожалению, приговор безапелляционный. В бесконечно-растяжимых его тенетах запутывается все, что мыслит, что стремится вперед, что ищет устройства более правильных и упрощенных жизненных форм и отношений.

Это история очень древняя и периодически повторяющаяся, *но нам незачем далеко ходить, ибо уже на наших глазах* был момент, очень характеристичный, момент, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях, когда только идиот, да заведомый жулик могли считать себя свободными от опасной клички анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. *Это было время очень тяжелое, но что оно было — никто не может возразить против этого.* И даже не момент продолжалась эта действительная анархия *во имя* анархии мнимой, а долго, очень долго, дольше чем можно вместить (и однакож мы вместили) и характер ее был тем *горчее*, что еще накануне она сама считала свое дело проигранным. С наступлением благоприятной минуты она очень хорошо смекнула, что ей предстоит не только утвердить торжество своих подлинно анархических принципов, но и наверстать все недавние неудачи. *И вот началось это страшное сонное видение, которое для многих сделалось не менее страшною действительностью. Свидетели вчерашнего ликования сделались свидетелями сегодняшнего скрежета зубов и наоборот. Ликование переменило центр и в то же время приняло какой-то особенный, своеобразный характер. Это было ликование с воплями, гиканьем, травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!*

Еще накануне патентованные прогрессисты чувствовали себя неуязвимыми, и, указывая на беспредельное пространство, кричали: вперед! И под рукою, и гласно они заявляли о своем сочувствии молодому поколению. *Они говорили: какой это бодрый, смелый и дельный народ! Быть может, эти похвалы были не вполне искренни; быть может, в глубине души прогрессисты надеялись, что горячность, которой они были свидетелями, скоропреходяща, что бодрым, смелым и дельным молодым людям придется таки вспомнить, что они не больше, как кость от костей, как дети того же порядка, который взлелеял на лоне своем и ретроградов, и консерваторов, и прогрессистов. И надежда не обманула их, ибо вспомнить пришлось не далее как на завтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до того времени и как придется вспомнить, быть может в будущем, когда российская страна почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами и безднами, и ежели не навсегда, то надолго погрузиться в консервативное оцепенение. Да, это будущее еще предстоит, ибо бюрократия только теперь начинает сознавать саму себя.*

В самый разгар прогрессистских ликований случился странный и повидимому неожиданный перелом. В одно прекрасное утро вылезли из нор люди дикого вида с такими ожирелыми затылками, представление о которых даже среди нас утратилось со времени упразднения крепостного права. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам городов и весей и едиными устами во-

пили: анархия! Припомните, сколько было в то время выпито шампанского! Сколько разослано телеграмм! Сколько мимоходом задавлено младенцев и неповинных! Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии! На первых порах они с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уже издревле заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство кое-как извернулось и, сбросивши взятые на прокат одежды, в свою очередь, благим матом возопило: анархия! И состоялся тут компромисс, в силу которого на одной стороне встали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

С этой минуты понятие об анархии для всей улицы утвердилось на прочных основаниях, и в настоящее счастливое время нет того уличного мазурика, который не сумел бы употребить это выражение с пользою для себя. *Да оно и понятно: ведь дело идет не об открытии или изобретении, не о новом вкладе в сокровищницу человеческих знаний, а только о том, чтобы как можно глубже впиваться в тело своего соседа. А эта наука какому же мазурику не известна?*

А между тем стоит только попристальнее вдуматься в действительный смысл этого квази анархического движения, чтобы убедиться, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и неподлежащих никакому

спору. В самом деле, что такое анархия, в действительном и прямом значении *этого* слова? Анархия — это такое состояние общества, когда оно не хочет знать никакого руководящего начала (не начальства как смешивают многие, а именно начала), когда оно бредет без ясно сознанной цели, неведомо куда, когда оно изнемогает под игом всевозможных страхов, составляющих неизбежную принадлежность невежественности и бессознательного отношения к вещам, когда оно не имеет интересов, которые могло бы назвать своими собственными, когда оно лишено доступа к какой-либо инициативе и с тупым равнодушием смотрит на происходящие внутри и вне его явления. Что такое настроение общества нельзя назвать иначе как анархическим, это доказывается бессилием *всех* его движений (кроме впрочем злостных), безрезультатностью его начинаний. Спокойное снаружи, внутри оно заключает прах и ни единой лепты не внесет в общую массу преуспеяния. Ни для себя, ни для других — вот девиз подобного общества, а так как с таким девизом оно может представлять собой только бремя в общечеловеческой семье, то нет ничего удивительного, если, в конце концов, все, что есть в мире интеллигентного, относится к нему с нетерпением и негодованием.

Совсем другой смысл имеет слово «анархия» в глазах уличных мудрецов. *По мнению их анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание руководящей истины, уровень которой более соответствовал бы уровню нарастающих нрав-*

ственных и матерьяльных условий жизни; анархия, наконец, — это сама жизнь, вышедшая из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Говоря короче, анархия — это все то, что обусловливает движение и прогресс. Если в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в неприкосновенности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя, если установленные преданием отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку уяснить себе независимо от предания то положение, которое он занимает в обществе и природе — все это признаки, которые по мнению уличной толпы неразрывны с существованием анархии. А так как сама история человеческих обществ есть не что иное как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли, то ясно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывной анархией. И ежели уличные мудрецы еще не пришли к этому заключению, то, очевидно, только потому, что под именем «истории» они разумеют не историю собственно, но лишь тот или другой учебник, изданный для руководства в гимназиях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода суждений об «анархии» идет обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу афоризм, что умный человек не может быть не плутом). Эти люди с удивительной ловкостью умеют пользоваться невежеством, предрассудками и *пристрастиями* толпы.

Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Ей вразумительна лишь истина, основанная на грубейшем эмпиризме, или такие обобщения, которых происхождение давно затерялось, и которые тем не менее остаются в обращении благодаря преданию и неряшливому отношению к ним толпы. *Все это очень хорошо известно всякому имеющему дело с массами и следовательно для того, чтоб приобрести влияние на них, стоит только говорить их языком, верить или притвориться верующим в те истины, которые на толкучем рынке пользуются правом гражданственности. В сущности, впрочем подладиться под тон масс, — дело вовсе не такое мудрое, как может показаться с первого взгляда и потому не трудность предприятия составляет здесь главное препятствие, а явление совершенно другого порядка. Дело в том, что человек не вполне разлученный с совестью понимает, что созидать свой успех на истинах, которых негодность вполне для него доказана, значит заведомо прибегать к обману и потому невольным образом останавливается перед таким подвигом. Напротив того, человек бессовестный, прожженный и ловкий тут-то именно и чувствует себя вполне свободным. Он является к толпе и объявляет, например, что сила и право понятия тождественные, или что бороться против действия стихии значит не признавать божественного произвола и т. д. Толпе такие истины на руку, ибо доступ в область критической проверки рекомендуемых ей афоризмов еще закрыт для нее. Она испокон веку чувствовала на себе давление*

силы, испокон веку была беззащитна против стихий и потому в ней зародилось убеждение, что свет держится только безуслевным преклонением перед силою и случайностью. Это же убеждение, в свою очередь усердно поддерживается и воспитывается в ней и извне, а потому совершенно естественно, что оно становится исходным пунктом всей жизни, краеугольным камнем всего общественного строя. И вот когда является перед ней человек, по всем внешним признакам стоящий выше ее, и утверждает то, что она сама всегда утверждала, она без дальних рассуждений отдает ему свои симпатии и в чаду бессознательного восторга изъявляет готовность итти всюду, куда ни поведет ее проходимец. Выделяются сонмища людей, которые не могут даже различить, на какой стороне находится их собственный интерес, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, внутри которой спокойно располагается лагерем анархия консерватизма, и за которую тщетно старается проникнуть ищущая и исследующая мысль. И — странное дело! — Несмотря на то, что в основании всех движений этих людей лежит одна бессознательность в слепом усердии своем они доходят по временам до озлобления *еще* горшего, нежели то, которое питает даже руководителей их.

Начинается бред наяву. Глупые люди с ужасом рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и *тому подобных* «бесчинствах», сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. *Толпа вздыхает и вместе с «авто-*

ритетом» мнит и себя поруганною, погибшею и посрамленною. «Кормильцы-то наши!», голосят уличные кумушки, взирая на краснощеких пройдох, которые только добреют да нагуливают жиру в борьбе с «анархией». Но потребуйте у любого из этих вздыхающих людей, чтобы он дал сколько-нибудь осмысленное определение предмета своих вздыханий, и вы тщетно будете ждать ответа. Добросовестные, заслышав вопрос, выпучат глаза; бессовестные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое, однако ж, этот «авторитет», об охранении которого так усердно хлопочет толпа, руководимая ловкими людьми? В сущности ответ на этот вопрос очень прост: «авторитет» есть тот жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек, и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития того и другого. У патагонца — один авторитет, у китайца — другой, у европейца — третий. В соответствии авторитета уровню развития заключается вся сила первого, вся его жизненная обязательность. С исчезновением этого условия идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Все это неопровержимо доказывается и этнографией, и историей. А так как в справедливости подобного свидетельства *усумниться* нет основания, то из этого само собой явствует, что понятие об «авторитете» есть понятие условное и зависимое и что мнение о незыблемости его есть мнение

по малой мере неподкрепленное никакими положительными доказательствами. Авторитет незыблем, покуда человек находит в нем для себя прочное руководящее начало, покуда грани им поставленные оказываются в меру человеческого роста; но как скоро сама жизнь затопляет эти грани, то очевидно, что она в то же время должна затопить и самое начало, поставившее их. Так, например, при низкой степени человеческого развития, авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присваивает себе все то, что может *приказать*, и против чего *ничего не поделаешь*. Опыт однако ж положительно доказывает нам, что человечество не без причины с таким упорным постоянством стремится к освобождению себя из-под ига грубой силы и в наше время едва ли даже найдется легкомысленный человек, который взялся бы защитить теоретически незыблемость подобного авторитета. *Точно также, конечно, никто не назовет незыблемым и множество других аворитетов, при помощи которых человек некогда разъяснял свои сомнения, но которые в сущности привели за собой лишь массу заблуждений.* История самым очевидным образом свидетельствует, что авторитет постепенно утрачивал свою первоначальную грубую форму и приобретал форму более тонкую и сложную, и что вообще во всех этих передвижениях, упразднениях и отрицаниях речь шла не об авторитете в смысле принципа, дающего жизни известную окраску, а об авторитете данном (имя рек). *Следовательно, ежели мы видим отдельного человека или целое общество, которые отрицают известный*

авторитет, то это совсем не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается на авторитет «имя рек». Собственно, говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть лишь перемещение авторитета из низшей сферы в высшую. *В чем же можно тут заподозрить подрыв? И может ли «авторитет» как принцип потерпеть от подобных перемещений?*

Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много вопиют мудрецы и руководители улицы, приобретается лишь тогда, когда приказательный характер авторитета заменяется характером естественно-обязательным. А эту-то именно замену и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присваивается название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочения; и не произвольно они возникают, по капризу той или другой горсти людей, а тогда когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтобы оградить мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном доверии к нему.

Но, могут возразить, почему же предполагают, что перемещение авторитета происходит непременно из низшей сферы в высшую? Почему не предположить движения обратного? Но в том-то и дело, что этого обратного движения по многим причинам даже и предположить никаким образом

невозможно. Во-первых, такого рода предположение совершенно неприменимо к тем людям, которых принято называть анархистами, и которые потому-то именно так и зовутся, что идут от понятий простых к понятиям сложным, недоступным толпе. Во-вторых, оно неприменимо даже и к тем ловким людям, которые в глубине души желали бы на неопределенное время приковать человеческую мысль к тем низменностям, где безраздельно царит авторитет силы. Конечно, они не прочь были бы спуститься в пространства еще более низменные, но, к счастью для человечества, история не возвращается назад и не затем поднимает завесу прошлого, чтобы рекомендовать его идеал будущим векам, но затем, чтобы засвидетельствовать, что идеалы эти окончательно исчерпали свое содержание и что вновь вызывать их к жизни нет никакой надобности.

Следовательно, повторяем опять, ежели перед нашими глазами в обществе происходит движение, стремящееся расширить арену человеческой индустрии и освободить ее от связывающих пут, то как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не имеем права видеть в нем ни анархии, ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся же от употребления «страшных слов», остережемся тем более, что хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его с словом «успех» и под предлогом упразднения «бесчинств», упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, о котором мечтают утописты (уж до

него ли нам!), а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый беспристрастно отнесется к условиям своей собственной жизни, и, конечно, он сознает, что она усеяна бесчисленным множеством идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа. Все эти стеснения не делают жизнь ни более удобною, ни более приятною, ни даже более соответствующей требованиям самой ограниченной морали: они просто производят только стеснение и всякий в глубине души давно согласен, что освободиться от них было бы отлично. Да по мере возможности исподтишка всякий и освобождается. А между тем они продолжают господствовать над жизнью, и даже люди, наиболее свободные от предрассудков находят себя вынужденными покоряться им. Почему? — а потому что существуют тьма тем глупцов, которым предание оставило в наследство только одну доктрину: что человек рожден для стеснения, и которые при малейшем прикосновении к этой доктрине кричат: анархия! — не понимая, что высшую и действительнейшую анархию составляет не проповедь освобождения, а проповедь стеснения.

Глупцов пугают страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» — одних этих слов достаточно, чтобы заставить любого глупца полезть на стену. Он не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не разрушивши старого. Он изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных общественных комбинаций и не

хочет верить, что в этих-то невольных союзах и комбинациях и кроется корень всех его недовольств, и что устранить эти недовольства нельзя иначе, как устранив причины, их породившие.

А между тем «ломать» — значит только ломать и ничего больше. Вредный или полезный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Всего более приходится слышать в этом смысле упреков в тех случаях, когда предмет ломки составляют давно установившиеся обычаи. «Ничего не пощадили! Даже...», вопиют ловкие люди, а за ними и уличные кумушки. Но как ни жалостны подобные вопли, справедливость требует сказать, что давность обычая еще не обусловливает его непогрешимости, а нередко зависит от целой сети дробных причин, почти неуловимых для невооруженного взгляда. Немаловажную роль здесь играют: леность, равнодушие, неуменье выйти из ложного положения, страх неизвестности. Поэтому, ежели ложность давнего обычая уже сознается и ежели при этом находится человек, который умеет формулировать это сознание, то этого человека следует называть не проповедником анархии, а ревнителем и устроителем человеческих судеб. Христианство сломило языческий мир — ужели тут было хоть что-нибудь похожее на анархию? Разрушенное на наших глазах крепостное право — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства, отмененный порядок приема простых писем на почте — все это анархия, анархия и анархия? Так умейте же, наконец, обобщать,

о люди, боящиеся страшных слов! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента гражданского ведомства дойдете и до других более сложных комбинаций, которые, несмотря на то, что носят другие названия (названия-то собственно и пугают вас), имеют сущность совершенно тождественную, и потому столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что отыскивание признаков анархии в таком движении живой мысли, которое стремится дать формам человеческого общежития устойчивость, обеспечивающую индивидуальное и общественное довольство, есть дело не только несправедливое теоретически, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в ее корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы нередко проходим мимо этого зрелища с полным равнодушием, как бы говоря этим, что так тому делу и следует быть. Но это свидетельствует только об известной степени притупления нашей восприимчивости, притупления, произведенного обыденностью зрелища, однако ж никто, спрошенный в упор, конечно, не будет столь бесстыден, чтобы объявить во всеуслышание, что хлеб, смешанный с лебедой, есть нормальная пища второго или третьего сорта людей. Так будемте же последовательны, милостивые государи, и не забудем, что лебеда и мякина существуют не в одной человеческой пище, но разлиты всюду. Что мы привыкли видеть эти вредные примеси, что зрелище их не потрясает нас

до глубины души — пусть так. Но когда дело доходит до правильной и хладнокровной их оценки, когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедой, мы поступаем, во-первых, бесчестно и, во-вторых, во вред самим себе, называя этих людей анархистами и предавая их на поругание толпе.

Посмотрим теперь, не справедливее ли применить слово «анархия» в совершенно обратном смысле, т. е. признать анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершенно и далее итти ему некуда. *Нет сомнения, что разрешение этого вопроса несравненно интереснее, нежели голословные и в сущности ничего неразъясняющие обвинения в посрамлениях, глумлениях, ломках и разрушениях.*

Прежде всего, взглянем на это дело с точки зрения теоретической.

Если б можно было представить себе, что общество — не говоря уже о современности, — хоть когда-нибудь в отдаленнои будущем получит право сказать себе, что все предстоявшие ему задачи сполна разрешены, тогда, конечно, возможно было бы допустить и осуществление так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», сказал один из лучших людей нашего времени (Пьер Леру De l'Humanité etc), *и хотя изречение это само по себе истинно, но истина в нем заключенная имеет смысл чисто иносказательный. Действительно, человек так устроен, что ему непременно хочется золотого века, и он во всяком признаке про-*

гресса видит его приближение. В этом смысле нынешняя, например, акцизная система может быть названа золотым веком относительно прежней откупной системы. Но все-таки это золотой век относительный, допускающий возможность бесконечного ряда других подобных же золотых веков и в том числе, например, продажи вина совсем безакцизной. Что же касается до золотого века абсолютного, до той минуты успокоения и духовного, и материального равновесия, когда человек найдет подлинное основание счесть себя опочившим от трудов и исканий, то предположение о таком порядке вещей не имеет за собой ничего верного и решительного. По крайней мере до сих пор творчество природы как и личное творчество человека представляется нам растяжимым до неизвестных пределов. Природа заключает в себе неистощимый родник материала, подлежащего исследованию и извлечению из недр неизвестности; человек в свою очередь заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая сумма сил природы не представляет еще для человека таинства? Кто может сказать, какая часть собственных сил и способностей человека вполне открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему и тот преемственный прирост новых племен и произведений, о котором так положительно свидетельствует наука, доказывает с полною очевидностью, что арена человеческих исследований не только не суживается, но постепенно все больше и больше расширяется. Завершится ли когда этот прирост

и что станется с нашей планетой, когда он завершится? Будет ли она свидетельницей общего блаженства, или, исчерпав все свое содержание, обветшает и погибнет? — обо всем этом можно только гадать, но для утвердительных ответов никаких данных представить нельзя.

Таким образом с точки зрения теоретической и отдаленного будущего, вопрос о всеобщем успокоении разрешается скорее отрицательно, нежели утвердительно. Что же можно сказать о разрешении того же вопроса в применении к современности?

Стоит только оглянуться кругом, чтобы понять, до какой степени велико самообольщение тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигнувшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! Сколько униженных и оскорбленных! Сколько поставленных судьбой вне пределов истории! Сколько одаренных природой и не знающих какое сделать употребление из этих даров! Сколько препятствий для проявления самых законнейших требований человеческого существа! И все это обделенное, оскорбленное, бродящее во тьме, не просто прозябает и бродит, но хоть инстинктивно, а понимает, что где-то брезжит свет, и что история не лишена примеров, свидетельствующих, что люди даже обделенные по временам достигали лучей этого света! Естественное ли дело, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрывало себя пеплом забвения? Естественно ли, чтоб люди, стремящиеся к свету, отвернулись от него, не употребив наперед всевозможных усилий, чтобы достигнуть его?

Пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести, пусть поставит он самого себя за пределы истории, и тогда, только тогда пускай ответит на этот вопрос.

Но ловкие люди и тут отыскивают лазейку. Мир совершенствований и открытий, говорят они, есть мир науки. Там вы можете вполне свободно исследовать, обобщать, делать какие хотите выводы (не совсем однако ж, господа, вспомните историю с «пагубным материализмом»), но не касайтесь самой жизни и тех исконных основ, на которых держится современность! Таким образом, отделяя мир науки от мира практики, ловкие люди предполагают застраховать последний от вторжений первого; или, говоря другими словами, они выражаются так: пусть науки идут вперед, как им угодно, а мы, люди насущного дела, останемся особняком, при прежних формах жизни!

Однако, эти люди ошибаются очень грубо.

Не говоря уже о том, что возведение перегородок между наукой и жизнью есть дело по самому своему существу бессмысленное, не имеющее разумной цели, нельзя упускать из вида, что в мире вообще нет ничего, что могло бы долгое время продержаться особняком. Насильственные попытки организовать подобное особничество насильственно же и кончаются. Несмотря на то, что уличная толпа с трудом усматривает связь между жизнью науки и ее собственною обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю так очевидно, что не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности пользуется плодами освобождения

от уз, которые приносит с собой наука. Он видит перед собой довольство сравнительно большее нежели то, которое видел столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных и ясных отношениях к силам природы, ощущает себя свободным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. Естественно ли, чтобы даже при самой сильной степени равнодушия он наконец не понял, что ключ ко всем тем неудобствам, которые подчас так сильно заставляли его страдать. совсем не так хитер, как это ему до тех пор казалось? А как только он поймет это, так сразу разорвутся старые мехи и в прах разлетятся все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. п. *.

*** Далее следовало первоначально, но затем зачеркнуто следующее:**

Все это до такой степени справедливо, что даже сама жизненная практика, несмотря на господствующую роль ловких людей, постепенно поступается целостью форм, завещанных преданием, дает место новым формам и элементам и узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом числились неимеющими рода и племени, и поступая таким образом жизненная практика вовсе не делает ничего необычайного, а только следует закону фаталистического самосовершенствования, заключающемуся в ней самой.

Спрашивается теперь, какое название всего справедливее применить к тем ловким людям, которые идут наперекор существеннейшему закону даже той туго поступающейся жизненной практики, которая соста-

Замечательно, что никогда анархисты мнимые, т. е. сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такою ужасающей бесповоротностью, с какой всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней,

вляет основу истории? Очевидно, что их то именно и следует назвать разрушителями, подрывателями, попирателями, анархистами, т. е. присвоить им те самые клички которые они так щедро расточают людям, совершенно непричастным никаким попраниям и разрушениям.

Да; это единственные разрушители, которых общество должно опасаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать, как на зачумленных, единственные мечтатели, никогда не могущие выбиться из пустоты. У них одних нет руководящих начал, на которые они могли бы опереться, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным ужасами неизвестности и тьмы.

Пусть говорят они, что и у них имеются свои идеалы, пусть называют себя консерваторами и охранителями общественного порядка—их идеалы, осужденные историей, могут привести за собой лишь пагубу и истощение общественных сил, а консерватизм их может быть выражен следующим характеристичным стихом:

Eteignons les lumières et allumons le feu.

И когда эти праздные и самолюбивые утописты, мечтающие повергнуть весь мир в оцепенение, одерживают благодаря горькой случайности верх в обществе, тогда-то, действительно, наступает постыднейшая из всех анархий, о которых когда ли (бо) свидетельствовала история

нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев парижской коммуны! Нет спасения от одичалого охранителя, да и не для чего искать его! Искать спасения — значит только обрести лишнее унижение, лишнюю подготовительную жестокость к жестокости последней, окончательно вырывающей жизнь! Ибо анархия успокоения изобретательна до утонченности в своих истязаниях. Она любит видеть судороги и тоску своей жертвы, и только когда натешится вдоволь зрелищем этих судорог, только тогда отсекает ненавистную ей голову.

Нет ничего отвратительнее, как зрелище торжествующей анархии консерватизма. Если бы о о представляло собой только голую травлю — как ни позорно такое явление, его можно бы еще снести. Ужасна игра, ужасно привлечение всего человека, не только публичного и политического, но и частного со всеми его, до него одного только относящимися слабостями и пристрастиями. Заподозривается например NN в анархических стремлениях — натурально, его обыскивают, арестуют (в Париже это нынче не редкость). При обыске ничего компрометирующего в политическом смысле не отыскивается, но взамен того отыскивается переписка любовного содержания. И вот под предлогом интересов общественного спокойствия, начинается выемка человеческой души. Что значит такое-то слово? Что скрывается под таким-то выражением? Анархист-выемщик сам очень хорошо понимает, что все слова, которые он читает, ничего больше не значат, кроме того, что заключает в себе пря-

мой их смысл, но он не останавливается перед этим соображением, ибо ему нужны судороги стоящей перед ним жертвы, нужна ее агония. Не добившись достаточного повода, чтобы вырвать жизнь у преследуемого, он обесчестит его, уязвит в самой дорогой его привязанности и только тогда прекратит свои истязания, когда увидит, что вся сумма гнусностей, которые были в его распоряжении, уже истощена.

И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, в которое в глубине души не верит ни один из одичалых, будь он даже самодовольнейший из всех утопистов в этой паскудной корпорации. Пусть же будет замечен этот факт, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к этому, что жертвами консервативной анархии являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что следовательно исчезновение их непосредственно посекает жатву будущего, то сила *и значение* этого факта сделается для нас еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются уличные утописты, наконец достигнуто — в чем же может заключаться сущность его? В том ли, что общество, действительно, придет к обладанию всеми теми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? В том ли, что не овладев еще счастием, оно хоть издали увидит мерцание его животворного луча? В том ли, наконец, что оно найдет себе

руководящую нить, которая приведет его к выходу из терзающих его колебаний?

Ничего подобного не даст это хваленое успокоение, ибо прежде всего оно не согласно с природой вещей. Достигнет ли человек счастья или не достигнет, всетаки оно впереди и, следовательно, для того, чтобы достигнуть его, надобно итти к нему, а не отворачиваться от него. Успокоение, в том смысле, как его пропагандируют революционеры-консерваторы — это прекращение жизненного процесса и ничего больше. Когда жизнь застывает, то люди близорукие или притворяющиеся таковыми уверяют, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и больше итти некуда. Но пусть они разуверятся, ибо в действительности не достигнуто ничего, кроме анархии, т. е. господства величайшего из насилий (можно ли назвать иначе, как насилием факт прекращения естественного течения жизни?), какое только может представить себе человеческий ум.

Обделенный не протестует; униженный не поднимает головы; поставленный вне пределов истории не высказывает поползновения прорваться за стоящую перед ним преграду. Все это правда, и по наружности кажется весьма успокоительным. Но то неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая.

Когда общество не предъявляет никаких требований, когда в нем не слышится внутренней работы разложения — можно сказать наверное, что это общество, доведенное до отчаяния и упершееся в глухую стену. Девиз такого общества: «не твое дело».

Можно ли придумать руководящее начало более анархическое, более противное человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не сомнителен, что даже поборники консервативной анархии начинают понимать, что невозможно серьезно убедить человек(а), что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался везде и в самых широких размерах, когда он резюмировал собою всю жизнь; но плоды этой бессмысленной сатурналии даже тогда оказались слишком горькими, так что в настоящее время нет даже идиота, который допускал бы применение этого принципа во всей его чистоте. Тем не менее отвергая девиз в его наготе, консервативная анархия отнюдь не отказалась от его сущности, а только дала ему другую форму, которая вполне сохранила весь его букет. Она разделила жизнь на две независимые друг от друга половины: дозволенную и недозволенную, и в первой заключила мелочи и подробности, то есть все то, что в действительности не дает никакого удовлетворения, во второй — главные основы жизни, — то есть все то, что, действительно, развязывает руки человеку и дает ему возможность сознавать себя человеком. Затем она сочла все требования уже удовлетворенными в чем и выдала самой себе похвальный

аттестат. Когда же ей доказывают, что девиз «не твое дело» все-таки не утратил своего первенствующего значения, она оскорбляется, перечисляет по пальцам все возможные обрывки и в заключение кричит: анархия!

А между тем в этом изобилии мелочей и подробностей именно и заключается анархия. Охваченный со всех сторон свитою миниатюрнейших интересов, человек теряет способность обобщения и принимает за действительное благо то, что в сущности составляет ничтожнейший атом его, не имеющий никакой силы благодаря уединенному положению, в котором он находится. Мелочи и подробности — это, конечно, не прямой и безусловный отказ, но это спекуляция на человеческое легкомыслие, что отказ, сопряженный с изворотом. Подробности сыплются пригоршнями, а жизнь не имеет ни широкого основания, ни великих целей и идеалов. И путается человек среди этого множества подробностей и дается диву, что вот он и то получил, и другое получил, а все ему неудобно, неловко, неспоро. Все он не знает, помилует ли его завтрашний день или не помилует.

II редакция.

ИТОГИ

V *

К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно принадлежит слово «анархия».

Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается-ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что Вы делаете? Разве Вы не видите, что там, на дне, таится анархия!». Углубляется-ли человек в самого себя—говорят, что он делает это не спроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самые скромные требования к жизни, — его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собой другие требования, а затем и анархию. Занятия науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою.

Был момент, когда чуть-ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии, когда только идиот да отъявленный жулик могли считать себя свободными от клички в роде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно

* См. первые четыре №№ «Отеч. Зап.» 1871 г.

было — это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго, дольше чем можно вместить (и однако ж мы вместили), и характер ее был тем жестче, что накануне она сама считала свое дело проигранным, и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне — ликование и скрежет зубов; на завтра тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! С воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Накануне, прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали: вперед! Под рукою они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего», говорили они, «что молодые люди увлекаются; наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших!». И, действительно, вспомнить пришлось не далее, как на завтра и так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени и как придется быть может вспомнить лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и т. д.

В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с такими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и едиными устами вопили: анархия!

Из провинциальных берлог приезжали дикого вида люди, чтоб крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа, а так как каждый прогрессист есть ни что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручней нежели запускать зубы в мякоть более или менее неизведанную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство все-таки извернулось и смело сбросивши взятые на прокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: анархия! Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой, лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

А между тем, стоит лишь пристально вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами слову анархия, и всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не подлежащих спору.

В самом деле, что такое «анархия» в глазах уличной толпы? Анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание истины новой, уровень

которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и матерьяльных условий жизни; анархия, наконец, это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия — это все то, что обусловливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку независимо от предания уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе, — все это признаки, которые по мнению уличной толпы неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории разумеет тот или другой учебник, изданный для руководства в семинариях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу истина, что умный человек не может быть не плутом). Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу

толпе. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящею средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. Но толпе эти истины дороги, потому, что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек не вполне разлученный с совестью понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведемо прибегать к обману, а потому останавливается перед таким предприятием. Напротив того, человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение — смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда собственно склонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И — странное дело! Несмотря на то, что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления

даже горшего нежели то, которое питает их руководителей.

Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных бесчинствах, сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя погибшею, поруганною и посрамленною. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтобы он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его воздыханий, и вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза, бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое в самом деле этот «авторитет», об охранении которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек, и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение; с исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о незыблемости авторитетов есть поня-

тие по малой мере спорное. Он незыблем покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни, но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани — ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития, авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присваивает себе все то, что может «приказать» и против чего «ничего не поделаешь». Кто же однако назовет подобный авторитет незыблемым? Можно ли назвать незыблемыми и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые в сущности привели за собой лишь массу заблуждений, как, напр., авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и т. д.

Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самой историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете в смысле принципа идет здесь речь, а об авторитете «имярек». Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только пе-

ремещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихий заменяется авторитетом физической силы, авторитет физической силы — авторитетом силы нравственной и духовной, — авторитет бессознательного подчинения природе — авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли «авторитет», как принцип, от подобных перемещений?

Напротив того, здесь то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопочут сторонники «авторитета», приобретается лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно-обязательным. Но, очевидно, что эта нравственно-обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвояется название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения, и не произвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтобы удержать мысль от колебаний, в которое повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода начала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй, но в сущности эта поддержка будет мнимая, и человек, который ре-

шится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего кроме тления и праха.

Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не в праве видеть в нем ни «анархию», ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить и самое развитие жизни! И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь и он увидит ее усеянною множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа, благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьмы тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда, наконец, избранные люди не доказывали, что спасение следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно, как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед:

анархия! Глупцов пугали страшные слова «ломать», «разрушать», «уничтожать». Этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устраением причин его породивших. «Ломать» — это ломать и ничего больше; вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искони был наполнен людьми, которые пугались страшных слов. А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что [нрз б.] ни одно не годно — те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломило языческий мир и утвердилось на его развале — ужели тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства — все это анархия, анархия, анархия? Нет, конечно, никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обоб-

щайте! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые в сущности столь же мало драгоценны нам, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которая стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастье, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически предопределенное положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к лучшему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищу, что оно нимало даже не смущает нас, но это свидетельствует только о нашем притуплении и нимало не обязательно для людей, более чутких к восприятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедою есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастья, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме.

Не справедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда

оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? — вот вопрос которого разрешение несравненно интереснее нежели голословные и в сущности ничего не разъясняющие обвинения в попраниях, глумлениях, ломках и разрушениях.

Если бы возможно было предположить, что общество, не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь — в отдаленном будущем получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого золотого века. «Золотой век не назади, а впереди нас», сказал один из лучших людей нашего времени и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это всетаки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий, человек с своей стороны заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обоб-

щающей силы. Кто может сказать какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? кто может сказать какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему и тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности, все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост и что станется с нашей планетой, когда он кончится? погибнет ли она или будет свидетельницей общего блаженства? — обо всем этом можно только гадать, но утвердительных ответов на эти вопросы дать нельзя.

«Но мир открытий — есть мир науки — никто и не мешает последней иметь с ними дела». Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однакож эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни как и в природе нет ничего, стоящего особняком и ежели мы и видали попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то, что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственной обыденной жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения

от уз, которые приносит о собой наука. Он пользуется сравнительно большим довольством, нежели столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели, благодаря его неразвитости, новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же наконец минута, когда старые меха разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, греками и т. д.

Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с большим правом можно предположить, что прогресс изменит характер (как он изменит его и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную), но что он будет продолжать свое действие — это кажется не должно подлежать сомнению. Тем менее права на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам, и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявлений этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка, но есть последствие условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества.

Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько людей до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории! сколько людей одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами! сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы человеческого существа! Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории.

Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступается целостью форм завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом — значит идти наперекор основным ее законам, значит быть нарушителем естественного ее хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.

Да, истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто

не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели при помощи горькой случайности одерживают в обществе верх, тогда, действительно, наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история. Замечательно, что никогда так называемые анархисты, т. е. сторонники прогресса, не действовали с такой ужасающей жестокостью, с какой всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев парижской коммуны! И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однакож, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто — в чем же заключается его сущность? в том-ли, что общество, действительно, придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастьем? в том-ли,

что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие его колебания? в том-ли, наконец, что не овладев еще счастьем, оно увидит мерцание его животворящего луча?

Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение; оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение — это прекращение жизненного процесса и ничего больше. Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется что все подлежавшее достижению достигнуто и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум.

Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы; поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности они нашли себе удовлетворение. Они всетаки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении.

Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто на просто гниет под игом бессознательности, или же бредет как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения; это общество у которого нет девиза, кроме одного: «не твое дело».

Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невозможно серьезно уверить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь, но это время принесло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но отвергая девиз в его наготе, мы тем не менее отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегородок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половинки: заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, т. е. всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает, в заповедной половине прячется все то, что, действительно, развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «не твое дело» нимало не утратил своего господствующего значения, мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим: анархия!

А анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами он находится под игом непрерывающегося обольщения, живет не действительною здоровою жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов, отовсюду

выглядывают жалкие обрывки, стоящие особняком, не соединенные между собой никакою связующей идеей.

Приписка сбоку карандашом на полях:

Запасшися крестьянин хлебом
Ест добры щи и пиво пьет...

Державин.

Осень во время осады Очакова.

РЕЦЕНЗИИ

НОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Г. П. Данилевского (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии»). Издание исправленное и дополненное А. Ф. Базунова. 2 тома. Спб. 1868.

Заглавие этой книги представляет факт самонадеянности, довольно редкой в нашей литературе, и, к сожалению, начинающей входить с некоторых пор в обычай. Было время, что самые талантливые наши писатели всегда очень скромно заявляли о себе публике; они не заискивали ее внимания напоминанием о прежних литературных подвигах, но ждали, что публика сама вспомнит об них. И. С. Тургенев, бесспорно, известнейший из ныне действующих повествователей, никогда не именовал себя ни автором «Записок Охотника», ни автором «Дворянского Гнезда», и за всем тем, публика знала и знает, что это тот самый Тургенев, который написал и «Записки Охотника», и «Дворянское Гнездо». Ныне являются авторы «Некуда», авторы «Марева», авторы «Беглых в Малороссии» и напоминаниями своими с первого же шага ставят публику втупик. Что такое «Беглые в Малороссии»? спрашивает себя публика, и следует ли читать «Новые сочинения Г. П. Данилевского» потому

только, что он, Скавронский, автор «Беглых в Малороссии»? Согласитесь, что для разрешения этих недоумений следовало бы, по малой мере, прилагать ко вновь издаваемым сочинениям неизвестных знаменитостей библиографические изыскания, которые бы свидетельствовали, что имя Скавронского не выдумка, и что «Беглые в Малороссии» действительно были когда-то где-то напечатаны.

К несчастью, в этом случае мы можем помочь нашим читателям очень мало. Нет сомнения, что со временем трудолюбивый наш библиограф, М. Н. Лонгинов, разъяснит вопрос о г. А. Скавронском во всей подробности и даже, быть может, отыщет могилу его; но мы об этом псевдониме знаем так немного, что должны относиться к г. Г. П. Данилевскому, как к писателю начинающему.

С сожалением должны мы сознаться, что этот молодой деятель вносит в нашу скромную литературу элемент совершенно новый — элемент легкомыслия, девизом которому служит известная присказка: «По щучьему веленью, по моему хотенью, стань передо мной, как лист перед травой». Приметив, что большинство наших романистов и повествователей в произведениях своих обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдаленный план, г. Данилевский решился поступить совершенно наоборот, т. е. начал писать романы и повести совсем без всякой мысли, с одною фабулой. Коли хотите, в этом могла бы

быть своя недурная сторона: на Руси еще так много праздношатающихся, что занять их досуги даже фабулой было бы далеко не бесполезно; но для того, чтобы такая цель была достигнута, необходимы, во-первых, сильное воображение, во-вторых, острая память, которая предостерегала бы автора от противоречий, в-третьих, умение распорядиться с материалом таким образом, чтобы фабула казалась сколько-нибудь правдоподобною. Впрочем, это последнее условие нужно только тогда, когда сам автор желает, чтобы на повествование его смотрели, как на правдоподобное; если же он заранее говорит: читатель! во всем, что ты имеешь прочитать, нет ни на грош правды! — то читатель и с этим мирится, и затем уже ожидает, что, взамен правды, его, по малой мере, попотчуют пребыванием во чреве крокодила и чудесным оттуда освобождением. [1]

Никаких подобных данных в таланте г. Данилевского не усматривается. Хотя и видно, что он всею душою желает сделаться родоначальником школы легкомыслия, но это ему удается лишь в малой степени. Это слабая попытка, быть может, имеющая принести в будущем сочные плоды — но и только; это, так сказать, первоначальная манера легкомыслия, которая, подобно манере старинных итальянских мастеров, может со временем произвести своих Рафаэлей, но покуда производит только живописцев суздальской школы. Да и дай бог нам дожить до этих Рафаэлей как можно позднее...

[1] Намек на повесть Достоевского «Крокодил» («Эпоха», 1865 г.), в которой издевательски осмеян Чернышевский

Воображение г. Данилевского не отличается ни силой полета, ни разнообразием и колоритностью картин. Нельзя сказать, чтоб фабула его романа «Новые места» была недостаточно сложна; но, вместе с тем, она страдает такою вялостью в рисовке картин, такою неясностью в изложении фактов, что критика самая добросовестная должна отказаться от попытки передать ее содержание. Как человек трудолюбивый, автор очень старательно нанизывает одно происшествие за другим, но из множества отдельных эпизодов, которыми обилует его рассказ, нет ни одного настолько занимательного, чтобы можно было вспомнить о нем даже немедленно по прочтении романа. Бог знает, чего тут нет: и степи, и суслики, и аисты, и исправники, и колонисты, и разбойники, и делатели фальшивых ассигнаций; но ни одному из этих элементов действия не отведено определенного места, все они до того сбиты и спутаны, что читатель не может даже дать себе отчета, суслики ли поймали фальшивых монетчиков, или наоборот, или же и тех и других накрыл деятельный исправник Капканчиков. Нет ничего томительнее, как присутствовать при процессе того тяжелого творчества, когда автор останавливается на каждом шагу в раздумьи, чем-то придется наполнить следующую страницу, и не лучше ли совсем бросить это дело, тем более, что тут нужна только решимость раньше против предположенного написать слово «конец». Именно такую картину раздумий и сомнений представляют «Новые места»; в романе этом великое множество лиц; но все они не оправдывают не только ожиданий читателя, но

даже собственного своего появления. Лица эти толкаются, делают вид, что о чем-то разговаривают и чем-то занимаются, но, в сущности, ни о чем не говорят и ничем не занимаются. Приходит на мысль, что автор взял завалявшиеся Куртнеровы диалоги и выписал из них избраннейшие места.

Острою памятью г. Данилевский тоже похвалиться не может; так, например, на стр. 12, говоря о земле, которую герой романа снимает в арендное содержание, автор называет ее целиной и вековиной, а на стр. 16 оказывается, что земля уже была до этого в двенадцатилетнем содержании и кого-то «кормила да рублевики ростила». Понятно, что писатель, который до такой степени неосторожен, что забывает, что он говорил за три-четыре страницы назад, не может внушить к себе ни малейшего доверия. Он может сколько ему угодно утверждать, что герой его брюнет, а читатель будет думать, что он блондин. Он будет твердить, что на Вареньке Чемодаровой женился колонист Чулков, а читатель останется при убеждении, что рукою этой милой женщины завладел злодей Музыкантов.

Отсюда третье, несовместимое с значением основателя школы свойство — неправдоподобие. Г. Данилевский до такой степени дурно распоряжается своим материалом, что позволяет своему герою в первый же год аренды получить с десятины пшеницы по 20, а с десятины льна по 30 рублей — «в очистку»! И заметьте, что арендная плата за подобную десятину всего полтинник, что в торгах на отдачу земли, кроме Чулкова (человека, занесенного в тот край со-

вершенно случайно), участвовали некоторые местные жители, что Чулков взял в аренду землю только весною, а осенью уже отсчитал себе в карман по 20—30 целковых с десятины в очистку! И все это без всякого труда, по одному щучьему веленью и авторскому хотенью! Есть ли тут тень какого-нибудь вероятия, и возможно ли без улыбки читать детские похождения этого нового Робинзона, этого белокурого брюнета, который владеет вековиною, двенадцать лет сряду паханною, и получает с нее без труда в самое короткое время более четырех тысяч процентов на рубль?

Столь же мало правдоподобен рассказ и о производстве торгов на эту знаменитую вековину. Во-первых, торги производятся в каком-то городке и в каком-то неизвестном «присутствии», тогда как казенные оброчные статьи, к которым принадлежит и упомянутая вековина, сдаются с торгов в «присутствии» весьма определенном, называемом палатою государственных имуществ. Во-вторых, на торгах этих происходят такие вещи, которые в самом беззаконном «присутствии» никогда не допускались и не допускаются по той простой причине, что в них не предстоит никакой надобности. Торгующиеся шепчутся друг с другом, делают друг другу предложения... и все это перед зерцалом и в глазах чиновников, производящих торг! Согласитесь, что как ни развязны наши чиновники, и как ни отзываются наши торги одною формальностью, но подобной нелепой и ненужной бесцеремонности положительно встретить нигде нельзя.

Ясно, что такое отсутствие качеств, столь

необходимых для литератора, пишущего без мысли, не может служить рекомендацией для произведений его. Их не заменит ни трудолюбие, ни развязность, хотя эта последняя, в соединении с другими упомянутыми выше свойствами, довольно драгоценна. Читатели не увлекутся автором, не поверят его сказаниям о легкой прибыли в четыре тысячи процентов на рубль и не потянутся вереницей с насиженных мест, с коих получается на рубль 4—6 процентов, на «новые места». Да и благо им будет; увлекись они г. Данилевским — бог знает, как бы еще взглянула на это дело полиция.

Во всяком случае, мы отменно рады, что попытка основать новую литературную школу легкомыслия на первый раз не обещает больших успехов.

ЗАСОРЕННЫЕ ДОРОГИ И С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ

Роман и рассказ соч. *А. Михайлова.* С.-Петербург. Издание В. Е. Генкеля. 1868 г.

Г. Михайлов начал свое литературное поприще в 1864 году романом «Гнилые болота». Гнилые болота — термин иносказательный: это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей, это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собою внешнюю, грубую силу, и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости. Нельзя, однако, не сознаться, что сравнение это было проведено автором довольно голословно, и что ни содержание романа, ни положение действующих в нем лиц нимало не указывали на то, в чем, собственно, заключается сущность жизненных «гнилых болот», и в чем выражается тлетворное их влияние на судьбу людей. Участники драмы, повидимому, живут очень спокойно, в весьма приличных квартирах, не терпят никаких ущербов, не искалечиваются, не обезображиваются, и все их отличие от других людей, живущих также в приличных квартирах, заключается в том, что они совершенно добродушно трак-

туют о том, что жизнь есть «гнилое болото», которое может и искалечить, и обезобразить, и нанести ущерб. Это обилие диалогов и крайняя бедность действительного, живого содержания сообщили роману г. Михайлова характер чего-то напускного, сочиненного с чужих слов. Самое название романа казалось несколько претенциозным и далеко не отвечающим действительному выполнению избранной автором задачи. Но так как, за всем тем, это было первое произведение молодого автора и в основании его лежала мысль несомненно честная, то оно было встречено публикой не только снисходительно, но даже с симпатией. Казалось, что тут есть начатки чего-то хорошего и серьезного, что если автор и страдает неясностью, то это происходит оттого, что, как все начинающие, он не может еще совладать с своим материалом, что он спешит поделиться с публикой *всеми* результатами своих размышлений и наблюдений, так как *все* они имеют в глазах его одинаковую важность и интерес.

С тех пор г. Михайлов написал довольно много, но все вновь написанное оказывается повторением «Гнилых болот» и, к сожалению, повторением довольно слабым. Сфера наблюдения нимало не расширилась, а тот горячий лиризм, который примирял читателя «Гнилых болот» с недостаточностью действительного содержания, утратил свою первоначальную свежесть и приобрел какие-то фальшивые тоны. Напускное, измышленное негодование попрежнему стоит на первом плане, даже темы для этого негодования намечены те же, но страстности мысли,

которая по временам проглядывала в «Гнилых болотах», не осталось почти и следа. Это, впрочем, всегда случается с авторами, которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни, так сказать, избранные стороны. Авторы эти очень скоро исчерпывают небольшой запас своих наблюдений, и, в конечном результате, если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать самим себе (разительнейший пример в этом смысле представляет г. Н. В. Успенский, который уже несколько лет сряду подвизается на печальном поприще подделки под самого себя).

Нет ничего тяжелее, как видеть людей, страдающих несознанными страданиями и обладающих способностью во всякое время заниматься разговорным негодованием. Мало того, что эти люди не могут определить свойство боли, на которую беспрерывно жалуются, они едва ли даже в состоянии указать на факт, производящий в них досаду или волнение. Это своего рода махание картонным мечом, это маневры чувствительности и благородства, в которых нет ни одного движения, не свидетельствующего о натяжке и выдумке. Слышится томное, наводящее тоску голошение, но даже самое привычное ухо едва ли сумеет различить в нем хоть одно внятное слово. Мир — гнилое болото; жизнь — засоренная дорога! — вопиют эти люди на все лады, и притом так самоуверенно, как будто и действительно это унылое голошение нечто определяет, как будто и впрямь они понимают и достоверно указать могут, где находятся эти гнилые болота, и в чем заключается суть засоренных дорог.

Нет никакого сомнения, что в том строе жизни, который представляется нашим глазам, насорено очень достаточно; но для того, чтобы иметь право негодовать на этот сор, необходимо, по малой мере, уметь назвать его по имени. Человек на каждом шагу чувствует себя связанным и опутанным по рукам и по ногам — это так; но он опутан совсем не тем, что миру присвоено остроумное название гнилого болота, а тем, что в этом гнилом болоте настроено великое множество всяких капищ, с которыми нельзя разминуться, и которые действительно наносят человеческой свободе немалый ущерб. Эти капища так явны и до такой степени у всех на виду, что даже не требуется особенно изнурительных умственных затрат, чтобы заприметить их. Тут необходимо только отнестись к делу просто и не зажмуривать преднамеренно глаза.

Но эта простота не понутру очень многим. Охотники до легкого труда справедливо рассуждают, что несравненно покойнее покончить с известным рядом явлений, отделавшись от него каким-нибудь общим местом, нежели анализировать и исследовать его. Как ни грубы явления, опутывающие человека в данный исторический момент, но для того, чтобы каждому из них указать свое место, все-таки необходимо употребить известную сумму труда. Но, кроме нежелания труда, тут не обходится и без хитрости. Известно, что человек, который ведет счет с жизнью и не запирается от нее, более подвергается всякого рода рискам, нежели какой-нибудь высокодобродетельный дармоед, который придумает меткое словцо, да и скроется в свою рако-

вину. Анализировать капища вещь не столько трудная, сколько опасная. С одной стороны, в них накоплено множество нечистот, которые прилипают; с другой стороны, и сзади, и с боков всегда лежит такой запас всякого хлама, что исследователь нередко останавливается в недоумении, отвергнуть ли капище безусловно, или только уяснить себе его значение в ряду других капищ. А так как, сверх того, прикосновение к живому материалу и само по себе уже имеет свойство смягчать слишком суровые взгляды на жизнь, — то нужно действовать очень осторожно и иметь очень твердую опору в самом себе, чтобы не запутаться и не попасть, незаметным образом, в общую засоренную колею. Ни одной из этих случайностей высокодобродетельный дармоед не подвергается, да и подвергаться не хочет. Как истинный дворянин-белоручка, он упорно отвращается от черной работы и ревниво блюдет, чтобы на одежде его не показалось какое-нибудь пятнышко, и чтобы право на беспрепятственное производство нетрудного негодовательного ремесла было обеспечено за ним на неопределенное время.

Таких заносчиво-гадливых дармоедов шатается по белу свету великое множество. В оправдание своей гадливости они говорят обыкновенно, что слишком близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею, сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения. В этом объяснении, как мы уже видели, конечно, есть известная доля правды, но рядом с этою правдою невольно рождается много вопросов, которые в значитель-

ной степени видоизменяют ее. Во-первых, если и действительно нами сознается, что жизненные дороги засорены, то ужели этого сомнения [сознания? — Ред.] достаточно, чтобы удовлетвориться им, и затем уже смотреть на сор, как на что-то фаталистически-присущее жизни и осужденное загромождать ее бессрочно? Во-вторых, ежели мы в общении с жизнью видим нечто несовместимое с чистотою наших убеждений, то какими же глазами мы взглянем на эту честную, бодрую, трудящуюся толпу, для которой подобное общение есть неизбежное условие всей жизни, и которая только при его посредстве может обеспечить себе скудный кусок хлеба? Ужели мы назовем этих тружеников людьми бесчестными или слабохарактерными? Ужели мы скажем им: сгибайся, бедствуй и умирай, но счетов с жизнью иметь не моги! В-третьих, наконец, ежели мысль наша и подлинно пришла к убеждению в негодности известных форм жизни, то для того ли только она убедилась, чтобы приобрести право на бессильные жалобы?

Такого-то рода суесловных героев, томящихся скукою праздности и вечно сбирающихся что-то накуралесить, но только не знающих, на что именно им обрушиться, изображает г. Михайлов в своих произведениях. Нет никакого сомнения, что тип этот не лишен ни оригинальности, ни современной жизненной правды, но, к сожалению, г. Михайлов относится к нему без малейшего признака объективности. Повидимому, он даже искренно сочувствует своим героям и признает их в этом качестве без всяких оговорок; и хотя каждого из этих крошечных злопыхателей

приличнее представить себе в образе халатника, раскладывающего гран-пасьянс, но автор очень серьезно заставляет их выходить с железом в руке и с бессилием в сердце, и повторять вместе с поэтом:

Я в мире боец! Я за правду *ору!*

Понятно, что эффект выходит поразительный, но едва ли не в обратном смысле...

Содержание романа «Засоренные дороги» так немногосложно, что его почти нельзя передать. Нельзя также сказать, чтобы роман был очень длинен, но странное явление иногда происходит в беллетристике: вещи очень длинные кажутся короткими, вещи несомненно короткие кажутся такими длинными, что читатель едва осиливает их до конца. Все это, конечно, зависит от того, в какой мере сознал или не сознал автор предстоящую ему задачу. Весьма неприятно нам сознаться, что впечатление, произведенное на нас «Засоренными дорогами», было именно впечатление последнего рода.

Действие открывается сборищем молодых людей, только что кончивших курс в университете. Каждый говорит о своих намерениях и надеждах, и говорит очень смутно и неопределенно. Это еще, конечно, небольшая беда: мечтательность и неопределенность стремлений не только свойственны юношескому возрасту, но даже сообщают ему известный симпатичный колорит; беда не в этом, а в том, что разговоры юных героев г. Михайлова до очевидности заражены пресным старческим доктринерством. Эти юноши не что иное, как несозревшие старички, в словах и действиях которых обнаруживается преждевременное

бессилие, нагота которого не прикрывается даже изобильным напускным пылом.

Они как будто во всем уже убедились и разделили мир перегородкой на две половины, из которых в одной стоят они, благонравные, умудрившиеся мальчики, и неукоснительно излагают только избраннейшие места из одобренных хрестоматий, а в другом — подлецы, тупоумные шалопаи и дармоеды, излагающие избраннейшие места из сочинений Баркова. Хорошо еще, что вторая половина мира всегда представляется в романах г. Михайлова отсутствующею, а то ведь очень может быть, что, поговоривши между собой, обе стороны равно убедили бы друг друга в несомненном своем дармоедстве. Слышатся остроумные выходки против *беложилетников;* высказывается мнение, что нет никакой привлекательности «в золоте и батисте щеголя, отнявшего этими украшениями законную долю у нищего». Все это говорится так, без всякого повода, все это выбрасывается из уст на распутие и оставляется там гнить, никем неподобранное. «Что же, виноват я, что ли», говорит один из этих неоперившихся перестарков, «что у меня желчь к горлу подступает (не слишком ли громко, милый молодой человек?), что я не могу балагурить и смотреть на жизнь шутя? Жизнь не шутка! Не шутка и то, что человек вперед знает, что он идет на гибель (?), на прозябание в каком-нибудь вороньем гнезде (?), где нет ни общественной жизни, ни порядочных людей, ни книг, где у него не будет даже средств выписать на свои деньги нужные книги, а кругом будут пьянствовать, кутить втянувшиеся в этот омут

субъекты, будут давить новичка, чтобы он не был лучше их, чтоб он пошел по их торной дорожке...».

Видите, этот юный птенец еще от земли не вырос, а уже чувствует, что у него подступает желчь (куда?); он никаких не изведал страданий, кроме тошноты, причиняемой безмерным курением табака, а уже громит во все лопатки, уже предсказывает себе, прекрасному молодому человеку, гибель... Да, все это так; все это хотя и книжно, но при известных условиях и в данном возрасте книжность не только простительна, но даже прилична и привлекательна. Это, так сказать, книжность естественная, вполне согласная со всею обстановкою жизни. Но г. Михайлов ухитрился этой книжности придать еще особенный книжный характер, и вышла у него книжность натянутая, ни при каких условиях жизни недопускаемая. И произошло это оттого, что автор сам видит в этой книжности нечто нормальное и весьма премудрое, а героев своих считает не зачатками героев, но героями настоящими и заправскими.

Показавши, с какими людьми мы должны иметь дело, автор переносит место действия в провинцию, в дом помещика Пащенко, куда приезжает брат его, один из кончивших курс студентов. Описание помещичьего быта очень любопытно. С тех пор, как И. С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами «дворянских гнезд», описывать эти гнезда «по Тургеневу» почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдающего одышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла

в угол хозяйку-помещицу, и подле них молодое. страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских дрязг. Затем, варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки, ночью же припустить соловья. Такими чертами описана жизнь помещика Константина Ивановича Пащенко, его жены Марьи Дмитриевны и сестры Кати, у которых поселяется «в мире боец» Иван Иваныч Пащенко. Само собой разумеется, что «в мире боец» сейчас же начинает задыхаться, а чтоб не задохнуться окончательно, принимается за реформы по части меньшей братии. Эта меньшая братия — просто клад, и ежели бы ее не было, то, право, не знаем, что делали бы наши проказливые «в мире бойцы». Но ежели справедлива пословица, гласящая, что «в мужицком брюхе долото сгниет», то не мешало бы подобную же пословицу сложить и насчет мужицкой спины. К ней всякий подходит свободно и всякий кладет на нее какую угодно реформу, как будто это не живая спина, а простой, покрытый сермягою стол. С такою же развязностью подходит к этой спине и «в мире боец» Иван Иваныч Пащенко, подходит без надобности, без убеждения, просто с одним ребяческим любопытством: попробую! Происходят трагикомические сцены, в которых слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. Мужики, разумеется, ничего не понимают; им дарят лес («лес — это слабая струна, это couleur locale [1] никогда не бывавших в деревне авторов), а они, вместо того, чтобы

[1] Дословный перевод: местный оттенок. Здесь употреблено в смысле: типично, характеризует.

употребить его на дело, пропивают; мало того, некоторые из них до того извольничались, что стали даже просить, чтоб их выпороли. Все это приводит реформатора в великое смущение. «Бывали дни», говорит автор, «или, лучше сказать, ночи, когда он сотни сотен раз ходил взад и вперед по своей комнате, волновался, сжимал руками пылающую голову, падал духом, решался отдать крестьянам зараз все и оставить их на произвол судьбы...». И ведь ни разу во время этих сотни сотен раз не пришло на мысль этому безмозглому с пылающей головой «в мире бойцу», что все это он выдумал, и что на порку не только мужик, но даже лошадь никогда добровольно согласия не изъявит.

Дни проходят за днями, и покуда Иван Иваныч Пащенко сжимает пылающую голову, к Катеньке подъезжает чиновник Благово и женится на ней. Этот Благово стоит по другую сторону перегородки, и потому он шалопай, дармоед и подлец. То есть, коли хотите, он совсем не шалопай, не дармоед и не подлец, а просто лицо без всяких качеств, но автор так настойчив в этом отношении, что не верить ему нельзя. Действие переносится в Петербург, куда вслед за Благовыми переезжает и «в мире боец» Пащенко, у которого в Петербурге есть невеста, хорошая девушка, не чуждая вопросу о женском труде, и потому стоящая по сю сторону перегородки. Благово намекает Кате, что она не дурно сделает, если подаст некоторые надежды его начальнику, графу Баумгрилле; это, разумеется, ее возмущает, и она убегает в семью брата. Там встречает она некоего Крючникова, другого

«в мире бойца», который оказывается еще тупее Пащенко, и ничего не ест и не пьет. Напрасно Катенька признается ему в любви, напрасно просит спасти ее — этот мрачный идиот, этот непоколебимый поборник либерального онанизма остается глух и непреклонен. Из-за чего? — а вот из-за чего: «из боязни, что недостанет куска хлеба, что этот кусок придется воровать у других людей, неповинных в том, что я вздумал потешить себя любовью, пороскошничать»! Можно ли быть менее вежливым, и в то же время менее сообразительным!

Кончается тем, что Катенька уезжает в деревню, а Крючников вдогонку, как бы нечто восчувствовав, пишет к ней письмо.

Вот и все. Мы неприхотливы и не избалованы богатством внешнего содержания в наших повестях и романах — да и бог с ним, с этим богатством внешнего содержания! Но самая простая азбука беллетристики требует, чтобы повествователь, по малой мере, объяснял внутренние побуждения, руководящие его героями. У г. Михайлова лица слоняются из угла в угол без всяких побуждений, даже без всякого внешнего повода: это просто пружинные куклы.

Мы знаем, что нам могут указать на благонамеренность автора, как на смягчающее обстоятельство. Мы нимало не сомневаемся в этой благонамеренности и даже уважаем ее, но не можем же смешивать это отличное качество с талантливостью, особливо после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умаляется.

А. БОЛЬШАКОВ

Роман в двух частях *И. Д. Кошкарова.* Спб. 1868 г.

Роман этот написан на тему: всякий человек обязан приносить посильную пользу обществу. Почтенный автор следующим образом развивает свою мысль: «не может, говорит он, добрая лошадь не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом; не может отказаться от пения соловей, побуждаемый к тому (?) любовию; не может здоровый юноша обратиться мгновенно в старца; не может также отказаться от добрых побуждений человек, широко обнимающий все сферы нашего общежития». Усомниться в непреложности этих истин едва ли возможно; но надо сказать правду, что и изобрести их не составляет особенного труда. Стол не может сделаться стулом, тарелка — ложкою, хомут — оглоблею, говядина не может превратиться в телятину — все это также бесспорные истины, но истины, так сказать, кучерские и кухонные, которых обращение в литературе может быть допущено лишь с крайнею умеренностью. Иначе мы получим столь легкую возможность сравнивать человека с тряпицей, уполовником, навозом и т. п., которая еще менее приведет нас к добру, нежели

сравнение общественного деятеля с лошадью, рвущеюся вперед под ударом кнута.

Как бы то ни было, но истина о здоровом юноше, не могущем мгновенно обратиться в старца, служит соединительным звеном между двумя существами, которые ждут только уяснить себе этот вопрос во всей подробности, чтобы навсегда соединиться узами любви. Кажется, как мало нужно, чтобы удовлетворить человека, и вот, однако ж, он целых 173 страницы мучится, чтобы доказать себе, что человек, не чуждый понятия об общей пользе, стоит, по малой мере, на такой же нравственной высоте, как и чумичка, разумно употребляемая разумною кухаркой. Он переписывается об этом, входит по этому поводу в бесконечные словопрения и мимоходом возвышается даже до таких истин, что мужчины ставят себя выше женщин только «вследствие счастливого случая, которому они обязаны своим появлением в свет в виде мальчика». Мало того: пользуясь своим появлением в свет в виде мальчика, он делается способным доказывать и другие, еще более глубокие истины, как, например: быть лишенным точки опоры — «это все равно, что переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед — тогда гибель неизбежна». И все эти истины, вместе взятые, как-то: «добрая лошадь не может не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом», «юноша не может сделаться старцем» и проч., все эти аллегории о появлении в свет в виде мальчика и о переходе через реку, на коей ломается лед (и зачем ходить?), не мешают, однако ж, открытию самой главной и оконча-

тельной истины, которая гласит, что в деле устройства крестьянского быта (уж на что, кажется, предмет общеполезнее?) необходимо: «отделить межою крестьянский надел, нанять хорошего сторожа, который днем и ночью будет охранять помещичью землю от потрав». Когда же крестьяне будут «неприятно удивлены такою находчивостью», и когда, сверх того, в их наделе не будет «места для попаса скота», тогда можно будет вступить и в переговоры с ними. Наверное они поймут, что «положение их весьма стеснительно», что «не иметь места для попаса скота», пожалуй, еще хуже, нежели «переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед», и что хотя они, крестьяне, тоже «обязаны своим появлением в свет в виде мальчиков», но, стало быть, есть такие положения, когда появление в свет даже в виде двухголового мальчика — и то помочь не может.

Что же может помочь? Какой «вид мальчика» принять, чтобы иметь в свете успех, и чтобы домогательства ваши не разбивались об какого-нибудь сторожа, который день и ночь что-то охраняет, а что именно охраняет — и сам не ведает. По нашему мнению, в этом случае может помочь только такой «вид мальчика», который с утра до вечера тянет нелепую канитель с полным убеждением, что это не канитель, а премудрость, и с уверенностью, что эта канитель изобретена именно им самим, а не найдена где-нибудь в будке.

Таких «видов мальчика» мы встречаем на свете целыми бесконечными бунтами. При постепенном распространении болезни, известной под

именем мыслебоязни, и при всеобщем стремлении обходиться посредством истин скотнодворских и кухонных, мудрецы становятся почти нипочем. Копейка за пару — вот настоящий prix fixe[1] им на Сенной и в Гостином дворе. Но замечательно, что по мере удаления от этих действительных центров, порождающих мудрецов, цена на них все более и более повышается. Стало быть, существуют такие улицы, где и копеечный мудрец (за пару) может очутиться «во пророцех». Но какая же цена этому пророку? — разумеется, пятак медный, и больше ни денежки.

[1] Твердый расценок.

ДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.

Отделы: I, II, III и IV. Д. с. с. *Григория Бланка* Спб. 1869.

Невнятное бормотание самоучек-философов столь же трудно доступно для чтения и понимания, как и любой трактат трансцендентальной философии. Если в последнем случае чтение затрудняется отвлеченностью содержания, требующей довольно сложной предварительной подготовки, сбивчивостью и необычностью терминологии, то в первом случае внимание читателя без всякой пользы задерживается сумятицей, господствующей в понятиях самого диссертанта, важностью тона, с которою он изрекает неслыханнейшие пустяки, и, наконец, совершенным презрением к каким бы то ни было синтаксическим и этимологическим приличиям. Вы видите человека, торопливо взбирающегося на кафедру; вот он насупил брови и, очевидно, нечто злоумышляет; жилы у него на лбу готовы лопнуть от натуги, ноздри раздуваются, губы трепещут; он то раскрывает уста, то смыкает их, и опять раскрывает... Вы удивлены и встревожены; вас даже несколько утомляет зрелище беспрерывно развевающегося и смыкающегося рта; но в то же

время вы непрочь допустить и то, что причина происходящих перед вами мучительных потуг имеет источником глубину и обширность соображений, обуревающих диссертанта. Ничуть не бывало. Он натуживается совсем не от того, что ему трудно вытащить свою мысль на свет божий, а от того, что у него совсем нет мысли и он в эту самую минуту ищет ее по всем извилинам своего мозгового вещества. Но вот он, наконец, на что-то набрел; впопыхах он не замечает, что находка его не только не имеет ничего схожего с мыслью, но что это даже не зародыш мысли, а просто выброшенная за негодностью тряпица, и спешит поделиться с публикой целым трактатом. Вы читаете, видите буквы, слова, останавливаетесь над каждой фразой, вдумываетесь — и все-таки ничего не понимаете. Вы, наконец, начинаете самого себя обвинять в тупости, в том, что ваша мысль не может стать на один уровень с мыслью писателя-самоучки. Успокойтесь. Вы не понимаете оттого, что тут нечего понимать, что тут либо подлежащее пропущено, либо сказуемое позабыто, либо на связку опущен чересчур непроницаемый покров таинственности.

Философ-самоучка всегда забирается высоко и для представлений самых низменных ищет гегелевских формул. Заберется-заберется куда-то далеко, да там и лопнет. Может быть, это оттого происходит, что являться в публику нараспашку с одними отставными мыслями, похожими на стоптанные башмаки, довольно зазорно; но в таком случае, кто же заставляет всенародно срамить себя, кто препятствует сидеть дома хоть совсем нагишем? Кто? Странный вопрос! Не

забудьте, что нет ничего самолюбивее умственной голытьбы, собственным умом дошедшей до каких-нибудь младенческих соображений, и что однажды она дошла до них, ей уже не терпится и не сидится на месте, покуда она не выложит на стол всех грошей, которые ей удалось скопить. Что нужды, что она ходит в стоптанных башмаках — ей кажется, что никто этого не заметит, и что ежели она кой-что подправит, кой-что подмажет, то и отставные мысли, пожалуй, сойдут за настоящие. И вот, с криком: с нами бог! она входит в самое святилище упраздненных мыслей, ищет там обрывков далекого школьного прошлого, припоминает их, перевирает и в конце концов произносит такую речь, которую не только логически, но и синтаксически разобрать ни под каким видом нельзя.

Заветная мысль г. действ. статск. сов. Григория Бланка известна давно всем, кто хоть поверхностно знаком с литературою по крестьянскому делу. Эта мысль может быть формулирована так: в России не было рабства, а было крепостное право, т. е. такое блаженное состояние, в котором помещик являлся и просветителем, и промыслителем, и защитником, и упразднение которого должно ввергнуть наше отечество в бездну революций. На долю помещика выпадали все заботы: он уплачивал за крестьян подати, он ставил рекрут, наряжал подводы, приходил на помощь крестьянам в неурожайные годы, разливал просвещение. устраивал крестьянские браки и т. д. На долю крестьян приходилось одно: блаженствовать и не грубить. Эту же самую мысль повторяет

г. Бланк и в ныне изданном им сочинении, в котором он предположил порядком-таки пожурить кой-кого за реформы последнего времени. Конечно, этой мысли вся цена грош, тем не менее она понятна и если изложить ее без синтаксических ошибок, то, пожалуй, может даже и сочувствователей себе найти в известных сферах. Но в том-то и беда, что г. действ. статск. сов. Григорий Бланк устыдился наготы этой мысли и, вместо того, чтобы совсем зачеркнуть ее, вступил в неравный бой с синтаксисом и грамматикой.

Неизвестно, для чего ему понадобилось подкрепить эту мысль какими-то общими философскими положениями. И вот он начинает свою речь ab ovo [1] и для пущей важности задает себе следующий вопрос: что такое закон? *Закон*, говорит он, *есть правило для руководства в известных обстоятельствах*. Представьте себе, что вы перечитали целые груды книг по части истории и философии права; с другой стороны, представьте себе, что вы не только ничего не читали, но даже никогда не думали о том, что обусловливает и направляет ваши шаги в жизни — вас одинаково и в том, и в другом случае поразит это определение своею неожиданностью. Вы будете над ним думать, думать и думать... Есть что-то такое в природе, о чем вам смутно припоминается, что вы где-то видели или читали, но где именно?.. Ах, да! наконец! «В сей лес за грибами ходить запрещается», «в сем месте мочиться не дозволяется», «сей книге цена рубль»... чорт возьми! Ведь все это законы! все это *пра-*

[1] С самого начала.

вила для руководства в известных обстоятельствах! Откуда пришли эти законы — не знаю; но знаю, что я читал их на досках и на обертках книг. И еще знаю, что г. Бланк заявил себя изрядным законодателем, назначивши два рубля за книгу, заключающую в себе меньше трехсот страниц.

Но г. действ. статс. сов. Григорий Бланк идет дальше; он спрашивает себя: как составляется закон? воображая, повидимому, что закон есть микстура, которую можно составить во всякое время. Ответ: «*Для составления закона должны быть известны все обстоятельства государства* в полной, истинной своей действительности и общей связи». Но это определение даже воспоминаний никаких не пробуждает, ибо его никто не читал ни на какой доске, ни в каких местах. Какие это «государственные обстоятельства»? Какая «истинная действительность»? И может ли быть действительность не истинная? К чему слова эти собраны вместе? Кому и о чем они дают какое-нибудь понятие? И главное, зачем все это было нужно, когда основная мысль сочинения: упразднение крепостного права есть начало революции — сама по себе так понятна, что ухищрениями можно только затемнить ее?

Но до сих пор мы видели г. Бланка в борьбе только с здравым смыслом; далее он уже вступает в борьбу с этимологией и синтаксисом и окончательно изнемогает в ней. Он смешивает «исполнительность» с «исполнимостью», он придумывает смешное слово «актальность». Мало того, рассуждая о том, что закон должен быть исполняем, он говорит: «Слабость исполнитель-

ности законов проявляться может со стороны жителей и правительственных органов; если дух законов правилен, благотворен и сообразен с обстоятельствами государства, то первое не бывает без последнего». И только. Где тут подлежащее? где сказуемое? откуда явилось «первое»? какой процесс предшествовал зарождению «второго»? Конечно, ни один смертный не измыслит ответа на эти вопросы.

Все это доказывает, однако ж, ту старую непререкаемую истину, что прежде, нежели писать трактаты, надобно твердо знать грамматику и не показывать слишком явного отвращения к правилам словосочинения. Трудно исчислить все блага, доставляемые твердым знакомством с синтаксисом, но между ними есть одно, которое бросается в глаза особенно ярко. Это благо — говорить и писать так, чтобы вас понимали. Если нам говорят: «закон есть правило для руководства в известных обстоятельствах», то мы, конечно, этого не понимаем, но не понимаем оттого только, что тут и понимать-то нечего; но когда нам говорят: «то первое не бывает без последнего», то это уже нас огорчает, ибо кто же знает? будь говорящий несколько более тверд в правилах синтаксиса, может быть, мы и невесть что услышали бы от него...

Еще одно слово: по поводу реформы г. действ. статс. сов. Григорий Бланк считает нелишним упомянуть и о покушении 4 апреля 1866 года.[1] Это сопоставление производит странное впечатление. Ужели и в самом деле г. Бланк думает,

[1] Речь идет о выстреле Каракозова в Александра II.

что между этими фактами существует какая-нибудь связь? Если же он не думает этого, то с какого повода, предположив говорить о реформах, давших жизнь нашему отечеству, он примешивает в свою речь воспоминание о происшествии, взволновавшем всю Россию? Нет ли тут желания намекнуть, что стремления, давшие начало реформам, суть те же самые, которые породили и происшествие 4 апреля? Если же нет, то к чему по поводу реформ, всеми и бесповоротно признанных за благодетельные, заводить речь о «пролетариате неразвитых масс» и о «пролетариате развитого меньшинства» и все в связи с 4 апреля? Воля ваша, а тут что-то не просто.

Мы думаем, что с подобными игривыми сопоставлениями пора бы и покончить.

В РАЗБРОД

Роман в двух частях *А. Михайлова.* Спб. 1870 г.

Жизнь самого обыкновенного смертного настолько сложна, что с трудом исчерпывается общими определениями. Если нам говорят, что такой-то человек добродетелен, а такой-то порочен, то это столь же мало знакомит нас с индивидуумом, о котором идет речь, как если бы нам сказали о прохожем, что он прохожий. Люди, относящиеся к жизни сознательно, никогда не довольствуются подобными определениями, и это вовсе не означает недоверия к лицу, прибегающему к ним, а означает только отвращение от всякого рода бездоказательности, из какого бы источника она ни выходила. С другой стороны, сами люди, делающие подобные определения, всегда чувствуют их недостаточность и идут несколько далее, т. е. вслед за определением стараются объяснить его примерами. И не только целая жизнь человека, т. е. вся совокупность его поступков, но каждый отдельный поступок имеет свою историю, с помощью которой можно убедительно доказать, что даже дикое самодурство имеет в своем основании известные законы, за пределы которых оно переступить не может. Этого мало: из уст человека не выходит ни одной фразы, которую нельзя было бы просле-

дить до той обстановки, из которой она вышла. Так, например, ежели человек говорит: «обещайте мне работать на пользу ближних, думать больше о других, чем о себе», и т. д. («Разброд», ч. 2, стр. 247), то слушающий эту фразу, если захочет, непременно найдет возможность восстановить тот жизненный процесс, который заставил ее произнести. Этот процесс окажется или нормальным, если фраза сказана искренно (хотя, впрочем, здесь дозволительно некоторое сомнение насчет ясности понятий человека, который ставит какую-то непроницаемую преграду между эгоизмом и любовью к ближнему), или ненормальным, если фраза сказалась ради одного хвастовства и вопреки общему типу убеждений человека. Но во всяком случае процесс существует и его необходимо объяснить себе, если хочешь понять действительный смысл фразы и убедиться, что она зародилась в человеке, а не где-нибудь в пустом пространстве.

Чтобы сделать нашу мысль более вразумительною, объясним ее примером. Повидимому, нет ничего легче, как рассказать день любого человека. Встал, умылся, занимался с отвращением или с увлечением, читал Дарвина или Аскоченского, обедал, после обеда спал или опять занимался, поехал в театр, оттуда в общество, в котором говорились умные или глупые речи. Но такого рода описание, как ни преисполнено оно будет всякого рода подробностей, не удовлетворит никого. Можно разнообразить его сколько угодно, можно ввести в него не только простое воровство, но воровство со взломом, не только простой либерализм, но либерализм со

ссылкою, куда Макар телят не гонял — и все-таки ничего из этого не выйдет. Потому не выйдет, что в жизни нет голых фактов, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории, которые можно было бы представить себе без всякого отношения к целому ряду других фактов, поступков и фраз. Это понимается всеми, и ценители самые обыкновенные относятся с недоверием к самым характерным подробностям, ежели они поставлены изолированно. Сознательно или бессознательно, но всякий чует, что за внешними, разбросанными признаками есть внутренний мир, который связывает поступки человека не одною наружною связью, но приурочивает их к известному типу, в котором и заключается разгадка того или другого поступка, той или другой подробности.

Все это делает роль лица, наблюдающего жизненные явления, и в особенности желающего поделиться своими наблюдениями с публикой, чрезвычайно трудною. В обыкновенных житейских сношениях суждения бездоказательные или не представляющие полного живого образа сплошь и рядом проходят мимо ушей и извиняются невозможностью исчерпать предмет в коротких чертах. Но в сфере литературы подобным извинениям нет места; тут опрометчивость, если даже она соединена с благонамеренностью, не может произвести никакого другого впечатления, кроме изумления. Читатель берется за книгу если не для того, чтобы поучаться, то во всяком случае для того, чтоб вынести из нее какое-нибудь общее впечатление; и ежели вместо сознательных мыслей и строго соображенных

образов он встречается только с бесплодной тавтологией слов, то это его огорчает. Чем полезнее мысль, чем благотворнее предполагается ее влияние на общество, тем тщательнее она должна быть разработана, потому что здесь неудача не просто обрывается на том или другом авторе, но распространяет свое действие и на самую идею. Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде.

Мы не сделаем никакой натяжки, если применим сказанное выше к новому произведению г. Михайлова. Несмотря на то, что мы в полной мере сочувствуем тем общим началам, которые лежат в основании литературной деятельности этого писателя, мы и теперь не отступаем от отзыва, который был дан нами по поводу романа «Засоренные дороги», вышедшего в прошлом году. По мнению нашему, г. Михайлов стоит на фальшивой дороге, на которой недостатки его с течением времени будут обрисовываться все ярче и ярче и в конце концов совершенно затемнят те достоинства, которые были обнаружены в первых произведениях его пера. Главнейшие из этих недостатков: голословность и чуждое ясности резонерство.

Г. Михайлов изображает в своих романах преимущественно так называемых «новых людей», которые и представляют у него казовый конец общества. Мы не имеем ничего против этого взгляда, а думаем вообще, что мысль представить в живых образах людей, которых идеалы сложились несколько иначе, нежели идеалы

людей сороковых годов, занимавших до сих пор всю ширину нашей беллетристической сцены, есть мысль, заслуживающая всякого сочувствия. Не можем скрыть, однако ж, что у г. Михайлова эти люди выходят как-то чересчур уж бледно, а поступки, или лучше слова их, напоминают скорее надерганные из новейших прописей изречения, нежели живые поступки и слова. Быть может, нам возразят, что типы, намечиваемые г. Михайловым, еще мало разработаны и трудно поддаются изучению. Стремления современного молодого поколения, скажут нам, обставлены слишком грозно, и авторитетное невежество, обзывая их общим наименованием «вредных идей», устраивает особую обстановку, которая делает доступ к ним почти непроницаемым. Предположим даже, что писатель вполне сознал сущность этих стремлений; ему остается преодолеть еще другую трудность, а именно найти живое слово для выражения их, и притом такое слово, которое не слишком бы шло против течения. Между прочим, ничто так ярко не характеризует того или другого направления, как так-называемые крайности его. Эти крайности полагают основание великому множеству разнообразнейших характеров, присутствие которых на арене искусства совершенно необходимо, если мы желаем получить действительную характеристику общества в данный момент. Представьте себе, что возможность выводить подобные характеры устранена, и вы получите разъяснение того факта, почему попытки изобразить типические лица из современного молодого поколения (вне сферы карикатуры и клеветы) почти всегда сопрово-

ждаются неудачей. Вот возражение, которое может быть сделано против слишком строгой оценки подобного рода попыток.

Несмотря, однако ж, на относительную вескость этих соображений, вполне согласиться с ними нельзя. Те самые трудности, которые существуют в настоящее время по отношению к людям современного молодого поколения, существовали в свое время и по отношению к людям сороковых годов. Тем не менее, мы имеем довольно богатую литературу, из которой можно с достаточною ясностью разгадать настроение, господствовавшее в той небольшой части тогдашнего русского общества, которая не без основания считала себя представительницею либеральных идей. Как ни ревниво ограждает себя большинство от вторжения так-называемых «вредных идей», оно не может замкнуться до такой степени, чтоб избежать столкновений, преемственное повторение которых образует борьбу, сначала глухую, но потом все более и более явственную. Скрыть смысл этой борьбы невозможно. Можно преследовать и карать известные личности, но нельзя преследовать целый строй идей, потому что против такого преследования восстанет сама жизнь, задача которой заключается в стремлении вперед, а не назад. Поэтому мы думаем, что какою бы непроницаемостью ни были прикрыты стремления, неприятные авторитетному большинству, публицистика и искусство все-таки имеют под руками достаточное разнообразие средств, чтобы сделать их понятными и доступными для пропаганды. Белинского и Добролюбова понимали все, хотя, конечно, они не менее были стес-

нены в выражении своих мыслей, нежели современные нам публицисты. Точно так же все понимали Крутовых, Бельтовых, Рудиных.

Возвращаясь к г. Михайлову, мы повторяем: при всем уважении к его либеральным намерениям, мы никак не можем признать удачными его попытки познакомить публику с типами «новых людей». Это даже не люди, а марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей, и в то же время остающиеся в совершенном неведении тех побуждений, которые двигают ими. Трудно понять, о чем они хлопочут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают. Иногда кажется, что в них есть сочувствие к классу обиженному и обделенному, но по зрелом размышлении нельзя не убедиться, что это только ярлык, наклеенный на них автором, и что деятельно сочувствие это ни в чем не выражается. И еще кажется, что в них есть отвращение к дурному и фальшивому, но в чем заключается это дурное и фальшивое— это опять остается загадкою. Далее общих определений автор не идет; далее поступков, в которых ничего нет, кроме несознанной затверженности, — не показывает. В этом смысле первые его произведения («Гнилые болота», «Жизнь Шупова»), несмотря на свою неясность, были несравненно привлекательнее. Это были просто лирические излияния довольно страстной натуры, тронутой известными шероховатостями жизни, и в особенности того ее отдела, который носит название воспитания. Все сказанное в этих произведениях было сказано горячо, хотя и не поражало особенной новизною; все недосказан-

ное было недосказано по праву, потому что и в жизни оно часто остается недосказанным. Энтузиазм, вера в будущее, горячий идеализм без определенных идеалов — вот материал, который доставляет питание героям первых опытов г. Михайлова. В позднейших сочинениях материал хотя остается тот же, но является уже значительно простывшим. Видится усилие сказать что-нибудь формулированное, и в то же время усилие это осложняется попытками на объективность. И что же? — новое слово, произносимое г. Михайловым, является не более как бесцветным общим местом, а претензия на объективность разрешается построением деревянных кукол.

Рассказать содержание нового романа г. Михайлова невозможно, потому что его нет. В романе около шестисот страниц, и нельзя даже утверждать, чтоб он не изобиловал внешними событиями, напротив того, их больше, чем нужно, но в том-то и дело, что все они кажутся совершенно излишними. Ни на одном автор не остановился, необходимости ни одного из них не доказал. Его манера ведения рассказа напоминает времяпрепровождение помещиков доброго старого времени: вот, слава богу, мы пообедали — что будем теперь делать? — теперь будем чай пить, и т. д. Странную и даже несколько мистическую мысль положил автор в основание своего романа, а именно: будто бы родители за грехи свои наказываются в детях. Но оставляя в стороне несостоятельность этого тезиса, и рассматривая роман просто как историю развития человека при каких бы то ни было условиях, мы не

найдем здесь ничего: ни условий, ни истории. Мы уже говорили однажды (по поводу «Засоренных дорог»), что автор делит человечество на две половины: добродетельную и порочную; эта же самая рутина господствует и в новом романе. Ни доказательств добродетели, ни достаточных указаний порочности не представляется. Как мухи мелькают герои романа, и как мухи же садятся в разброд на разные места без всяких видимых побуждений. И при этом автор заставляет их садиться и сниматься с мест с такою быстротой, которая заставляет предполагать, что этой быстротой он хочет восполнить недостаток внутреннего интереса. Выше мы указали на фразу: «обещайте мне работать на пользу ближних» и т. д. Кто говорит эту фразу? — ее говорит Наташа. Кто эта Наташа? — это Наташа, и больше ничего вы не добьетесь от автора в ответ. Это прохожий, — но кто этот прохожий, какое его миросозерцание и что он значит в общем круговороте жизни — это загадка, которую г. Михайлов и не старается разгадать. В романе его лица не создаются, а как-то невзначай родятся совсем готовыми, и с готовыми фразами на устах...

Еще одно слово: некоторые подробности слишком отзываются заимствованиями; так, например, сцена возвращения к мужу Зины напоминает сцену возвращения жены Лаврецкого в «Дворянском Гнезде». Это тоже не говорит в пользу самостоятельности автора.

НЕРОН

Трагедия в пяти действиях *Н. П. Жандра*. С.-Петербург, 1870

При появлении трагедии г. Жандра на подмостках Мариинского театра наши газетные рецензенты отнеслись к ней довольно неблагосклонно, а большие журналы даже ни одним словом не упомянули об этом произведении, как будто оно вовсе не появлялось. По нашему мнению, такое отношение критики к «Нерону» не вполне справедливо. Кажется, оно происходит оттого, что критика наша подходит к г. Жандру с меркою Шекспира, тогда как в этом случае совершенно достаточно мерки покойного Кукольника. Между Шекспиром и Кукольником есть довольно большой провал, наполнение которого от г. Жандра совершенно не зависит; но как продолжатель Кукольника, он исполнил свое дело весьма добросовестно и даже пошел несколько далее, ибо совокупил в своей трагедии шесть предумышленных убийств (Британник, Агриппина, Октавия, Сенека, Бурр, Поппея), одно самоубийство (сам Нерон) и один пожар, чего Кукольник ни разу сделать не решился.

По нашему мнению, самая мысль представить Нерона, при начале своего поприща, добрым и либеральным заслуживает величайшей похвалы.

Это черта, общая всем хищникам не только в Риме, но и в лесах южной Америки и пустынях Африки. Тигр, облюбовавший свою добычу и заранее уверенный в том, что она ни в каком случае не ускользнет от него, никогда, однако ж, не набрасывается сразу, но всегда как будто либеральничает, или, говоря другими словами, старается внушить к себе доверие. Что побуждает хищников поступать таким образом — это доселе тайна, в которую не успели проникнуть даже знаменитейшие исследователи природы, но можно догадываться, что это происходит оттого, что вообще в природе не существует живого организма, который был бы сплошь грубо-жесток, жесток до конца. Самый злой хищник — и тот инстинктивно как бы ищет оправдания своему хищничеству и вполне успокоивается лишь тогда, когда либеральными действиями доводит свою жертву до готовности, т. е. до такого состояния, когда она приходит к сознанию, что единственное для нее средство разминуться со стоящею перед ней особою формой либерализма — это быть ею проглоченною. Так Нерон и поступал: сперва либеральничал, потом глотал, убивал, жег, травил зверьми, разбойничал и не только не понимал, что он глотает, убивает и разбойничает, но даже, повидимому, был убежден, что либеральничает попрежнему. Повторяем, эта черта подмечена г. Жандром очень верно, и за это одно трагедия его заслуживает полного сочувствия.

Правда, конечно, что все остальное выполнено автором довольно слабо; что герои его действуют несколько легкомысленно; что они слишком зло-

употребляют своим правом говорить *в сторону*, и через это ставят зрителя в довольно фальшивое положение: верить или не верить словам действующего лица, которое столько раз уже, сказавши фразу, тут же сряду обращалось к зрителю и говорило *в сторону:* не верь! это я нарочно! Правда также, что Шекспир, например, никогда не сосредоточил бы шести драм (тут каждое убийство настолько сложно, что может и даже должно быть предметом отдельной драмы) в пределах пяти действий, потому что такое обилие драматических коллизий в данном случае препятствует надлежащему их развитию, а в конце концов образует не трагедию, а кашу, но и за всем тем мы упорствуем в своей мысли, что критика была слишком придирчива к г. Жандру и недостаточно приняла во внимание, что мерка, которою ей предстояло мерить, отнюдь не Шекспир, а только Кукольник.

Мы вполне уверены, что если бы поступок г. Жандра, состоящий в сочинении им трагедии под названием «Нерон», был признан подлежащим ведению общих судов, и если б почтенный автор сделал нам честь возложить на нас защиту своего дела, то оно, конечно, имело бы для него исход гораздо более благоприятный. Рецензенты поставили вопрос совершенно ошибочно и сбивчиво; они формулирвали его так: «виновен ли г. Жандр в том, что он, желая затмить славу Шекспира, сочинил трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», которую поставил на сцене в бенефис г. Нильского»? — и отвечали: да, виновен. Их положение было уже потому затруднительно, что тут явно смешаны два совер-

шенно разные обстоятельства: с одной стороны, г. Жандр действительно виновен, ибо действительно сочинил трагедию, называемую «Нерон», но, с другой стороны, зачем тут припутан Шекспир? В виду этих затруднений следовало просто отвечать: «нет, не виновен», хотя бы даже в этом ответе и была значительная доля несообразности; но все-таки пусть лучше десять виновных останутся ненаказанными, нежели один невинный понесет наказание незаслуженное. Обыкновенный суд, наверное, понял бы это и предложил бы присяжным заседателям не один, а три вопроса: 1) виновен ли г. Жандр в том, что, сочинив трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», представил оную, при содействии артиста императорских театров г. Нильского (это обстоятельство предполагается выяснившимся в продолжение судебных прений), на сцене Мариинского театра? 2) виновен ли он в том, что имел при этом поползновение затмить английского драматурга Шекспира? 3) если во втором преступлении невиновен, то не действовал ли в настоящем случае обвиняемый под влиянием российского драматурга Кукольника? Присяжные, с своей стороны, не удаляясь даже в комнату совещаний, объявили бы: на первый вопрос — да, виновен, но по обстоятельствам дела заслуживает снисхождения; на второй — нет, невиновен; на третий — да, под влиянием и по подстрекательству российского драматурга Кукольника. По выслушании этого вердикта, судьи, тоже не удаляясь в комнату совещаний, постановили бы следующий приговор:

Имея в виду:

Что г. Жандр присяжными заседателями признан виновным в сочинении трагедии в пяти действиях под названием «Нерон» и в постановке ее, при содействии артиста императорских театров Нильского, на сцене Мариинского театра; причем допущены для виновного смягчающие его вину обстоятельства.

Что вопрос о прикосновенности к сему делу Шекспира устранен присяжными заседателями безусловно.

Что хотя вопрос о подстрекательстве со стороны российского драматурга Кукольника присяжными заседателями разрешен утвердительно; но, с одной стороны, вышеописанного Кукольника, за сделанными розысками, нигде на жительстве не оказалось, а с другой стороны, он, Кукольник, обвинительным актом, утвержденным судебною палатой, даже суду не предан, —

Постановили:

1) Предоставить г. Жандру представлять сочиненную им трагедию в пяти действиях под названием «Нерон» на всех театрах Российской империи, с тем, однако же, чтобы окольные люди не были понуждаемы к смотрению ее.

2) Обстоятельства: об английском драматурге Шекспире, за устранением его присяжными заседателями, и о российском драматурге Кукольнике, за неразысканием его на жительстве и за непреданием суду, оставить без рассмотрения.

3) Обстоятельство о пособничестве артиста императорских театров г. Нильского, как небывшее в виду судебной палаты, а обнаружившееся

лишь во время судебных прений, передать прокурорскому надзору для возбуждения против г. Нильского преследования.

Таков был бы суд правый, скорый и милостивый. И защита, разумеется, не протестовала бы против него, хотя кассационных поводов тут найдется тьма-тьмущая.

НОВЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Роман *Д. Мордовцева*

Гораздо более г. Жандра виноват г. Мордовцев, и мы даже думаем, что никакой суд, даже самый скорый, не согласится оправдать его. Он виноват в том, что ввел читателя в заблуждение: обещал показать «новых русских людей», и мало того, что не исполнил своего обязательства, но вместо людей, по выражению Гоголя, показал одни «свиные рыла». Виновность автора до того ясна, что не требует даже судебного следствия, и весь вопрос заключается лишь в том: с предумышлением, или без предумышления совершено им упомянутое выше преступное действие? Или, говоря другими словами, был ли тип «нового русского человека» достаточно для него ясен, чтобы можно было предположить, что извращение допущено тут с заранее обдуманным намерением, или же этот тип был настолько же для него неясен, насколько, например, неясно для письмоносца содержание запечатанного письма, лежащего на дне его сумки?

По свойственному нам благодушию, мы отвечаем теперь же: «да, виновен, но без предумышления», и надеемся, что дальнейшее изложение обстоятельств подтвердит наш приговор без всякой отмены.

В одном месте своей книги г. Мордовцев приводит следующую характеристику «новых русских людей». «Шутя и смеясь», рассказывает он, «молодежь не говорит пошлостей и не делает их, а в самой шутке преследует идею труда и честности, говорит о науке, о русском деле». В другом месте, устами одного из своих героев, автор выражается так: «Труд — вот единственное спасение России. Будьте поденщиком, возите воду, разбивайте щебень на мостовой, и пр.... Если способны на что-нибудь лучшее, работайте над этим лучшим... Кто не работает, кто не приносит своего труда в общую экономию человечества — тот подлец, подлец, и нет ему другого имени... Прочь все принятое — это цепи, ошейник, тюрьма, лизанье руки, которая вас бьет. Выходите на свет божий, новые люди, с новым, честным словом, и пусть это слово принимают не старые меха, а... новые люди!»

Из этого видно, что стремления «новых людей», по мнению г. Мордовцева, обнимают следующие три задачи: самостоятельный труд, наука и освобождение жизни от искусственных условий, которые затрудняют правильное и естественное развитие ее. Очевидно, что человека, относящегося так симпатично к предмету своего исследования, невозможно заподозрить в злоумышлении против него.

И мы, конечно, не имели бы никакого препятствия к опубликованию этой декларации, если б почтенный автор ограничился лишь теми немногими строками, которые выписаны нами выше. Но тут-то именно и начинается преступное действие г. Мордовцева. Он решил, что

столь малого количества строк недостаточно для читателя, что они составляют только канву, а не дело; что следует сообщить ему несколько более вразумительности и на этот конец показать читателю живьем «нового русского человека», т. е. человека, действительно «не делающего пошлостей», действительно трудящегося, развивающего себя наукой и устраивающего свою жизнь по-новому. Решил—и пустился в путь; но, к сожалению, впопыхах не справился о том, где лежит страна, которую он собрался исследовать.

Результаты этой печальной поспешности сказались немедленно. На первых же порах автор с полною наивностью перемешал свойства и признаки ветхого «тургеневского» человека с свойствами и признаками искомого «нового» человека. «Шел в комнату — попал в другую». Он не понял, что между «новыми людьми» и кобенями Тургенева, занимающимися расковыриванием собственных болячек (эти кобени и до сих пор не утратили жизненной правды, но, конечно, сам автор не отнесет их к числу «новых людей»), нет ни одной точки соприкосновения; он забыл, что эти люди противоречат даже его собственной задаче, что это натуры больные, надломленные и изнуренные, а совсем не те здоровые, бодро трудящиеся и бодро переносящие невзгоды люди, которых он предположил изобразить. Мало того, он даже отвел «кривляющемуся человеку» гораздо более места, нежели новому типу, который затронут им лишь в конце романа, как бы мимоходом, и, как мы увидим далее, затронут столь же удачно, как и все остальное, к чему ни прикоснулось лишенное творчества перо его.

Кобенящиеся герои г. Мордовцева (Ломжинов, Тутнев и отчасти Туркин), несмотря на несомненную свою исковерканность, не имеют никакой подлинности. Подобно своим образцам, они неустанно предаются самооплеванию и самоизнурению, но делают это отчасти как бы во сне, отчасти же как бы рассказывая своими словами насвистанный кем-то урок. В первом случае читатель становится свидетелем какой-то беспутной репетиции любительского спектакля, в которой актеры как попало бродят по сцене и с трудом прочитывают роли по неразборчиво писанным тетрадкам; во втором — перед ним развивается утомительнейшая, расстраивающая нервы шаржа, в которой насвистанное перемешивается с чем-то собственным, или, лучше сказать, с чем-то отдающим запахом Гоголевского Петрушки. Велика исковерканность «Гамлета Щигровского уезда», но она не поражает читателя, во-первых, благодаря отношению к ней автора, умевшего в самой исковерканности отыскать человека, и, во-вторых, благодаря тому, что за этой исковерканностью виднеется целый предшествовавший ей жизненный процесс. Но взгляните на исковерканность Ломжинова (главное действующее лицо «Новых русских людей») — и вы изумитесь, до какой безнадежной наготы, до какого отсутствия всякого признака человечности может дойти творчество в воспроизведении того же самого явления, которое за минуту перед тем, под пером другого художника, возбуждало в вас не отвращение, а почти симпатию. Откуда явился этот человек? как он жил? где и каким образом получил право показывать

читателю свои болячки? какие это болячки? — Ничего этого не объясняется, а не объясняется потому, что, в сущности, ничего этого и нет. Это просто непомнящий родства бродяга, который бог-весть откуда приходит, называет себя «мерзавцем и сыроядцем», грудь свою именует «поганою», ребра — «свиниными», и, не довольствуясь пощечинами и подзатыльниками собственной фабрикации, привлекает к участию в этом любопытном процессе своего лакея Матвея.

«— Матвей!

«— Что угодно?

«— Дай мне пощечину.

«— Что вы, барин?

«— Дай, говорю тебе.

«— Помилуйте, как же это можно?

«— Бей!» и т. д.

Зачем понадобилась тут оплеуха? Является ли она, как возмездие за нравственную несостоятельность и негодность Ломжинова? — Нет, потому что тут не только несостоятельности, но даже поступков нет никаких. Или же автор прибегнул к ней, как к единственному средству, при посредстве которого представлялось возможным привести в себя этого странного «нового человека» с «поганою грудью» и «свиниными ребрами» и заставить его установить на чем-нибудь его разбегающуюся во все стороны мысль? — Опять-таки нет, потому что и после получения оплеухи Ломжинов нимало не исправляется и попрежнему продолжает надоедать читателю своим бессмысленным бормотанием. Таким образом, ни карательных, ни воспита-

тельных целей не достигнуто, и читателю остается объяснить этот факт только испорченностью вкуса, заставляющего человека предпочитать существование оплеушное — существованию безоплеушному.

Другой герой того же закала, Тутнев, додразнивается до того, что даже благомыслящая, но не вполне рассудительная, девица Елеонская только из учтивости не дает ему пощечины, а кротко замечает: «вы пустой и жалкий человек». Тем не менее, этот «пустой и жалкий человек» находит, однако ж, средство в самом непродолжительном времени не только оправдать себя перед девицей Елеонской, но даже внушить ей страсть. Каким образом совершается этот переворот, — автор, по обыкновению своему, не объясняет, и прямо рисует целый ряд ничем не мотивированных приапических[1] сцен самого неслыханного свойства. Тутнев «комкает» девицу в своих лапах, «трудится» над нею, «мнет ее девственное тело», а девица, вместо того, чтоб плюнуть негодяю в лицо, кричит ему: «раздави меня совсем, раздави, милый, милый!» И читатель не во сне видит эти омерзительные сцены, а читает их в печатном литературном произведении, в котором, по какому-то диковинному недоразумению, героям домов терпимости присвоивается кличка «новых русских людей».

Но автор, повидимому, сам чувствовал поразительную пошлость своих главных действующих лиц и потому в конце романа вывел на сцену несколько новых личностей с явным намерением

[1] Сальных.

хоть отчасти осуществить в них ту программу, которую он предварительно имел в виду. К сожалению, однако ж, и в этом случае хорошие намерения остались только хорошими намерениями, а в результате ничего, кроме самой безнадежной рутины, не вышло.

В нашей беллетристике относительно воспроизведения типа «нового русского человека» установилась в последнее время двоякая манера, смотря по тому, где тот или другой автор избирает место действия для своего измышления. Если «новый человек» орудует в провинции, то он обыкновенно начинает с того, что приезжает из Петербурга и тотчас же грубит родителям и доказывает им, что они ослы. Доказать он, разумеется, ничего не докажет, но непременно увлечет за собой маленького «братишку» и маленькую «сестренку», и тогда в этом злосчастном доме закипает нелепейшая из драм, какую только может измыслить праздное человеческое воображение. В первой главе петербургский гость говорит отцу, что он — осел, а матери, что она — содержанка; отец конфузится (ибо втайне понимает, что сын говорит правду), мать утирает слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главе петербургский гость опять повторяет отцу, что он — осел, а матери, что она — содержанка; братишка и сестренка вторят ему; отец конфузится, мать утирает слезы. В третьей главе сестренка фискалит петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится богу; петербургский гость говорит сестренке: «ты у меня, сестренка, славный малый!» И пушит мать на чем свет стоит: «вы бы лучше канаву копали,

а то только чужой хлеб едите!» В четвертой главе отец начинает поддаваться: «а ведь ты прав, мой друг, — говорит он, — я действительно не больше, как старый осел». И так далее, до тех пор, пока автору самому не надоест тянуть эту канитель. Тогда он пишет «конец» и отправляет свое произведение в типографию.

Вторая манера, т. е., когда место действия назначено в Петербурге, еще проще. Глава 1: «новый человек» сидит в кругу товарищей; бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем. «Работать! — вот назначение мыслящего человека на земле!» — говорит «новый человек», и сам ни с места. «Работать — вот назначение мыслящего человека на земле!» — отвечают все товарищи, каждый по-одиночке, и сами ни с места. Глава II: бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; «новый человек» сидит в кругу товарищей. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» — возглашает «новый человек», и сам опять-таки ни с места. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» — отвечают по-одиночке товарищи, и тоже ни с места. И так далее, до тех пор, пока автора не стошнит. Тогда — «конец», и рукопись в типографии.

Читатель прочитывает эти художественные воспроизведения неизвестного ему мира и положительно не верит ни одному слову. Да и нельзя верить, потому что немыслимо даже вообразить себе, чтобы существовало такое поколение, которое ничем бы другим не занималось, кроме раскладывания словесного гран-пасьянса. Хотя читатель и мало знает о «новых русских людях»,

но все-таки он кое-что слыхал об них. Он слыхал об увлечениях не книжных только, а действительных, о безвременно погубленных силах, о принесенных жертвах; он знает, что эти слухи не призрак, а суровая правда; поэтому он желает, чтоб ему объяснили, в чем заключаются эти действительные увлечения «нового человека», во имя чего приносятся им жертвы и как приносятся. А его, вместо того, потчуют каким-то беспутным гуляньем с филипповскими калачами, колбасой и бесконечным-бесконечным переливаньем из пустого в порожнее. Где же жертвы, где встреча молодого и страстного убеждения с самоуверенною и ни на что не дающею ответа действительностью? Или и в самом деле арена борьбы ограничивается стенами какого-нибудь домика на Петербургской стороне? Нет, это неверно уже по одному тому, что подобному заявлению противоречат факты, конкретность которых ни для кого не тайна.

По такому-то убогому и бессодержательному рецепту (манера № 2-й) нарисованы и «новые русские люди» г. Мордовцева. Великое множество лиц проходит перед глазами читателя, и все они кратко, но с невозмутимою назойливостью лгут на тему о необходимости труда. Каждый из этих призраков подойдет к читателю, покобенится перед ним, произнесет: «труд — вот единственное спасение» и т. д., и исчезнет куда-то без вести, чтобы дать место другому призраку, который точь-в-точь проделает ту же штуку, и тоже исчезнет в царстве теней. Но так как общие места имеют то свойство, что как их ни верти и сколько раз ни повторяй, они всегда

останутся только общими местами или рядом общих мест, то весьма естественно, что даже самый учтивый читатель, и тот спешит поскорее раскланяться с рекомендуемыми ему пристанодержателями пустопорожности и закрывает книгу, чтобы никогда не возвращаться к ней.

И, конечно, поступает весьма основательно.

СВОИМ ПУТЕМ

Роман в четырех частях *Л. А. Ожигиной*. Спб. 1870.

Что потребность найти «свой путь» и вступить на него твердой ногой сделалась настоятельнейшею потребностью современного русского общества и в особенности той его части, которую принято называть «молодым поколением», — в этом нет ничего поразительного или внезапного. Явление это не чье-либо произвольное изобретение, не плод чьей-либо личной фантазии или увлечения, а просто естественное следствие сокращения средств и путей для беспечального существования при помощи чужого содействия. «Станешь плясать, как жрать-то нечего», говорит не помним уж какая героиня г. Горбунова и говорит резонно, хотя вместо слово «плясать» ей следовало бы сказать: «думать и сознавать». Покуда разливанное море существует, покуда «под каждым листком готов и стол и дом», только люди очень развитые могут критически относиться к такому благодатному положению, простодушное же большинство принимает его бессознательно, не анализируя ни сущности факта, ни тех дурных влияний, которые он оказывает на весь общественный строй. Но с той минуты, как разливанные моря иссякают и на-

чинает делаться заметным, что число праздных мест за даровым столом несомненно сокращается, — тогда не только для избранных умов, но и вообще для каждого из членов безместного большинства является необходимость обратиться к самому себе, уяснить свое личное положение и точнее определить свои отношения к тем материальным и умственным источникам, при помощи которых можно было бы без страха взглянуть в глаза будущему. Работа этого уяснения очень сложная, и исходным пунктом ее, конечно, может быть только осмысленный анализ того «прежнего положения», которое еще так недавно металось в глаза, полное жизни, подкрепленное всевозможными аргументами теории и практики, и которое тем не менее сделалось отныне невозможным. Но, как и всегда, анализ приводит к открытиям, которых до того не имелось и в подозрении. Прежде всего, разумеется, обнаруживается самая несправедливая сущность господствовавшего факта, потом, мало-по-малу, выясняются и другие его провинности в отношении к общему жизненному распорядку. Оказывается, например, что все, к чему в свое время приводила старая тропа, уже взято и истощено; что все, что росло и цвело не только в конце ее, но и по сторонам, смято, вытоптано и уничтожено. Следовательно, ходить по этой тропе не только зазорно, но просто не зачем. И еще оказывается, что господствовавший факт делал несчастными не только тех, при содействии которых спалось, пилось и елось, но даже и тех, которые спали, пили и ели, не принося ни единого проявления своего творчества в сокровищницу общественной

производительности. Эти последние были лишены целой обширной категории нравственных наслаждений, доступных только тому, кто сам нечто создает или устраивает; они жили бессознательною жизнью, не ведая сами, что творят, и только по наружности были людьми, внутренно же не обладали ни одним из типических свойств, отличающих человека от зверя. Для современного человека подобное существование немыслимо; в его глазах нравственные наслаждения не только в равной степени необходимы, как и наслаждения материальные, но последние даже становятся как бы в зависимость от первых.

Такого рода открытия не могут иметь иного результата, кроме окончательного и безвозвратного осуждения. Но это все-таки только первая половина предпринятого уяснительного процесса; вторая половина его естественным образом должна будет сосредоточиться на определении отношений современного человека к будущему, на обеспечении этого будущего более разумным и соответственным человеческому достоинству путем. Этот путь один, и название ему — личный труд. Он один снимает с человека клеймо осуждения, один делает его ответственным перед своею совестью, один дает возможность жить не краснея. Чтобы получить в будущем не одно материальное, но и нравственное обеспечение, надо опереться на самого себя, надо воспитать свои силы и извлечь из них все, что они способны дать. Эта мысль выступает вперед, как самое естественное последствие обращения к прошлому. Сокращение возможности жить при чужом со-

действии, казавшееся с непривычки обидным, горьким и как бы произвольным, становится явлением вожделенным, естественным и исполненным правды. Идея о «своем пути», о свободном и самостоятельном труде, о сознательном отношении к природе и жизни делается достоянием не одних избранных натур, но общим, мирским. Она становится в ряды обыденных жизненных задач, не говорящих ни о подвиге, ни о заслуге, ни даже о порывах энтузиазма.

Мы искренно думаем, что современное русское общество уже дошло до сознательного отношения к этой идее, и что в этом, собственно, и заключается причина, почему на этом явлении и его логических отпрысках как бы исключительно сосредоточивается все внимание нашей литературы. Как публицисты, так и беллетристы, без различия партий, указывают на него, как на типическую черту времени, и разница заключается только в личном отношении того или другого литературного деятеля к этому знаменательному факту.

Существует целая литературная партия, которая в настойчивом искании «своего пути» усматривает не более, как блажь, легкомыслие и даже уродливость. Она не может отвернуться от факта, не может не признать его конкретности, но это дает ей только повод относиться к нему с ожесточением. Все наиболее существенные задачи, вытекшие из этой главной идеи, трактовались этой партией не иначе, как с точки зрения покушения на прочность и неприкосновенность коренных основ общества. Вопрос о распространении естествознания приурочи-

вался к вопросу о неверии, вопрос о положении в обществе женщины — к вопросу о вольном обращении. В сущности это единственная литературная партия, которая подлинно заслуживает наименования нигилистов. Не было той омерзительной картины, которую отказалась бы начертать рука благонамеренного нигилиста-литератора по поводу самой скромной попытки человеческой личности освободиться от ига бессознательности; не было той гнусной подробности, которая не ставилась бы на первый план, на которую не указывалось бы, как на самую суть всего дела. Упоенные минутным успехом, эти господа доходили до опьянения, смешивали понятия самые разнородные и ставили их одно на место другого; свет называли тьмою, знание — невежеством, труд — праздностью, сознательность — распущенностью, хвастовством и мальчишескою дерзостью. И что же? — как ни бойки были первоначальные успехи этой литературы, в результате оказалось, что это все-таки были только успехи скандала, скользнувшие по поверхности и никого ни в чем не убедившие. Никого: не только тех, над кем зубоскалили господа подлинные нигилисты, но и тех, на пользу которых они думали зубоскалить. Даже талантливость перестала подкупать, ибо какою-то странною уродливостью кажется совместное существование таких несовместимых элементов, как талант и упорный, слепой протест против всего, что знаменует действительный прогресс общества. Искание «своего пути» все-таки осталось насущною потребностью времени, так что люди иных привычек, иного склада, и те пришли к убеждению,

что ежели времена бессознательности и жуирования на чужой счет еще не канули в вечность окончательно, то обстоятельству этому нечего радоваться, но, напротив того, следует видеть в нем коренную причину всех зол и тревог, благодаря которым общество не может сделать ни одного твердого шага на пути прогресса.

Но, само собою разумеется, что ежели литература дала у себя приют нигилистическим отношениям к современному направлению общества, то она же должна была воспитать и иные отношения к тому же предмету. Да, эти отношения существуют, и мы уже нередко встречаемся с выражениями их в литературе, хотя, в художественном смысле, эти выражения и заставляют еще желать многого. Неуверенность, бедность замысла, отсутствие теней, неумение поставить действующие лица в положение борцов и стремление заменить борьбу декламацией, — вот капитальные недостатки той категории русской беллетристики, которую мы, в отличие от нигилистической, назовем положительною. Мы очень ясно сознаем эти недостатки, но и за всем тем не имеем никакого повода жаловаться на упадок нашей литературы. Главное сделано: найден путь, по которому должна идти литература, ежели хочет иметь в обществе значение действующей силы; остальное, т. е. форма, придет сама собою, и придет непременно.

Роман г-жи Ожигиной, заглавие которого выписано нами выше, принадлежит к числу произведений второй категории, и мы, не покрививши совестью, можем сказать, что он довольно выгодно выделяется из общей массы беллетри-

стического материала, с которым наши журналы познакомили публику в последнее время. Независимо от идеи, вполне верной и человечной, самое воспроизведение ее доказывает в авторе присутствие таланта несомненного, хотя, впрочем, и не весьма крупного. Задача романа — первые шаги девушки на поприще самовоспитания. Обстановка детства, пребывание в швейной мастерской, в модном пансионе и, наконец, в качестве гувернантки в диком помещичьем семействе, — все это дает автору случай вывести на сцену множество разнообразных типов и нарисовать большой ряд сцен, довольно верно и живо характеризующих среду. Правда, что все это набросано несколько небрежно, но есть один признак, который в глазах наших до известной степени искупает эту небрежность, — это отсутствие декламации, которая таким удручающим образом действует на читателя в произведениях других наших беллетристов той же категории. Героиня г-жи Ожигиной не топчется на одном месте, не надсаживает свою грудь криками во славу самостоятельного труда и на погибель тем, которые ставят ему преткновения, но действительно трудится и по мере сил своих дает отпор тем темным силам, которые посягают на самостоятельность ее труда. Арена, на которой действует эта героиня, не широка — это правда; результаты, которых она достигает, очень скромны, — и это опять-таки правда. Но кто же, положа руку на сердце, будет так смел, чтобы сказать, что арена более обширная может, при теперешнем положении нашей печати, уместиться в ней иначе, как в изображении благо-

намеренного нигилиста? Кто не затруднится утверждать, что наша жизнь когда-нибудь что-нибудь давала стучащимся в двери ее, кроме скудной подачки, которая способна только раздразнить голод алчущего, а не утолить его?

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Анатолия Брянчанинова. Москва. 1870 г.

Г. Брянчанинов писатель тоже начинающий, но, повидимому, решившийся стать совсем особняком в нашей литературе. Никакие «свои пути», никакие женские или вообще социальные вопросы его не занимают ни с какой стороны: ни с точки зрения глумления, ни с точки зрения панегиризма. Идея, которую он проводит в своих сочинениях, есть идея влюбленности. В одной повести кузен влюбляется в кузину; в другой — сосед помещик в свою соседку помещицу; в третьей — Вадим в Алину; в четвертой — агроном в экономку; в пятой — молодой посредник в одну из подведомственных ему помещиц, в шестой... но шестой повести мы, сознаемся откровенно, не читали. Если послушать г. Брянчанинова, то во всех российских градах и весях, под каждым кустом сидит прекрасная жена или дева и только ждет случая, чтобы учинить если не подлинное прелюбодеяние, то, по крайней мере, дать повод к помышлениям о нем. Самые неожиданные комбинации допускаются, чтобы провести эту мысль с успехом. Так, например, в повести «Три свидания» мысль о влюбленности сначала возникает в Екатерингофе, а потом вдруг разыгрывается на берегу речки Хвостовки.

В Екатерингофе казалось все конченным; влюбленные влюбились друг в друга, подвергли друг друга взаимным лобзаниям, потом встретили препятствие и разбежались в стороны. И вдруг оказывается, что на берегу реки Хвостовки под кустом сидит прекрасная женщина. Вид этой женщины вызывает наружу всю влюбленность от рождения влюбленного героя; он всматривается в прекрасную женщину и видит знакомые черты! Оказывается, что это та самая, екатерингофская. Какими судьбами! на берегу речки Хвостовки? ночью? — А так, мой друг, по щучьему веленью, по твоему хотенью! любил ты меня в Екатерингофе, так надо же попробовать, какова будет твоя любовь на берегу речки Хвостовки! вот и все.

Но образец всевозможных влюбленностей — это, конечно, влюбленность мирового посредника. Само собою разумеется, что это человек самый прекраснейший: воспитывался в артиллерийской академии, исполняет свои новые обязанности с примерным усердием, строг, но справедлив и т. д. О должности своей он выражается так: «нам выпала тяжелая и завидная доля перевоспитывать народ, приготовить из него гражданина (в единственном числе?), развивать зародыш великой будущности... Мы должны знать, что встретимся лицом к лицу с упорством, невежеством, безнравственностью — но если б не было борьбы, не было бы и заслуги!» Эти слова до того огорошивают подчиненную помещицу, что влюбленность начинает действовать в ней, так сказать, не выходя из присутствия. Но посредник до того занят делом перевоспитания на-

рода, что не сразу решается изъяснить помещице о своей взаимной влюбленности. Долгое время он проводит в разговорах о «разнице, которая существует между истинною любовью и капризом», о том, что любовь «есть влечение одной души к другой, слияние двух жизней, двух существований воедино, а не просто (грустно подумать!) стремление одного пола к другому!» Но, наконец, усматривается и для него минута досуга. Все дела переделаны; недоразумения улажены, мужики усмирены, уставные грамоты подписаны, гражданин приготовлен; ни необразованность, ни безнравственность, ни упорство — ничто не мешает влюбленности, ибо все уничтожено. Момент признания настал, и мировой посредник, конечно, не упускает его. «Я встретился», говорит он помещице, «с женщиной, которая, как водная пропасть, притягивает меня к себе, а я не имею настолько силы, чтобы бороться с нею, хотя вижу, что эта женщина так же холодна, так же равнодушна, как эта бездна!» И что же! — представьте, какой приятный сюрприз: оказывается, что женщина эта не только не имеет ничего общего с бездною, но давным-давно уж сидит под кустом и ждет не дождется, когда же, наконец, пройдет прекраснейший мировой посредник и сорвет цветок...

Мы не спрашиваем: *с кого они портреты пишут?* — в этом несносном разглагольствовании нет даже намека на какой-либо портрет — мы просто, по мере наших сил, протестуем против намерения автора уверить публику, будто каждая помещичья усадьба есть арена для влюбленности, и что под каждым кустом помещи-

чьего сада сидит женщина «поразительной красоты». Это положительно несогласно с истиной. Даже г. Тургенев, первый провозгласивший идею прекрасной помещицы, ожидающей под кустом прекрасного помещика, — и тот не подтвердит этого.

ДВОРЯНСТВО В РОССИИ ОТ НАЧАЛА XVIII ВЕКА ДО ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

А. Романовича-Славатинского, профессора государственного права в университете св. Владимира. С.-Петербург. 1870 г.

С давних пор у нас так повелось, что публичное обсуждение некоторых вопросов, близко касающихся нашей жизни, считается преждевременным. И именно тех вопросов, о которых говорить всего нужнее. Примеры этой осторожности мы видели на крестьянской и судебной реформах, на наших земских учреждениях. Самые влиятельные в обществе голоса в течение многих десятков лет твердили: «не время! не забегайте вперед! ждите с терпением!», как будто речь шла не о деле, близком каждому, а о какой-то личной причуде того или другого индивидуума, а пожалуй, даже и о заговоре против основ существующего порядка. И точно: литература ни одним словом не заявляла о своем участии в живых вопросах, касающихся страны, и разрешение их делалось известным публике лишь тогда, когда оно являлось уже совершившимся фактом. Но пользы от этого молчания не ощутилось никакой. Не говоря уже о том, что в самых разрешениях, достигнутых таким путем, могла

играть немаловажную роль случайность, неподготовленность общества оказывала еще более вредное влияние в те минуты, когда приходилось осуществлять эти разрешения на практике. Совершившийся факт приходил внезапно, и, конечно, вызывал в публике ощущения очень разнородные, но ни энтузиазм, ни враждебность, которые при этом проявлялись, не заключали в себе ничего действительно мотивированного и в большей части случаев свидетельствовали только о недоумении.

Справедливость сказанного выше будет еще яснее, если мы вспомним, что у нас очень нередко бывает, что даже самые лучшие намерения, которых выгоды, с точки зрения польз большинства, ясны, как день, при своем осуществлении всегда являются окруженными предварительными предосторожностями, свидетельствующими об опасениях очень серьезного свойства. Очевидно, что опасения эти непроизвольны и имеют в виду возможность таких толкований, которые в свою очередь потребуют исправлений и вразумлений; но очевидно также, что большая половина их уничтожилась бы сама собою, если б вопросы стояли открытыми с той минуты, когда они сами собой возникают в обществе, и если б общественное мнение имело возможность обсуждать их не урывками и не между строк (такого рода обсуждения всегда носят на себе характер раздражительности), но прямо и по существу. Человек неприготовленный действительно бывает склонен думать бог знает что о явлении, падающем, как снег на голову, но эта-то податливость к так-называемым превратным толкованиям, кажется, и

должна бы свидетельствовать, что стремление стеснить пределы литературного обсуждения тех или других жизненных вопросов может скорее вызвать вредные последствия, нежели предупредить их.

Очень возможно, что в числе причин, побуждавших набрасывать на некоторые явления покров заповедности (оговариваемся: с изданием закона 6-го апреля 1865 года область этой заповедности значительно сокращена), было и довольно распространенное у нас убеждение, что литература наша, по незрелости общественного мнения, которого она служит выразительницею, более наклонна к так-называемым бесплодным обличениям, нежели к правильной и спокойной разработке вопросов. Но причина эта, несмотря на свою кажущуюся справедливость, не имеет, однако ж, за собой той внутренней основательности, которую предполагают в ней. Во-первых, укор в преобладании обличительного элемента, обращаемый к нашей литературе, есть укор обоюдоострый, и вряд ли кто решится утверждать положительно, что чему предшествовало,— ограничение ли русской мысли преобладанию обличительного элемента, или наоборот. Мы, по крайней мере, думаем, что преобладание обличительного элемента выработано нашею литературой не свободно, а именно вследствие материальной невозможности относиться к великому множеству предметов с достаточною ясностью и определительностью. Во-вторых, если формы, к которым литература наша до сих пор прибегала для выражения своих воззрений на жизнь, были не вполне ясны и удовлетворительны, то не надо

забывать, что они, как и все носящее в себе задатки жизненности, подлежат развитию, и что развитие это начнется не ранее, как по получении более обильного и разнообразного внутреннего содержания. В-третьих, наконец, каковы бы ни были наши мнения о достоинствах и недостатках русской литературы, ограждения, которыми окружается тот или иной жизненный факт против неправильных суждений о нем, никогда не защитят его, а только набросят на него вящшую тень. Неустойчивое явление не перестанет быть неустойчивым оттого, что литература прикидывается игнорирующею его, а только поддастся наплыву самонадеянности и самодовольства, т. е. именно тех двух опаснейших элементов, которые служат к отверждению слабых сторон явления и к разрушению тех сторон, которые, при разумном развитии их (а такое развитие без контроля литературы едва ли даже мыслимо), могли бы сообщить ему действительную прочность и силу.

В числе вопросов, разъяснение которых наименее было доступно для нашей литературы, долгое время числился вопрос о русском дворянстве, как об одном из факторов нашей общественной и государственной жизни. Повидимому, причина этой заповедности заключается в тех несовершенствах, которыми страдала эта корпорация, и которых раскрытие полагалось преждевременным. Но эта-то мнимая преждевременность, кажется, всего больше и принесла дворянству вреда. Под сенью ее сословные несовершенства отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план. С самого начала парализованное табелью о ран-

гах, дворянство наше пошло путем пассивности и отчужденности от истинных интересов народной жизни и, наконец, высказало очень мало предусмотрительности относительно такого явления, как крепостное право, которое в действительности более связывало его, нежели доставляло выгод. Все это несовершенства очень капитальные, но остановить их развитие могло только свободное обсуждение всех фазисов того воспитательного процесса, через который прошло дворянство от самого основания его, в качестве особенного шляхетского сословия, и до наших дней. Постепенно накопляемые и потом соединенные в одном фокусе, подобные недостатки, конечно, могут поразить и возбудить подозрение в допущении предумышленного группирования фактов, но и с этим, кажется, полезнее было примириться, нежели успокоиться на одной подозрительности и затем предоставить дело своему собственному течению. Эти «собственные течения» очень опасны, ибо разрешаются преимущественно практикою, практика же хотя дает ответы всегда ясные и решительные, но всегда же имеющие характер внезапности. Будучи застигнуты врасплох, заинтересованные стороны ставятся друг к другу если не в совершенно враждебные отношения, то в отношения недоумения, которые на некоторое время прекращают правильный ход жизни. Все силы общества покидают стезю творчества и исключительно поглощаются устройством множества формальностей, имеющих чисто внешний характер. Начинается трудная и сложная работа обеспечений и регламентаций, т. е. та самая, которая не приносит

никаких других результатов, кроме раздражения. При помощи этого раздражения внешние формальности разрастаются до неслыханных размеров и часто даже заслоняют собой существенные цели. Очевидно, что все это не могло бы иметь места, ежели бы ответам практики предшествовали ответы, полученные с помощью литературно-теоретической разработки вопросов.

Книга г. Романовича-Славатинского, по поводу которой мы ведем речь, представляет первый опыт обстоятельного исследования о русском дворянстве, произведенного без преувеличений, но и без умолчаний. Очень возможно, что в глазах многих и теперь подобное сочинение кажется неуместным или преждевременным, но, сознаемся откровенно, мы ни разу не трепетали за будущие судьбы нашего дворянства, читая, в изложении г. Романовича-Славатинского, правдивое изложение его судеб прошлых. Упразднение крепостного права провело слишком резкую черту между прошлым и настоящим, чтобы дворянство само не сознавало, что предстоящие ему задачи совсем иного сорта, нежели те, которые оно преследовало (буде преследовало) в течение полуторавекового своего существования в качестве особого сословия. Если процесс развития нашего дворянства нельзя признать процессом органическим, а скорее идущим *применительно к пользам правительства*, то это, конечно, не свидетельствует в пользу его корпоративной самостоятельности, но зато оставляет неприкосновенными пользы правительства, которые, конечно, дороже интересов отдельного сословия, как бы ни было велико сочувствие, питаемое нами к нему. Вот

почему нас не приводит в негодование ни то, что Шлецер даже во времена Екатерины II, которая, как известно, считалась благодетельницей дворянства, писал в своих письмах из России (1781 г.): un gentilhomme n'est rien ici, [1] ни то, что в то же царствование Захар Зотов, бывший камердинер Потемкина, а потом самой императрицы, «мог пользоваться большими внешними знаками отличия, чем князья Голицины или Куракины, если только последние не служили и не имели чина», ни даже то, что того или другого дворянина и даже вельможу «снем рубашку секли». Все это история, читатель, и история, можно сказать, окончательно упразднившаяся с упразднением крепостного права, составлявшего самое существенное ее содержание. Какое ее отношение к будущему — это еще не выяснилось; это не выяснено и книгою г. Романовича-Славатинского, который сам называет свое сочинение только *кирпичами*, долженствующими послужить материалом для позднейших исследователей судеб русского дворянства.

Одно несомненно — это неизбежность будущего и его полнейшая зависимость не от того или другого прошлого, но от большей или меньшей свободы в обсуждении предстоящих задач. В этой последней истине нас достаточно убеждает прошлое, свидетельствующее, каким колебаниям подвергается жизнь, не контролируемая общественным мнением, несмотря на искусственные меры, предпринимаемые с целью устранения этих колебаний.

[1] Дворянин ни во что не ставится.

СЛИЯНИЕ СОСЛОВИЙ, ИЛИ ДВОРЯНСТВО, ДРУГИЕ СОСТОЯНИЯ И ЗЕМСТВО

Ответ гг. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову. С.-Петербург. 1870 г. Председателя приходского попечительства, члена земства, нового судебного состава и разных обществ, участвовавшего и в крестьянской реформе.

Брошюрка эта, неизвестного автора, выставляющего на вид свои почетные титулы и должности (вероятно, в доказательство, что при таком множестве должностей ни одной из них нельзя исполнить как бы следовало), появилась в продаже одновременно с книгой, только что нами разобранной. Составителя ее занимает тот же самый вопрос, который поднят и г. Романовичем-Славатинским, но только способы разработки, а следовательно и выводы, у того и другого автора совсем разные. Почтенному профессору, чтобы дойти до каких-либо, далеко не решительных еще, выводов, привелось долгое время рыться в целой поленнице книг Полного Собрания Законов и во множестве других, а скрывающий свою фамилию помещик только мельком заглянул в «Наказ» Екатерины II, да в книгу Machiavelli «Il Principe» [1] и тотчас же пришел

[1] Макиавелли. «Князь» (переводят и «Государь»).

к выводам самым решительным, не допускающим возражений, как, впрочем, и подобает помещику, исправляющему враз три или четыре важные должности, из которых каждая в отдельности в состоянии занять все время человека обыкновенного, не скрывающего своей фамилии. Впрочем, неизвестный помещик догадался придать своей брошюрке форму ответа или возражения на статьи гг. Аксакова, Кошелева и кн. Васильчикова, и это обстоятельство ему сильно помогло, потому что, по понятиям крупных землевладельцев, глаголы *возражать* и *распекать* имеют значение совершенно одинаковое.

Пользуясь благоприятным случаем, неизвестный помещик делает обширные выписки из статей распекаемых им авторов, занимает этими выписками страниц сто тощей брошюрки и прибавляет к выпискам строк по десяти своих собственных, которые, впрочем, сейчас же можно отличить от чужих по необыкновенно тяжелому слогу, а отчасти и по безграмотности. Чтобы познакомиться с общим характером возражений неизвестного помещика, достаточно привести несколько выписок из его книжицы. Г. Аксаков, например, проводит в своих статьях мысль, что в настоящее время дворянство, лишенное своих прежних привиллегий, лишено и гражданской жизни в России; на это помещик возражает: «нет, оно существует, оно живет, действует и стоит во главе всех легальных и доброполезных движений в государстве»... Далее следует выписка из статьи г. Аксакова, после которой помещено такое примечание г. помещика: «Что вы тут понимаете? Я ничего не понимаю!», тогда как каждому, кроме г. помещика, совершенно по-

нятно, что хотел сказать г. Аксаков (см. стр. 31). «В чем же я-то тут виноват, если вы ничего не понимаете?» — мог бы, в свою очередь, спросить г. Аксаков туго понимающего помещика. В другом месте своей брошюрки неизвестный автор начинает уже прямо *распекать* г. Аксакова, вкупе с г. Кошелевым, за то, что эти писатели осмелились намекнуть на необходимость *слияния* сословий. «Если это слияние, — пишет разгневавшийся автор, — должно вести к пресловутым равенству, свободе и братству, то, *кажется,* такой подогретый французский союз 1789 года, имевший непосредственным следствием разорение государства, *не входит в мысли гг. Кошелева и Аксакова,* да и не пригоден нам, русским». Вот мол, вам: съешьте!

Крепко достанется также и князю Васильчикову, вероятно, именно за то, «что он князь, а говорит такие вещи!». Кн. Васильчиков в своей книге «О самоуправлении» совершенно основательно говорит, что каждый земледелец непременно должен быть поземельным собственником; что он получает гражданство и признается обывателем только под тем условием, что принимает землю. После Положения 19 февраля подобную мысль, казалось бы, никак нельзя считать непозволительною, но помещик, который до сей поры руководствуется еще «Наказом» Екатерины, смотрит на это дело несколько иначе. По его мнению, цель и значение дворянства в том именно и заключается, чтобы оно, не имея ни малейшего понятия о том, как пашут и сеют, владело всеми землями в государстве, а те, которые пашут и сеют, нанимали бы землю по *вольной* цене. Чтобы отбить охоту у князя Васильчикова к не-

приличному при княжеском титуле либеральничанью, сердитый помещик начинает его распекать, или, как он сам думает, возражать на неправильную мысль. «Подобная запутанность выводов, — пишет помещик, — происходит от смешения понятий о собственности и пользовании. На подобной путанице идей *социалисты, коммунисты, сенсимонисты, прудонисты* и т. п. строят свои утопии»... «Конечно, не таково направление кн. Васильчикова, — снисходительно замечает расходившийся помещик, чтобы в конец не загубить князя, — но оно не без влияния на сознанную им самим смутность его собственных мыслей...» и т. п. (стр. 93).

Сделав всем, кому следовало, надлежащие внушения, этот, уволенный с 19-го февраля 1861 года, *полицеймейстер* прямо ссылается уже на авторитет любезного Макиавелли. Расходившемуся помещику никакого дела нет до того, что со времен Макиавелли много уже воды утекло; что с железными дорогами и телеграфами все условия изменились радикально; что и Италия стала уже совсем не такою, какой была прежде. Он не замечает даже, что и прислуги около него стало меньше, чем прежде, и обращение прислуги совсем уж иное, менее *деликатное*. Он все себе ходит взад-вперед по пустым покоям и твердит: «я вас всех в бараний рог согну!». Не замечает он, что и «Весть» куда-то исчезла с лица земли и что систематическое изложение теории, ею проповедуемой, в очень не отдаленном от нас будущем удастся только услыхать разве в окружных домах, воздвигаемых ныне для всех скорбящих.

ЗАПИСКИ Е. А. ХВОСТОВОЙ. 1812—1841

Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. СПБ. 1870

ПРОШЕДШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Из рассказов князя Ю. Н. Голицина. Спб. 1870.

С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка — наше прошлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени.

Мы, разумеется, не разделяем этого последнего мнения, а находим его слишком пессимистским. В рассказах о прошлом мы видим именно прошлое, а не памфлет на настоящее, и когда нам говорят, что пороки нашего времени имеют лишь несколько иную форму, отнюдь не закрывающую старого зерна, мы смело указываем на так-называемые отрадные факты, которые украшают нашу современность, и которых несомненно не было в прошедшем, и этими фактами разбиваем наших противников на-голову. Публика, с своей стороны, повидимому, тоже следует нашему взгляду, и, с жадностью читая факты, собираемые усердием

гг. Бартенева и Семевского, не ищет в них для себя поучений, а просто усматривает нечто в роде картинной галлереи, которая, постепенно развертываясь, представляет изумленному взору целый ряд чудаков (иногда даже более, нежели чудаков) — и ничего более. Об этих чудаках можно сказать: «свежо предание, а верится с трудом», и затем, посмеявшись над их проказами, успокоиться на новой книжке «Русской Старины», где отрекомендуют себя новые чудаки с новыми проказами.

Этот взгляд самый верный и, во всяком случае, самый спокойный. Если наше прошлое — не больше, как предание, то очевидно, что мы можем поставить под ним черту, и затем уже на все, что находится над чертой, смотреть как на отрезанный ломоть, который может служить предметом для любознательности, но которому нет никакого дела до настоящего. Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами» — предание; распоряжение о «неношении прихотливых причесок» — предание; изречение директора кадетского корпуса Клингера о том, что «русских надо менее учить, а более бить» («Записки Н. А. Титова» в «Русской Старине») — предание; факты, сгруппированные в книге г. Романовича-Славатинского (об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за 1870 г.) — предание. Мы можем смело оглядываться на все эти распоряжения, изречения и факты и, не отрицая в них некоторой дозы чудачества, относиться к ним, в полном смысле слова, sine ira et studio. [1]

[1] Без гнева и пристрастия.

На что негодовать, когда исчез самый объект негодования? Зачем возбуждать старые счеты, когда между нами и нашими предшественниками стоит черта, которая их защищает от обвинений в предумышлении, а нас освобождает от обвинений в солидарности? У нас есть «отрадные факты»; мы с них и начинаем нашу историю, а потому имеем полное право не только простить прошлому, но и забыть о трагической стороне некоторых «чудачеств», которых оно было свидетелем...

Не трагизмом, а юмором полны все эти предания. Так смотрит на них читающая и алчущая скандальных анекдотов публика, та самая публика, которая отрицает свою солидарность с этими анекдотами. Так смотрим и мы. Чем не юморист был, например, Степан Иванович Шешковский, который, в качестве начальника тайной экспедиции, всегда начинал допросы с того, «что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакают», и который, в то же время, был столь набожен, что «каждый день в обедню вынимали для него три просфоры?» Ведь те, которых он бил палкой в подбородок, давно уже спят в могилах, а те, до сведения которых, спустя восемьдесят лет, дошел этот анекдот, совершенно убеждены, что время Шешковских прошло, и что собственно их никто палкой в подбородок бить не решится. Стало быть, возмущаться и негодовать не из чего. Был чудак Шешковский, который бил палкой в подбородки; были и другие чудаки, которых били палкой в подбородок — все это юмор, возведенный на степень круговой по-

руки, и ничего больше. Но этого мало, что Шешковский был юморист; оказывается, что он вместе с тем был человек застенчивый и стыдливый. Когда Потемкин, в один из своих приемных дней, «спросил его при всех: много ли он персон из своих рук пересек?», то он «устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку» (см. статью г. Ефремова «Степан Иванович Шешковский» в «Русской Старине»). Очевидно, что тут было все: и битье, и набожность, и сечение и стыдливость — все, кроме сознательности. Более же всего было веселонравия, которое одним помогало сечь, а другим помогало быть сеченными.

Тем не менее существуют признаки, которые заставляют догадываться, что, несмотря на господствовавшее веселонравие, предшественникам нашим жилось не легко. Напротив, можно думать, что они изнемогали под гнетом скуки, и что, собственно, этот-то гнет и заставлял их по временами прибегать к тем проявлениям веселости, о которых сказано выше, и которые были единственно доступны их тогдашнему нравственному уровню. Если мы припомним, что наше общество более столетия оставалось при тех формах, которые выработаны были табелью о рангах, то должны будем сознаться, что у него не было особенных задатков для развития. Табель о рангах не только подтвердила общесословную рознь, но и в каждом отдельном сословии выделила множество подразделений, из которых каждое составляло своего рода замкнутое сословие. В виду этой бесконечной лестницы чинов, должностей и званий, конечно, не могло быть места

для личной инициативы, а ежели и являлась по временам на арену деятельности энергическая личность, пытавшаяся выбиться из замкнутой колеи, то ее или стирали, или она сама постепенно стиралась от соприкосновения с массою, запутавшеюся в сетях табели о рангах. Идея о ранге упразднила представление о пользах и нуждах общества и сосредоточила все помыслы на самом ранге и средствах достижения его. Общество не знало, что в нем самом происходит, не размышляло о прошлом, не загадывало вперед и постепенно до того утвердилось в этом незнании, неразмышлении и незагадывании, что в этих качествах увидело залоги своего благополучия. Спрашивается: какие могли быть у этого общества интересы? Что могло рассеять снедавшую его скуку? Что могло пробудить в нем работу мысли, жажду подвига, стремление к самоотверженности?

Но ежели масса общества только скучала, поправляя свою скуку взрывами веселонравного бездельничества, то отдельные личности не могли не чувствовать всей ненормальности подобного положения. Мы не говорим уже о личностях более крупных и развитых, как, например, Пушкин, Лермонтов, Белинский и много других, которых называть еще неудобно и которые протестовали безвременною своею гибелью, но были личности гораздо более сносливые, — и они прорывались, и не могли до конца оставаться в пределах смиренномудрия и кротости. Известно, например, что когда М. И. Глинка (композитор) отправлялся в последний раз за границу, то он послал родной стране энергический, но далеко не

лестный прощальный привет (желающих знать подробности отсылаем к запискам г. Шестаковой в «Русской Старине»), а между тем Глинка был человек до того кротчайший из кротчайших, что, читая недавно изданные его записки, можно подумать, что таков уж первородный грех, опутавший русских талантливых людей, что в них неразвитость не только не мешает талантливости, но даже служит для последней подспорьем. Мало того: даже Кукольник (horribile dictu!) [1] — и тот вопиял: бежать от них! бежать хоть на время! (см. там же).

Причина этого явления очень простая: для человека сколько-нибудь причастного к сознательной жизни не было впереди целей, а следовательно, не зачем было и жить. Какой может найти для себя исход энергия в таком обществе, которое приходящему говорит: «не твое дело»? Очевидно, что подобный ответ может родить только изумление или озлобление. А так как ни изумление, ни озлобление не могут без конца питать человеческое существование, то единственный исход — более или менее медленная агония. Цели реальные заменяются целями мнимыми и на достижение их истрачивается целая человеческая жизнь. Салонное злословие, сплетни и дрязги кружков, внешняя выдержка, любовные интриги — вот идеалы, которыми питается общество и перед которыми пригибаются даже энергические личности. И идет своим ходом эта общая агония, для большинства сопровождаемая бессознательностью, для меньшинства — вспышками

[1] Страшно сказать.

бессильного протеста, покуда не наступит час разложения. К счастью, однако ж, что по отношению к обществам момент разложения не равнозначащ смерти...

Такой исход окажется еще более поразительным, если мы примем в соображение, что наше прошлое было не лишено своего рода светлых точек, или «опытов», которые, будучи взяты в отдельности, могли удовлетворять даже требовательных людей. В этих опытах было довольно такого, что, по известному техническому выражению, на сей предмет специально изобретенному, «бросалось в нос» даже иностранцам и заставляло их восклицать: „c'est du Nord que nous vient la lumière!"[1] Но, к великому удивлению, и эти светлые точки все-таки никого не удовлетворили, а главное, не оказали воспитательного влияния на общество. Причину этого неуспеха объяснить тоже нетрудно. В общественном смысле опыт всегда остается только опытом, если он не находится в тесной связи с целой системой. Можно дать стране целый ряд прекраснейших учреждений, написать довольное количество полезнейших уставов, но ежели они явятся особняком, без ясного отношения к общему строю жизни, то можно заранее быть уверенным, что они родятся, проживут и умрут никем незамеченными и не окажут творческого влияния на жизнь. Главным опытом, в общественном смысле, все-таки был, есть и будет опыт свободного отношения заинтересованных лиц ко всем последующим, частным опытам. Ежели этого главного опыта нет, то

[1] «С Севера свет!».

в основании самой «опытной» деятельности будет лежать все то же «не твое дело», какое лежит и в основании деятельности «безъопытной», и грубо ошибаются те, которые думают, что совокупность разрозненных «опытов» может произвести что-нибудь, кроме смешения.

К счастью, эта последняя истина ныне сознана всеми, и мы, благополучные сыны 2-й половины XIX века, переживающие столько блестящих и коренных реформ, призывающих народные силы к деятельному участию в жизни, — мы можем относиться к нашему опытному и безъопытному прошлому, как к действительно минувшему и не имеющему никаких шансов на повторение в будущем.

Перед нами две книги, восстановляющие именно то недавнее прошлое, о котором мы повели речь, и восстановляющие его далеко не в привлекательном виде. В обеих, хотя и в неравной силе изобразительности, мы встречаем картины дикости и отупения; в обеих видим людей, изнемогающих под гнетом скуки, от которого они могут освободиться только посредством проявления самого неслыханного самодурства. И что всего важнее, все эти картины и рассказы живописуют именно высшее русское общество, в котором, по всем данным, должна была сосредоточиваться наша интеллигенция.

«Записки Е. А. Хвостовой», сами по себе, впрочем, довольно бледные, имеют специальный интерес, так как в них передается довольно много подробностей из интимной жизни М. Ю. Лермонтова. Интерес этот еще более усиливается вследствие того, что издателем, по поводу этих

«Записок», собрано некоторое количество матériалов (напечатанных в приложении к книге), относящихся к биографии знаменитого поэта. Из всех этих материалов читатель, однако ж, едва ли будет в состоянии воспроизвести образ того Лермонтова, который мелькал ему в создателе «Героя нашего времени», «Мцыри», «Сказки для детей» и других произведений, свидетельствующих о внутренней энергии и силе. Судя по рассказам близких к Лермонтову людей, можно заключить, что это был человек, увлекавшийся так-называемым светским обществом, любивший женщин и довольно бесцеремонно с ними обращавшийся, наживший себе злословием множество врагов в той самой среде, над которой он ядовито издевался, и с которою, однако ж, не имел решимости покончить, и, наконец, умерший жертвою своей страсти к вымучиванию и мистифицированию людей, которых духовный уровень (так, по крайней мере, можно подумать по наивному тону рассказчиков) был ниже лермонтовского только потому, что они были менее талантливы и не отличались особенно ядовитым остроумием. Одним словом, материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела. Но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвел Лермонтова-художника — материалы даже не упоминают. Известно, что Лермонтов был постоянным участником одного из лучших журналов своего времени, которого душою был Белинский (в эпоху наибольшей зрелости своего таланта он *исклю-*

чительно печатался в этом журнале, и делал это, конечно, не по легкомыслию) — отчего же вся связь его с Белинским ограничивалась тем, что Белинский не раз пробовал завести с ним серьезный разговор, а «Лермонтов всякий раз отделывался шуткой»? Известно также, что в начале сороковых годов в Петербурге началось хотя смутное, но все-таки очень хорошее умственное движение — почему же Лермонтов не участвовал лично в этом движении, а предпочел ему сплетни и дрязги великосветского общества? Что не боязнь жертв удерживала его — в том убеждают нас те жертвы, которые были им принесены на алтарь того общества, над которым он сам же постоянно глумился. Не было ли тут какой-нибудь китайской стены, которая отделяла поэта от мыслящей среды и держала его в плену между людьми маломысленными, которые были сподручнее потому, что над ними можно было удобно упражнять остроумие? Повторяем: на все эти вопросы книга, изданная г. Семевским, не дает никакого ответа, так что процесс, посредством которого мысли поистине человеческие нередко проникают в сосуд скудельный, остается, и по прочтении изданных ныне материалов, неразгаданною тайной. Поэтому главным материалом для биографии Лермонтова и теперь остаются исключительно его произведения. Это понял немецкий переводчик Лермонтова, Боденштедт, и издатель «Записок» поступил очень разумно, приведя, в числе материалов, мнение этого последнего о нашем поэте (точно так же, как совершенно неосновательно поступил, напечатав «Заметку» г. Лонгинова, заключающуюся в том,

что в 1836 г. в Коломне, за Никольским мостом, в доме Арсеньева, на святой неделе, Лермонтов прочитал г. Лонгинову несколько стихов из драмы «Маскарад»). Хотя это мнение и не выясняет нам всего Лермонтова, но оно указывает, с какими требованиями следует приступать к характеристике этой личности. Вот один отрывок из статьи Боденштедта:

«Произнося суд над умом, выходящим из ряда обыкновенных, следует брать мерилом не то, что в нем есть общего с толпою, которая стоит ниже его, а то, что отличает его от этой толпы и возвышает над нею. Недостатки Лермонтова были недостатками всего светского молодого поколения в России; но достоинств его не было ни у кого. Вернейшее изображение его личности все-таки останется нам в его произведениях, где он высказывается вполне таким, каким был»...

Как прием для охарактеризования замечательных личностей, это мнение весьма верно, и можно только пожалеть, что Боденштедт не настолько был близок к Лермонтову, чтобы рассказать нам внутреннюю жизнь поэта, не ограничиваясь тесною сферой пожиманий и целований ручек, дуэлей, острословия и пр.

Что же касается до «Записок» кн. Голицина, то содержание их известно уже читателям нашего журнала, так как изданные ныне отрывки были напечатаны в «Отеч. Записках» 1869 г. Здесь же мы можем сказать, что «Записки» эти, по той искренности, с которою они написаны, и по той рельефности, с которой воспроизводится ими интереснейшая (т. е. не праздничная и официальная, а будничная и интимная) сторона

русской общественной жизни, должны служить драгоценнейшим материалом для истории нашей общественности в течение второй и третьей четвертей текущего столетия. Жаль будет, ежели автор остановится только на том, что издано ныне.

СУЕТА СУЕТ

Соч. *Николая Соловьева.* Москва. 1870 г.

Чтобы уразуметь эту брошюру, необходимо обратиться к прошедшему и припомнить тот момент в истории нашей цивилизации, когда издавался журнал «Время» (впоследствии переименованный в «Эпоху»), а в нем образовалась целая школа философов, публицистов, критиков, беллетристов и стихотворцев, приобревших себе скоротечную известность под именем «стрижей». Что такое «стрижи»? Стрижи — это благонамеренные птицы, которые, по замечанию наблюдателей-эмпириков, имеют дар предвещать хорошую или дурную погоду. Перед хорошей погодой они «мелькают и звенят», перед дурной — нахохливаются и спешат укрыться на колокольнях и чердаках. Тем не менее, так как это предвещания чисто бессознательные, то по временам в них вкрадываются ошибки (преимущественно, впрочем, в пользу хорошей погоды), которые вводят легковерных эмпириков в заблуждение и доставляют им немало хлопот. Доверившись стрижиному мельканию, люди начинают сушить сено, жать рожь, а тут вдруг затяжной дождь, слякоть, сырость, и все благодаря тому, что какой-нибудь стриж съел что-нибудь лишнее и тем нарушил соответствие своего маленького орга-

низма с состоянием атмосферы. А отсюда наблюдатели не эмпирики выводят то заключение, что отличительную черту стрижей составляет не столько дар предведения, сколько вообще сумбур, облекающийся в форму предведения единственно для того, чтобы удобнее скрыть свое происхождение.

Подобно стрижам-птицам, стрижи-литераторы хвалились даром предведения, но не ограничивали сферы предвещаний одною погодою, а проникали дальше. Внимая их прорицаниям о «почве», о «новом слове», о «силе любви», публика уже думала, что все эти прорицания завершатся одним общим прорицанием о «влиянии романса «Во саду ли в огороде» на силу русского смирения», как вдруг «Эпоха» прекратилась, и «стрижи» разлетелись, унеся с собой все секреты, бывшие в их распоряжении. Некоторое время, впрочем, и после того еще слышалось в воздухе какое-то невнятное бормотание, испускаемое «холостыми» стрижами, продолжавшими прорицать и по разорении родного гнезда, и публика добросовестно прислушивалась к этим звукам, стараясь понять их смысл, но оказалось, что и до разорения и по разорении это был все один и тот же винегрет, составленный из всевозможных объедков. Тут были и объедки славянофильства, и объедки нигилизма, и объедки спиритизма, и даже своя собственная, маломысленная самодельщина. Благодаря этой последней, «стрижи» могли маскировать свои позаимствования. «Какие мы славянофилы! какие нигилисты! Мы — стрижи, предсказывающие хорошую погоду!», — так отвечали они людям, уличавшим

их в плагиатах. И публика убеждалась их оправданиями и, по всестороннем обсуждении этого дела, в свою очередь восклицала: «да, это не славянофилы и не нигилисты, это — стрижи, и ничего более».

Оказывается, однако ж, что отлет стрижей был мнимый, что эти интересные птицы не улетали, а только временно обмирали. В ту самую минуту, как мы пишем эти строки, весь их лагерь в движении. Замечается стремление организоваться, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор. Раздаются памятные голоса, поющие, что все цветочки аленькие, да очень они маленькие, затеваются критические статьи без надежды высказать какую-нибудь определенную мысль, но в твердом уповании на милость божию; не оставляются без упования даже современные политические события. Выискивается бард, берет в руки лиру и, вдохновленный сражением при Гравелоте, [1] бряцает так:

СЕГОДНЯ

Нет в сердце веры, нет любви,
Полно все темной силой злобы;
Где ни пройдут (кто?), — за ними вслед
Война и смерть, пожар и гробы.

Наука, гений, совесть, труд,
Одев убийство багряницей,
Позорно, как рабы, бегут
Вслед за кровавой колесницей.

[1] Местечко Гравелот расположено неподалеку от Мерца. Здесь французская армия в августе 1870 г. потерпела сильное поражение в схватке с германскими войсками.

Как звери — сонмы христиан
Терзают яростно друг друга...
Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга!

Смысл этого стихотворения ясен: война есть война, но, признаемся, такого окончания, как:

Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга!

нельзя было ожидать. Это ясный признак, что стрижи пробудились от обморока, но еще полны недавних грез. Что ж! в добрый час! пробуждайтесь, господа стрижи! Бряцайте на лирах, захлебывайтесь ежемесячно злобой, обуревайтесь страхами, пламенейте надеждами, напруживайтесь, прорицайте, прудите, прудите, прудите!.. Кстати, и время наступило для вас самое подходящее, самое стрижиное.

Г. Н. Соловьев хотя и ведет свое дело особняком от организующегося ныне хора «стрижей», но это нимало не освобождает его от традиций «Эпохи», в которой он был усерднейшим вкладчиком, и не обеспечивает его мысли от всевозможных неопределенностей, которыми отличались и отличаются все произведения этой школы. Представление об «Эпохе» тяготеет над ним; одушевляя его охотой разрешать всякого рода философские, эстетические и общественные задачи, оно в то же время непроницаемым туманом заволакивает эти задачи перед его умственным взором, оставляя ему, таким образом, одно вполне твердое прибежище: надежду на неизреченное божие милосердие, которое как-нибудь

поможет выйти невредимым из сети поправок, недомолвок и противоречий. К сожалению, однако ж, на сей раз и эта надежда обманула его самым обидным образом.

В разбираемой брошюре автор имел в виду проследить значение наслаждений «в сфере нравственных феноменов». Задача эта несомненно имеет очень живой интерес для современного человечества, но в том-то и дело, что исследователи, подобные г. Соловьеву, всегда берутся за самые живые вопросы и всегда же сводят их «на нет». Прежде всего, автору следовало бы, по крайней мере, определить, что он разумеет под словом «наслаждение», но он забывает даже об этом и прямо начинает с голословного перечисления «утех», которые, по его мнению, наиболее распространены в современном обществе. Из того, что он наслаждению противополагает труд, еще не получается ровно никакого объяснения, потому что автор и тут ограничивается противоположением исключительно голословным, и того, что между этими двумя формами человеческой деятельности существует действительный антагонизм, ничем не доказывает. По мнению г. Соловьева, человек родится с двумя карманами, из которых в одном находится труд, а в другом — наслаждение, и затем попеременно запускает руку то в один, то в другой карман. Прекрасно. Не будем доказывать, насколько это мнение нелепо, но имеем полное право заметить, что ежели бы оно было даже справедливо, все же необходимо разъяснить читателю эту справедливость, а не бросать ему нагой афоризм без малейшего ознакомления с теми посылками и тем умственным

процессом, который привел автора к указанному заключению.

Это отсутствие ясно сознанного исходного пункта, свидетельствующее о крайней запутанности мысли автора, отражается и в дальнейшем его изложении. Вот, например, как рассуждает автор о господстве цинического элемента в легкой литературе. «Последний (т. е. цинизм), — говорит он, — потому теперь так поднял голову, что неразрешимость насущных вопросов жизни и все более возрастающая нужда общественная пришибли, подавили таланты; поэтому мы и видим, что многие даровитые и сильные голоса у нас молчат, а другие, более добродушные и более опрятные литераторы заговорили громче прежнего»... Скажите на милость, ужели все эти слова не во сне написаны? Почему «возрастающая общественная нужда» может подавлять таланты? Что это за общественная нужда? Почему представителями цинизма являются «добродушные и опрятные литераторы»? Кто даст ответ на эти вопросы? Очевидно, что г. Соловьев уже слишком понадеялся на божие милосердие, а вышло, что в деле философии, как и во всяком другом, следует почаще припоминать пословицу: «на бога надейся, а сам не плошай».

СВЕТЛОВ, ЕГО ВЗГЛЯДЫ, ХАРАКТЕР И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Шаг за шагом». Роман в трех частях *Омулевского*. Спб. 1871 г.

В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как бы протест против господства реализма в искусстве, с другой — фаталистически удерживается на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает его в данную минуту. И что всего замечательнее: протест в этом случае выражается преимущественно в лирических и дидактических отступлениях и лишь изредка облекается в форму образов, которые тщетно заявляют претензию на жизнь. Очевидно, стало быть, что дидактизм трудно уживается с искусством, и особливо дидактизм задним числом, дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся и ищущим для себя осуществления не ради удовлетворения чьей-либо прихотливой фантазии, но ради жизненной силы, которая заключается в них самих.

Но ежели мы вникнем в сущность этого протеста, то увидим, что предметом его служит не реализм собственно, а лишь содержание, которое наполняет его в данную минуту. Не по сердцу то,

что содержание это имеет характер совершенно не сходственный с прежним; что тут на первом плане стоят совсем иные задачи, нежели те, которые когда-то волновали общество; что из-за этих задач уже выглядывают другие в качестве предведений и предчувствий будущего; что эти предведения и предчувствия, несмотря на свою неопределенность и смутность, уже занимают умы и, вопреки требованиям здравой логики о постепенном, всестороннем и неторопливом рассмотрении возникающих вопросов, ставятся на очередь, так сказать, без всякой очереди. Действительный смысл событий, надежд и порываний оказывается неясным; перед глазами развертывается лишь хаотическое сновидение, преисполненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений; и хотя эти мелькания небеспричинны, — они означают искание опорной точки, которой нет и которую необходимо найти, чтобы ввести жизнь в правильную колею, — но для людей, уже отыскавших такую точку, или мнящих, что отыскали ее, оно представляется просто отрицанием всякого прочного исходного пункта. Отсюда — сомнение не только в плодотворности, но и в самой законности жизни с подобным характером. Это не жизнь, а просто бесформенная фантасмагория, наполненная ходячими абстрактностями, а не живыми людьми, — вот подавляющий вывод, который должен вытекать из отношений, которые установились в нашей беллетристике к современной действительности. А так как искусство все-таки не может отвернуться от живых форм, в каком бы антипатичном виде они ни представлялись, не

может признать существующего несуществующим, то и выходит нечто совершенно противоположное тому легендарному преданию, которое передается об одном средневековом живописце. Тот, когда писал, то у него рука дрожала от умиления, а наши художники, когда пишут, то руки у них дрожат от негодования. В результате получается шарж, понятно, и — что всего прискорбнее — пятно, искажающее нередко картину довольно замечательную.

Что в этом направлении главных деятелей современной русской беллетристики главную роль играют всевозможные недоумения — об этом было уже достаточно говорено; но мы имеем возможность указать на пример, относительно которого не может быть даже речи о недоумениях, недомыслиях, непониманиях или о чем-нибудь подобном, и в котором упомянутое выше внутреннее противоречие высказывается еще с большею резкостью. Пример этот представляет Ф. М. Достоевский. По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот» — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют все-

возможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, повидимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так-называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда остаются без разъяснения — все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными, и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности, или в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается нарождение нового явления — это покажет время. Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень грустное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне

мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...

Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, представлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о правах критического отношения к ним идет здесь речь (незыблемость этих прав необходима в видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыясненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясности. Это ясное и незапутанное — есть стремление человеческого духа придти к равновесию, к гармонии.

В существовании и непрерывности этого стремления не усомнится ни один мыслящий человек. Оно переходит от одного поколения к другому, наполняя собой содержание истории и не умирая даже в такие эпохи, в которые общества человеческие, повидимому, коснеют в самодовольном спокойствии. Оно же освещает и те несовершенные попытки и деяния (сущность этих попыток и деяний выражается в очень немногих словах: упрощение и выяснение тех условий, в которых человеку суждено жить), которые предпринимаются в виду основной цели, и, указывая на существенные успехи, которые приобретены ценою усилий воинствующей мысли, тем самым набрасывают покров забвения на уклонения и неудачи, временно сопровождавшие борьбу. Только из общих результатов, в которых утопают случайные частности, делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий, и никакой историк не имеет права обойти эти

результаты, если желает, чтоб оценки его имели убедительность. Ежели же современники и не видят еще этих общих результатов, то они не имеют права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетельствуется историей, и напоминание о котором должно во всяком случае заставить их быть осмотрительнее в своих оценках.

Чтобы объяснить, до какой степени неправильны те враждебные отношения, в которые поставила себя наша беллетристика к интересам, занимающим современное мыслящее русское общество, разберем здесь некоторые из этих последних.

Первое место в ряду этих интересов занимает претензия на свободу мышления. И действительно, вопрос этот очень важен, потому что в благоприятном его разрешении лежит возможность более легкого и правильного обретения истины. Кажется, ничего похвальнее этой цели не может быть, но тут откуда-то, как deus ex machina, [1] врывается слово «разнузданность» и смело становится поперек. Это одно из тех непомнящих родства выражений, которые всецело принадлежат мраку времен, но которых традиционная сила так велика, что ее не могут подорвать даже бесспорнейшие свидетельства истории. Как ни ясно доказывает эта последняя, что мысли, считавшиеся в свое время опасными, очень скоро входили в домашний обиход и делались предметом самого будничного собеседования, опасение «разнузданности» заставляет цепенеть

[1] Совершенно неожиданно.

и тех, которые непрочь бы, лично для себя, даже отведать от плода сего. Прямо разрешить вопрос кажется странным; все лучше хоть какой-нибудь кончик про запас оставить. А тут-то именно и кроется первый зародыш запутанности, которая впоследствии приведет за собой целый ряд самых неожиданных разветвлений: ибо ежели люди мечтают о кончике, то весьма естественно, что им довольно трудно будет придти в соглашение за счет абсолютной величины его. Второй повод к путанице представляет опасение, что свобода мышления приведет за собой разномыслие, которому, собственно, и присвояется название разнузданности. Но при этом обязательно забывается, что нельзя даже двух столоначальников одного и того же ведомства встретить, которые были бы во всем между собою согласны, и что никто, однако ж, за это не называет их разнузданными. Полагается прямо, что разногласие породит вражду, для устранения которой и следует заранее и сколь возможно точнее определить, какое мышление следует признать разнузданным. Тут путаница делается еще более существенною, ибо спор утрачивает характер абстрактности, которым он страдал при определении «кончика», и вступает в область фактов, при оценке которых каждый руководствуется указаниями личного темперамента. Образуется лабиринт, а словоохотливые беллетристы подходят к этому лабиринту и, не останавливаясь на причинах, обусловивших его образование, просто-напросто говорят: вот к чему привело ваше свободомыслие — к разнузданности!

Другой вопрос, тоже довольно живо интересующий мыслящую часть нашего общества, есть вопрос женский. Никак нельзя сказать, чтоб необходимость его разрешения, в большей или меньшей степени, не чувствовалась даже теми, которые на всякое зло привыкли смотреть, как на что-то неотвратимое и неизбежное. Все инстинктивно или сознательно чувствуют, что здесь кроется корень бесчисленного множества неудобств, совокупность которых ложится тяжелым бременем на жизнь, но необычность заявляемых по этому поводу стремлений представляет и тут готовый источник всякого рода затруднений. Запутанность относительно этого вопроса тем более возможна, что он, во-первых, находится под гнетом преданий, далеко не утративших своей силы, и, во-вторых, связывается с указаниями физиологии, которая еще не сказала по этому предмету своего последнего слова. Однако, жизнь не ждет разрешения теоретических споров и вступает в свои права путем эмпирическим. Она знает, что ошибки возможны, но в то же время знает, что основная мысль верна, и потому не пугается ошибок. Но ежели уже абстрактная, теоретическая мысль считается необычною, то понятно, насколько необычным должно показаться действие. И вот стремление женщины обеспечить свое существование самостоятельным трудом вызывает насмешки, а попытка стать в равноправные отношения к мужчине возбуждает уже прямое презрение и клеймится специальным названием «распущенности нравов». Образуется лабиринт, в котором действительно требуется не малая доза добросовестности, чтоб отделить, что принадле-

жит к области женской самостоятельности и что к области лакомства (но ведь в том-то и заключается сила человеческой проницательности, чтоб уметь отличать даже там, где отличить трудно!), а словоохотливый беллетрист подходит к лабиринту и, не рассуждая, вследствие чего он явился, просто-напросто говорит: вот он ваш женский вопрос — распущенность! И так как это предмет подходящий, то начинает обливать читателя целым ливнем помоев, в которых и замыкает всю сущность женского вопроса.

Третий подобного же рода вопрос — о народном образовании. На наших глазах он пошел довольно бойко и выразился учреждением разнообразных школ, в которых принимала участие и частная инициатива. Но тут вышла запутанность самого уморительного свойства, а именно: показалось странным, что в школах учат. Тотчас же вопрос осложнился определениями: что такое школа? какое ее назначение? и в то же время уядовитился всякого рода подозрениями насчет разнузданности, распущенности и даже революционной пропаганды. Ванька, рассуждающий о том, что земля кругла, показался смешон; Ванька, изъявляющий претензию, чтоб с ним были *на вы*, показался дерзок. Кроме того, так как Ванька не мог же в течение одной минуты проникнуться всею мудростью, которая наполняла головы старшей братии, то весьма естественно, что он на каждом шагу делал промахи. Выходили замечательные qui pro quo, и словоохотливые беллетристы воспользовались ими, чтобы убедить публику в прирожденном тупоумии Ванек и в ненужности для них учения. Вот

оно, ваше народное образование! — говорили они: — только народ развратили, да научили его впрямь [вкривь?—*Ред.*] и вкось обо всем болтать!

Ту же участь испытал и еще вопрос — рабочий. Нет нужды, что жизнь каждую минуту выдвигает его вперед — словоохотливые беллетристы видят в нем лишь смуту, затею неизвестно чьей прихотливой фантазии, и согласно с этим ставят на первый план подстрекательство и революционные интриги...

И таким образом, с невозмутимым легкомыслием устраняются все вопросы, на разрешении которых упорно настаивает сама жизнь. И что всего важнее, устраняется не только та или другая попытка разрешения, но самое право на попытки подвергается презрению и поруганию...

Среди мрачных продуктов извращенной человеческой мысли, отождествляющей прогресс с умопомрачением, тем с большим удовольствием останавливается читатель на художественном произведении, которое не следует общепризнанной ругательной традиции, но рассматривает вопросы, занимающие в данную минуту общество, просто как вопросы, предлагаемые самою жизнью. Тип человека, переносящего арену своей деятельности из сферы домашней в сферу общественности, конечно, не нов и у нас, благодаря тому, что расширение арены человеческой деятельности, хотя и не пользуется фактическим признанием, в принципе все-таки не подлежит спору; но ново то обстоятельство, что художник, выводя своего героя на эту более широкую арену, не ставит ему подножек от своего лица, не огорошивает на ка-

ждом шагу вопросом: «дурак! куда ты лезешь?» и не говорит в упор: «не твое дело!».

К числу таких «новых» произведений, с полною добросовестностью относящихся к насущным вопросам современности, принадлежит рассматриваемый нами роман г. Омулевского. Писатель этот только что начинает свое литературное поприще, и хотя это, быть может, значительно помогает свободе его отношений к явлениям жизни, но вместе с тем это же самое доказывает, что существует известный разряд жизненных явлений, к которым неопытная рука может прикасаться деликатнее, нежели рука, искушенная многолетними и непрерывными щупаньями.

Нам скажут, быть может, что в романе г. Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т. д., — и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению. Но мы считаем при этом долгом обратить внимание читателей на одно обстоятельство, имеющее, по нашему мнению, при оценке произведения г. Омулевского существенное значение. Дело в том, что новые идеи, которых касается автор, входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, т. е. достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей невольным образом суживает свои границы и видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм.

Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную теорию и на основании ее выкроить множество моделей, не лишенных жизненной правды. Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному пониманию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности. Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом, и что этот последний даже занимает первый план. Тем не менее, мы сочли бы себя в праве укорить г. Омулевского в недостатке столь крупном (хотя и вполне объяснимом), если б не видели с его стороны очень серьезных усилий освободиться от голословных разглагольствований и стать на дорогу образного воспроизведения жизни. Не проводя никаких параллелей, мы, по совести, можем сказать, что г. Омулевский в художественном отношении стоит далеко впереди тех более опытных беллетристов, которые идут с ним об руку в одном и том же честном литературном направлении, но в то же время не подают никаких надежд на освобождение от голословности.

В заключение, мы не можем без полнейшего сочувствия отнестись к следующим строкам по-

чтенного автора, которые, по нашему мнению, в значительной мере объясняют существование в его романе тех слабых сторон, о которых мы сейчас говорили:

Вот эти строки:

«Как неоттаявшая почва мешает зреть брошенным в нее семенам, как не могут отливать всеми красками солнца подснежные цветы, — так точно задерживаются рост и краски художественного произведения суровым дыханием нашей северной непогоды. Что было возможно, однако ж, то сделано нами, и да не поставится никому в укоризну посильный труд. Если в нашем первом опыте ты останешься недоволен бледностью интриги, чуждой той завлекательной формы, к какой приучили тебя более даровитые возделыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебе однообразной и скучной, или несколько туманной, а развязка — совершенно ничтожной, — то и в этом не вполне виноват один автор. Не до блестящих интриг теперь нам с тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказок и жизнь предъявляет на каждом шагу свои настоятельные нужды. Наступает нечто лучшее, — лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не может поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недоразумениями время. В одном только принимаем мы на себя полную ответственность: не Светлов будет виноват, если эта личность не заслужит твоей серьезной симпатии; считай тогда просто, что у автора — нехватило пороху. Глубокое убеждение подсказывает пишущему эти строки, что во сто раз чест-

нее ему самому провалиться перед публикой, нежели невежественно уронить в ее глазах ту либо другую, восходящую на общественном горизонте, силу, когда эта сила, хотя бы даже и в своих заблуждениях, неизменно направлена к благу и преуспеянию родины.

А теперь, при расставаньи, — позволь, в свою очередь, и автору спросить у тебя: да пришло ли у нас еще, полно, то желанное время, когда деятельность личности, подобной Светлову, может быть всецело выведена перед твоими глазами? Возблагодарим небеса и за то, если перед тобой, как бы еще в утреннем тумане, уже скользит иногда ее далеко не окрепшее начало. Мы не скажем, что у нас невозможна подобная деятельность; но где — укажи нам — та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто, лицом к лицу, с своими исконными врагами — тьмой и невежеством? Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба... За неимением ее, Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копях, — борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего — опасная. Долго ли обрушиться сводам этих извилистых коридоров, прорытых в земляных глыбах? Долго ли раздавить им упорного труженика, с одной только киркой в руке неутомимо прокладывающего в этих грубых пластах дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствие грядущих поколений?»

С этим, конечно, нельзя не согласиться.

ЦЫГАНЕ

Роман в трех частях. Соч. *В. Клюшникова*. Спб. 1871.

Роман этот написан совершенно без всякой мысли (принимая это последнее слово в смысле миросозерцания или тенденции). Это очень несложная история троеженца, чтение которой может возбудить только вопрос: зачем она написана? Здесь нет налицо даже психологического анализа, ибо автор так поставил своего героя, что он и для психологических разъяснений никакого повода не дает. Этот герой — человек инстинкта, человек, до такой степени находящийся под гнетом своего темперамента, до того подавленный им, что не только не может, но и не имеет надобности отдавать себе отчет в своих действиях. Хотя художественное воспроизведение людей, изнемогающих под игом темперамента, конечно, не беспримерно в истории литературы, но никогда подобного рода личности не являлись еще в той безжизненной и пошлой наготе, в какой изобразил нам своего героя г. Клюшников. И Дон-Жуан, и Фальстаф, и развратная леди, влюбленная в Гуинплена (герой романа «L'homme qui rit»), [1] и Ноздрев — все

[1] «Человек, который смеется», роман В. Гюго.

это люди темперамента, но за их похотливостью, плотоядностью, гнетущим инстинктом самосохранения, лганьем и проч. виднеется целое психологическое построение, объясняющее эти качества. Похотливость Дон-Жуана, например, находит себе подкладку не в одном темпераменте, но и в бедности окружающего его жизненного строя, в пустоте среды, не дающей деятельности человека иной пищи, кроме легкого покорения женских сердец; похотливость любовницы Гуинплена тоже объясняется пресыщенностью, развратившею вкус, и тою проклятою жизненною обстановкою, которая с колыбели втягивает в себя человека и с ужасающею вкрадчивостью извращает все его инстинкты. Поставленные в такие условия, эти типы могут и интересовать читателя и возбуждать в нем участие, потому что перед его глазами развертывается не голая реляция о похотливых похождениях того или другого героя, но и разъяснение всего строя, направившего темперамент именно в эту, а не в иную сторону. Но в романе г. Клюшникова никаких подобных разъяснений и следа нет. Его герой — петух и ничего больше. Спрашивается, в какой мере может интересовать история петуха, рассказанная на 250 страницах довольно мелкой печати?

Повидимому, это исключение мысли допущено г. Клюшниковым не без намерения. Лично г. Клюшников — писатель несомненно мыслящий, но, подобно Сократу, пришедшему к убеждению, что он знает, что он ничего не знает, наш автор может сказать о себе, что он мыслил только для того, чтоб придти к убеждению, что мыслить не

следует. Мы помним его роман «Марево», который в свое время читался, но читался именно потому, что в нем была *мысль*. Коли хотите, это была не настоящая мысль, а только огрызок мысли, но все-таки мысли, а не простого вожделения. Мысль этого романа заключается в следующем: мыслить не надобно, ибо мышление производит беспорядок и смуту. Каким горьким процессом г. Клюшников домыслился до этой мысли, это до нас не касается, но он провел ее через весь роман весьма упорно и даже не задумался сообщить ей характер тенденции. «Мышление вредно» — согласитесь, что в этом афоризме заключено целое миросозерцание, и не утопическое какое-нибудь миросозерцание, в роде тех, построению которых любят предаваться какие-нибудь «представители собственной разгоряченной фантазии», но весьма конкретное, к выполнению которого на практике не может встретиться никаких препятствий. Но этот опыт тенденциозности был первым и последним опытом г. Клюшникова, и в этом смысле на «Марево» следует смотреть не только как на предостережение русской читающей публике, но и как на предостережение автора самому себе. С тех пор г. Клюшников действительно уже не мыслит, т. е. творит без всякого участия мысли. Он написал два романа, в которых не отыщется и следа мысли; мало того, он редактирует целый журнал без мысли,[1] и в этом журнале предлагает премию за лучшую повесть, в которой совсем не

[1] С 1870 г. до 1876 г. В. Клюшников редактировал журнал «Нива».

будет мысли. Можно было бы подумать, что он имел при этом в виду именно «Цыган», если бы этот роман не был напечатан совсем в другом журнале, который премий не дает, но без премий всякую бессмыслицу помещает с удовольствием.

Теория обуздания мысли у нас никогда не была новою, но в последнее время она сделалась чем-то в роде повальной болезни. Беспрестанно приходится слышать выражения в роде «анархия мысли», «шаблонный либерализм» и т. д., которые в переводе на вразумительный язык означают: мысль пошла слишком далеко, надо обуздать ее. Г. Клюшников тот же афоризм проповедует под именем свободы искусства.

Даже в своем последнем, совершенно свободном от мысли, романе он, устами героя Зарницына, выражается так: «Направление заело все... Направление! Проклятие этому слову! Пусть удовольствуются направлением в политике, но чтобы искусство, свободное, как вихрь или, как он, в природе подчиненное общей гармонии, — чистое, нравственное, как улыбка девственницы, склоняло свою голову перед каким-то направлением?!» и т. д. Он забывает, что он первый погрешил против свободы искусства, и что его «Марево» есть не что иное, как монумент, воздвигнутый тому самому «Направлению», которому он ныне посылает свои проклятия. Благодаря «направлению», «Марево» остается единственным произведением г. Клюшникова, которое прочтено публикой, тогда как другие, более усовершенствованные его произведения вполне игнорируются ею. И хотя «направление» выска-

зывавшееся в «Мареве», имело характер административно-полицейский, но все-таки его нельзя назвать иначе, как направлением, т. е. таким словом, которое влечет за собой представление об участии в процессе творчества мысли или миросозерцания.

В чем же, однако ж, заключается эта теория свободы искусства? что дает она взамен того «проклятого» направления, против которого она так восстает? Если мы ограничимся разъяснениями Зарницына, что направление потому только несовместно с искусством, что «искусство вихрь», или потому, что оно «нравственно, как улыбка девственницы», то должны будем сознаться, что все эти определения не больше, как бессмысленный набор слов. Искусство свободно, как вихрь; но кто же может сказать, что вихрь свободен, а не подчинен непреложным атмосферическим законам? Искусство нравственно, как улыбка девственницы, но кто же будет так смел, чтоб утверждать, что и «направление» не может быть нравственно, а улыбка девственницы, наоборот, не может быть совершенно безнравственною? Согласитесь, что все это галиматья, называемая цветами красноречия, от которых пора уж и отвыкать. Образность в некоторых случаях действительно помогает, но большею частью она вредит, ибо дает повод лгать и прикрывать ложь аналогиями, рассчитанными единственно на неразвитость читателя. Человек сравнивает искусство с вихрем и думает, что он бог-весть как поразил этим сравнением, а выходит, что он только сказал нелепость.

Таким образом, сравнения приходится оставить в стороне и объяснить теорию свободы искусства, независимо от цветов красноречия, в самой ее сущности. Эта сущность заключается в отрицании направления, т. е. миросозерцания, тенденции, мысли, как таких уз, которые, по мнению теории, ничего не влекут за собой, кроме стеснения. Может ли творить художник, не обладающий никаким миросозерцанием? Поборники свободы искусства не только отвечают на этот вопрос утвердительно, но даже полагают, что безразличное отношение к воспроизводимым явлениям есть наилучшее положение, о котором художник может мечтать. Мы тоже, с своей стороны, думаем, что это положение очень выгодное; но для того, чтобы достигнуть его, по нашему мнению, необходимы два условия. Во-первых, чтобы художник исключил из области искусства целую категорию явлений умственного и нравственного мира, законности существования которых, однако ж, отрицать нельзя; и, во-вторых, чтобы он ограничил сферу искусства одними физическими отправлениями, т. е. низвел уровень искусства до уровня того мира петухов (как, например, герой разбираемого романа, Зарницын) и других низших организмов, которые действительно живут одною бессознательною жизнью и, конечно, уже никакого миросозерцания иметь не могут. Что явления нравственного и умственного мира не могут подлежать воспроизведению человека, лишенного миросозерцания, это явствует уже из того, что прежде чем воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невоз-

можно сделать без собственного миросозерцания. Нравы же и обычаи петухов действительно можно воспроизводить и без миросозерцания, потому что тут идет речь лишь о физических отправлениях, для воспроизведения которых достаточно одной способности копировать, с прибавкой самой мелкой, низменной наблюдательности. Образчики подобного низменного творчества представлял нам лет десять тому назад г. Генслер, автор «Похождений кота Василия Иваныча», а теперь представляет г. Клюшников, автор «Цыган». Г. Генслера никто уже не читает; г. Клюшникова, вероятно, тоже перестанут читать в самом скором времени. А это будет жалко, потому что не откажись почтенный автор от направления, он, быть может, не только не уступил бы г. Стебницкому, но и сокрушил бы его.

В добавление ко всему сказанному выше, сама внешняя постройка романа г. Клюшникова ниже всякой критики. Это какая-то бессвязная агломерация образов без лиц, собранных в одну кучу без всякой цели, кроме одной: дать герою — Зарницыну повод проявлять пылкость своего темперамента. Даже зрелище мух, бродящих по столу, — и то интереснее, потому что тут можно догадаться, что муха не напрасно бродит, а чего-нибудь ищет. В «Цыганах» же и для подобного рода догадок повода не имеется.

ТЕМНОЕ ДЕЛО

Народная драма в 5-ти действиях *Дмитрия Лобанова*. Спб. 1871.

В драме так уж исстари повелось, что ежели сильный мира подвергается насильственному устранению из жизни, то совершивший преступление не только не получает ожидаемых от него выгод, но создает для себя положение настолько нестерпимое, что гораздо лучше во всем сознаться и подвергнуть себя заслуженной каре, нежели продолжать жить с страшным укором на совести. Преступник не ест, не спит, беспрерывно моет руки и никак не может отмыть кровавое пятно и т. д. Очевидно, что таким образом жить невозможно, но в этой-то невозможности жить и является ipso facto[1] то естественное разрешение драмы, к которому стремится драматург. Когда человек не спит и не ест, когда он постоянно подвергается припадкам лунатизма, то весьма натурально, что он непременно выболтает свою тайну совсем не тому, кому о том ведать надлежит. А как скоро это случилось, то перспектива, ожидающая преступника, обозначается уже сразу: узнавший тайну открывает ее прокурорскому надзору (ибо он знает, что если не

[1] В силу самого факта.

донесет, то и ему поблажки не будет), а от прокурорского надзора до скамьи подсудимых — рукой подать! И вот, суд идет, свидетели путаются, прокурор гремит, защитник почтительнейше докладывает, что сознание, совершенное в припадке лунатизма, не может считаться уликою... Но преступник, чувствуя, что совесть донимает его окончательно, уже сам отказывается от помощи, подаваемой ему защитой. Он с укором смотрит на своего защитника, который намеревался затмить истину, и взволнованным голосом начинает рассказывать «печальную повесть своего преступления», при чем в особенности старается поставить на вид свои угрызения. Тогда суд постановляет приговор, по объявлении которого судья произносит краткую речь, заключающуюся словами: «подсудимый! преступление, которое вы совершили, ужасно, и кара, которую вы понесете за него, вполне заслужена; но кара эта примирит вас с вашею совестью. Ступайте на каторгу и помните, что совершать преступления в благоустроенном обществе не дозволяется!» Все довольны: прокурор доволен потому, что приписывает добровольное сознание пламенности своего обвинения; суд—потому, что приписывает тот же результат торжественности заседания; публика — потому, что приписывает его участию в суде общественного мнения; сам подсудимый — потому, что чувствует, что совесть вдруг перестала его мучить, и сверх того тайно надеется, что его, за добровольное сознание, не только не ушлют на каторгу, но произведут в следующий чин. Один защитник сконфужен и ничего себе не приписывает.

Происходит ли в преступнике подобный психологический процесс в тех случаях, когда из жизни устраняется лицо менее сильное, как, например, мужик — об этом драма умалчивает. Напротив того, она показывает нам разбойников, которые на своем веку сгубили многие десятки душ и не формализировались своим ремеслом до тех пор, покуда случайно не попадался под руку сильный мира, и уже тогда начинались собственно угрызения. Самый суд над преступниками этого рода бывает до крайности запутан. Преступник не только не сознается, но пускает в ход бесчисленное количество alibi, [1] приводит свидетелей своей добродетельной жизни и т. п. Прокурору нельзя похвастаться пламенностью своего обвинения, суду — подавляющим впечатлением торжественности заседания, публике — давлением на совесть подсудимого общественного мнения. Один защитник смотрит гордо и светло и все приписывает себе. Отчего это происходит? Отчего совесть, столь чувствительная относительно сильных мира, вдруг делается равнодушною, когда идет речь о мужике? Оттого ли, что мужик находится вне пределов исторической жизни и значение его равняется значению мухи? На все эти вопросы не отвечает ни драма, ни жизнь.

Г. Лобанов вполне последовал изложенной выше драматической традиции. Герои его «народной драмы» — Никита и Василиса Волохова совершили страшное и имевшее громадные последствия убийство, и потому весьма естественно, что

[1] Доказательство непричастности.

совесть угрызает их. Никита с отчаяния идет в разбойники и губит несчетное количество людей, Василиса — следует за ним, моет себе руки «в ведре с водою» и никак не может отмыть их от крови (это наша русская леди Макбет, только на несколько степеней ужаснее ее, потому что является на сцену в лохмотьях и с ведром). Но когда тот же Никита с своими сообщниками убивает сотни проезжих из среднего и подлого состояния людей, то он — ничего, даже бровью не поведет...

Таков первый вывод, который вытекает из драмы г. Лобанова. Второй вывод заключается в том, что наши русские разбойники являются в драме совсем не разбойниками, а, так сказать, столоначальниками разбойничьего стола, которые о том только и думают, как бы закончить свою карьеру и повести своих товарищей на царскую службу. Повидимому, они только с этою целью и поступают в разбойники. Это явствует из рассказа разбойника Соловья («Темное дело») о Ермаке; это же явствует и из поступков разбойника Волохова...

Такой взгляд на русское разбойничье дело, при всей его благонамеренности, кажется нам несколько преувеличенным.

ЗАМЕТКИ В ПОЕЗДКУ ВО ФРАНЦИЮ, С. ИТАЛИЮ, БЕЛЬГИЮ И ГОЛЛАНДИЮ

Н. И. Тарасенко-Отрешков. Спб. 1871

Какие ощущения должен испытывать русский человек за границею? зачем он туда едет? с каким образовательным запасом едет? — вот вопросы, которые невольно рождаются в уме читателя при виде книги, трактующей о впечатлениях, вынесенных из заграничного путешествия. И законность этих вопросов сделается вполне понятною, если мы припомним, что слова «за границей» до сих пор не утратили для нас несколько особенного, почти обаятельного значения.

Мы, русские, еще далеко не освободились от привычки отделять *свое* от *заграничного* и притом отделять довольно резкою чертою. У *нас* свои порядки, свой жизненный строй. *там* — свои порядки, свой жизненный строй. Предположив даже, что, в крайних своих проявлениях, это различение своего от заграничного есть наследие прошлого, все-таки надо будет сознаться, что корень этого явления настолько глубок, что даже успехи настоящего не могут вполне уничтожить его. Стало быть, действительно в заграничной жизни было нечто иное, и притом не только в смысле племенном или климатическом, но и в смысле общественном.

И надо думать, что это иное свидетельствовало не во вред заграничной жизни, ибо русский человек стремился за границу совсем не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать, а прежде всего для того, чтобы вкусить иных порядков, ощутить себя в иных жизненных условиях. Припомним заметки и письма путешественников сороковых годов (например, автора «Писем из Avenue Marigny»), [1] и мы убедимся, что ощущение, испытываемое русским человеком за границей, было преимущественно ощущением человека, сознающего себя свободным от школьной ферулы. Он чувствовал себя развязнее, он сознавал себя вправе свободно мыслить и говорить, и весьма натурально, старался воспользоваться этим правом возможно широкой рукою, даже под опасением сделаться не в меру болтливым. Дома ему не было предоставлено ничего, кроме права быть мудрым, и потому за границей он прежде всего стремился воспользоваться правом поступать таким образом, как бы кодекс домашней мудрости был совершенно для него необязателен. Это была своего рода рекреация, которою человек сороковых годов пользовался, быть может, не всегда основательно, но в продолжение которой он несомненно чувствовал себя благополучным. Даже письма г. Погодина не вполне свободны от этого проказливого чувства, хотя мысль о московских кулебяках, повидимому, ни на минуту не покидала почтенного автора. Пожить хоть год иною жизнью, а после, пожалуй, и опять

[1] Под этим заглавием печатались письма Герцена из Парижа в «Современнике» 1847 г.

сделаться мудрым до новой рекреации — вот чувство, которое говорит во всех сочинениях сороковых годов о заграничной жизни, и надо сказать правду, что чувство это производит на читателя впечатление не столько поучительного свойства, сколько дразнящего и вызывающего.

Таково предание прошлого. Разумно ли оно, или неразумно — это вопрос иной, но оно утвердилось так прочно, что даже с учреждением в России новых порядков подверглось лишь весьма ничтожному изменению. Реформы следуют за реформами, а русский человек попрежнему с ликующим чувством устремляется за границу и попрежнему продолжает дразнить себя усладами тамошних порядков и жизни. Всем памятны появившиеся в начале сороковых годов статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях и проч., — статьи, не отличавшиеся особенным глубокомыслием и не имевшие никакой другой цели, кроме дразнения. Не далее как в прошлом году один русский путешественник-публицист не нашел лучшего способа выразить впечатление, произведенное на него заграничными порядками, как взойти на президентскую кафедру прусского парламента и с ее высоты произнести речь, сказанную Сквозником-Дмухановским чиновникам уездного города, посещенного Хлестаковым. И это было очень метко. Даже растленная Франция Наполеона III — и та казалась чем-то в роде эдема, и не только со стороны свободы разврата, но и со стороны свободы мысли и действия. Стало быть, причина, заставляющая смотреть на заграничный быт исключительно

с дразнящей точки зрения, еще не упразднилась; стало быть, и до сих пор не утратился повод оттенять *свое* от *заграничного*, и притом оттенять таким образом, что *свое* от этого нимало не выигрывает. А из этого можно заключить, что исполинские шаги, делаемые нами на пути преуспеяния, не лишены возможности сделаться еще более исполинскими.

Зачем ездил и продолжает ездить русский человек за границу? Ответ на этот вопрос, конечно, определяется личными наклонностями путешественников, но, во всяком случае, можно сказать без ошибки, что каждый из них, каковы бы ни были его наклонности, льстил и льстит себя надеждой найти им больше простора за границей, нежели у себя дома. Нет спора, что существуют наклонности весьма неполезные, и надо сознаться, что при известных условиях общественности таковые составляют большинство. Как ни разнообразны домашние средства мудрого препровождения времени (умываться, одеваться, чистить ногти, делать визиты, завтракать, обедать, играть в карты, спать), но человеку, постоянно обязанному быть мудрым, самая мудрость скоро надоедает. Отсюда праздность, отвращение от труда, а затем и целая вереница низменного свойства наклонностей, в основании которых лежит исключительное стремление насладиться легко достающимися благами жизни. Человек, удивляющий дома степенностью своего поведения, приезжая в Париж, бежит в Мабиль и знакомится с ресторанами и домами терпимости. Приезжая в Италию, он делает на всю жизнь запас скоромных картин и статуэток. Не-

сомненно, что такого рода любознательность не заслуживает особенных похвал, но если взглянуть ближе на ее результаты, то даже и здесь можно найти стороны, до известной степени примиряющие. Во-первых, гадливое чувство, возбуждаемое деяниями праздных людей за границей, в значительной степени умеряется тем соображением, что круг, в котором эти деяния происходят, ограничен и безвестен. Одни умные дела громки и влиятельны; глупые дела не идут дальше police correctionelle.[1] Во-вторых, какова бы ни была пустота гуляющего шалопая, даже и он, при всей беззаветности своего легкомыслия, не может оставаться вполне недоступным для некоторых общих впечатлений. И на этот раз общее впечатление, всего вероятнее, будет такого рода: что порядки, не слишком стеснительные для человеческой личности, совсем не так неудобны, как о том повествуется в стране «мудрых». Быть может, этот общий вывод в данном случае прикрывает собой целый ряд дел несомненно пошлого свойства, но сам по себе он все-таки верен и может дать повод для достижения целей далеко не пошлых. А следовательно, как бы ни велика была низменность мотивов, заставляющих мудрого человека стремиться за границу (хотя бы для того только, чтобы наесться свежих устриц), результат этих стремлений, даже помимо его воли, будет скорее в пользу плюса, нежели в пользу минуса.

С каким образовательным запасом ездил и ездит русский человек за границу? — На это

[1] Полиция нравов во Франции.

обыкновенно отвечают: с весьма малым. И действительно, если мы сделаем оговорку в пользу очень немногих исключений, то должны будем согласиться, что ответ этот справедлив. Один запас несомненно велик — это запас скуки, но с ним одним едва ли можно к чему-нибудь подступиться. Поэтому большинство мудрых людей наслаждается за границей лишь непосредственными, животненными благами и только наслаждения этой категории способно сознательно ценить. Большая доступность материальных удобств, отсутствие стесняющих формальностей, возможность безвозбранно говорить вздор (хотя бы и вольнодумный) — вот блага, которые вполне по плечу людям, закоренелым в мудрости. Утверждают, что недостаток образовательного запаса кладет на человека неизгладимую печать, что он лишает его чувства собственного достоинства, заставляет принижаться, увертываться, принимать на слово самые вздорные уверения и вообще играть очень жалкую роль. С этим, конечно, трудно не согласиться. Мы видим на каждом шагу, что человек, который у себя, среди мудрых, вольной рукой разбивал целые армии ямщиков, переехавши за Вержболово, делается ниже травы, тише воды и в каждом обер-кондукторе готов видеть высший организм. Что же, однако, из этого следует? То ли, что человек, не имеющий основательного запаса знаний, должен быть осужден навсегда оставаться дома? Нет, такое заключение было бы и опрометчиво, и жестоко, ибо оно осуждало бы человека на вечную мудрость, что и для неразвитого человека невыгодно и нестерпимо. Теперь он, по крайней мере,

поймет выгоду шнельцугов[1] и ретурбилетов;[2] тогда он и этого блага лишен. А потому пусть всякий и имеющий запас, и не имеющий его—пусть все пользуются свободой передвижения, несмотря даже на то, что человек, обязанный, по случаю неимения запаса, на каждом шагу разевать рот, должен ощущать адскую неловкость. Самая унизительность этой обязанности должна непременно навести на мысль о ее ненормальности. А это уж результат весьма немаловажный, ибо как только человек убедился в ненормальности какого-нибудь явления, то он уже непременно что-нибудь да предпримет в смысле его устранения.

Таким образом, оказывается, что с какой бы точки зрения мы ни взглянули на существующее в нашем обществе стремление пользоваться *чужими* порядками, оно не может привести ни к каким другим последствиям, кроме добрых.

И даже в таком случае, когда результатом этого стремления будет книга, подобная изданной г. Тарасенко-Отрешковым.

Говоря по правде, сделанные нами выше замечания об отношениях русских людей к заграничным порядкам относятся к сочинению г. Тарасенко-Отрешкова лишь весьма отдаленным образом. Сочинение это только внешним образом дает повод к размышлениям, само же по себе ничего не доказывает и ни о чем ясного понятия не дает. Это простой сборник замечаний чисто личного свойства, по прочтении которых читатель

[1] Скорых поездов.

[2] Билет на проезд в оба конца.

остается совершенно с тем же запасом сведений, с которым он был и до прочтения. С какою целью ездил автор за границу — не видно; знаком ли он с историей посещаемых им стран, или, по крайней мере, с современным их положением — тоже тайна. Некоторые из его замечаний даже носят на себе характер несомненной странности. Таковы, например, вопрос автора: «разве ваше (французское) правительство не требует, чтобы народ исповедывался и причащался» (стр. 217), или нелепые суждения какого-то киевлянина о безнравственности домашних спектаклей, или, наконец, разделение Парижа, по степени нравственности, на четыре территории, с указанием, в каких кварталах нравственность процветает и в каких оказывается в упадке. Подобных странностей в книге очень много, но, спрашивается, нужны ли они для кого-нибудь?

Окончательное заключение, к которому, впрочем, без особенно строгой последовательности, приходит автор, состоит в том, что на долю Франции и Англии выпала нелегкая задача улучшения быта рабочих, и что нам предстоит в близком будущем быть свидетелями процесса приведения этой задачи в исполнение. Вывод этот сам по себе был бы довольно банален, если б автор не прибавил к нему следующее: «нам, русским, предстоит видеть это, как свидетелям, к которым прикосновение (таков *русский* язык, которым написана книга) отклонено благотворными, ныне совершающимися или совершившимися у нас преобразованиями государственного строя». С этим, разумеется, нельзя

не согласиться, ибо хотя и уверяют некоторые легкомысленные люди, что те преобразования, которые ныне совершаются в России, на Западе Европы давно уж совершились, но очень может быть, что фраза «к которым прикосновение» и т. д. окажется истиною.

БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ

А. Михайлов. Роман. Спб. 1878

Во всех литературах существует известный разряд писателей, по преимуществу беллетристов, которых, по всей справедливости, можно назвать «беспечальными» писателями. В наше время, когда все мы, в большей или меньшей степени, «и жить торопимся, и чувствовать спешим», конечно, было бы несправедливо обращаться к литературе с советами в роде тех, какие преподавались писателям каким-нибудь Горацием или, например, нашим Гоголем. Разнообразные «злобы дня» совершенно захватывают современного писателя в свой водоворот, и тут уж, конечно, не до того, чтобы отделывать свои произведения, «вынашивать» их, внимательно вдумываться в смысл изображаемых явлений и проделывать вообще весь тот сложный умственный и нравственный процесс, который называется творчеством. Но — passez nous le mot [1] — до литературного онанизма доходить все-таки не полагается, как бы, в известном смысле, ни была естественна и даже законна некоторая, так сказать, ремесленность в деле журналистики. Если — в силу ли духовной импотенции самого писателя, или в силу внешних

[1] Извините за выражение.

условий жизни, говорить не о чем и сказать нечего — гораздо приличнее и достойнее молчать, нежели искусственно выдумывать себе темы или шуметь по-репетиловски о выеденном яйце. Не то беда, что писателю зачастую приходится, подчиняясь условиям журнальной деятельности, высказываться далеко не с такою силою и обстоятельностью, как он это мог бы и хотел бы сделать; худо, если он говорит не по внутренней потребности, не от наболевшего сердца, а просто *сочинительствует*, при чем для дела уже совершенно все равно — врет ли он небылицы в лицах для услады консьержей и гризеток, как какой-нибудь французик-романист, или же, понюхавши хрену, чтобы прослезиться, беспечально печалуется о явлениях, до которых ему столько же дела, сколько до прошлогоднего снега. И в том, и в другом случае он — отнюдь не писатель, а просто ремесленник, с изделиями которого критике делать нечего, так как ее критерий — не аршин и не безмен.

Скажем без обиняков — все это мы говорили прямо по адресу г. Михайлова... В океане бесцветных и бездарных романов и повестей, доморощенных и заграничных, затопляющем нас, романы г. Михайлова довольно выгодно выделяются своею постоянно очень сносною литературною обработкою, своею ловко скомпанованною фабулой, своею, наконец, благообразно-либеральною наружностью, но, к сожалению, только этим одним и выделяются.

Г. Михайлову, как бытописателю, очевидно, давно уже нечего сказать, и он довольствуется теперь тем, что повторяет и себя, и других.

Обладая очень незначительным запасом фактов и наблюдений, он высказался весь в своих первых романах («Гнилые болота» и «Жизнь Шупова») и в нескольких мелких своих повестях, а затем все его дальнейшие произведения представляют собою образец резонерского морализирования, непомерно скучного при всем своем комизме. Все бы это еще—с полгоря; не всем же быть новаторами, в самом деле. Но плохо то, что сквозь видимые миру слезы г. Михайлова внимательному читателю постоянно чудится незримый миру смех — не то лукавый смех в бороду авгура, знающего, где раки зимуют, не то скучающая улыбка человека, проделывающего какую-нибудь нелепую, но требуемую оффициальным этикетом церемонию. Мы не обвиняем автора в неискренности, у нас нет достаточных данных для этого. Но не на основании только одного непосредственного впечатления (хотя в деле эстетических и нравственных мотивов такое основание отнюдь не несерьезно), а на основании мелкости и рутинности тенденций г. Михайлова, мелкости, которую вовсе нетрудно доказать, мы вправе сделать или то заключение, что г. Михайлов решительно не умеет отличать крупные явления от мелочных, важное от неважного, а допустить это трудно, потому что г. Михайлов, бесспорно — человек не глупый; или же мы вправе подумать, что г. Михайлову дорога не тенденция, а тенденциозничанье, не идея, а парадированье с кокардой, не влияние на читателя, а возможно сильнейшее впечатление на него. Оттого-то у него и глаза на мокром месте; оттого-то он и способен проливать потоки

слез там, где достаточно было бы одного хорошего плевка. Новый роман г. Михайлова как нельзя более подтверждает наше мнение об этой замечательной стороне таланта нашего автора. В этом романе г. Михайлов рассказывает, неизвестно для кого и для чего, о «беспечальном житье» нашей так-называемой золотой молодежи, т. е. о небольшой, сравнительно, кучке материально обеспеченных шалопаев, о ее кутежах, о ее мошеннических шалостях и шаловливых мошенничествах и т. д. Рассказывает г. Михайлов очень прилично и гладко, тем более, что тема сама по себе в высшей степени удобна для того, чтобы по ее поводу наговорить с три короба прекраснейших и справедливейших вещей, начиная с вреда праздности и кончая трактатом о необходимости нравственного воспитания и самовоспитания. Для либерального резонерства здесь представляется самое широкое поле. Но мы спросим читателя: может ли эта тема сама по себе иметь хоть какое-нибудь общественное и современное значение? Кому же неизвестно, что было бы болото, а черти всегда найдутся? Но в данном случае даже и этого сказать мало. Рыцари «беспечального житья», все эти Аносовы, Сухаревы, Винтеры и Флери г. Михайлова не могут претендовать даже на роль тех паразитов, которые своим существованием указывали бы на какой-нибудь специальный общественный недуг и изображение которых поэтому было бы в известном смысле благодарно с точки зрения социального диагноза. Не могут, потому что они — порождение таких общих, коренных, застарелых и знакомых-перезнакомых недостатков обществен-

ного устройства, которые не связаны никакою специальною нитью с современностью, и интерес новизны могут представлять только для тех, кто не перерос литературы прописей. Разница между современным Аносовым и каким-нибудь petit maître'ом [1] XVIII столетия состоит в их костюме, прическе, пожалуй, манерах, да разве еще в том, что Аносов подделывает подписи к векселям, чтобы добыть себе средства к дальнейшему беспутничанью, а мало цивилизованный петимэтр доброго старого времени довольствовался менее утонченными способами. Этими внешними признаками и исчерпывается различие между ними; их нравственная сущность одна и та же. Ни тот, ни другой не представляли собою серьезной силы, которую можно было бы ненавидеть и которую следовало бы изучать; ни тот, ни другой не имели будущности, кроме той, которая грозит всякому вонючему клопу, когда хозяин дома, потерявши, наконец, терпение, вооружается чугуном с горячей водой. Горячиться по их поводу было простительно, например, старику Новикову, когда у литературы только еще прорезывались молочные зубки, но нам, окруженным гадами похуже и поядовитее клопов, нам, не знающим, за какую из сотен грозящих рук Бриарея-жизни ухватиться, чтобы отклонить удар, нам, наконец, уже считающим за собою ряд серьезных поражений и побед, имеющим свои дорогие могилы и колыбели, нам, право, как-то даже уж и неприлично возиться с такими пустейшими пустяками, как идиотская клиентела содержателей и содержательниц разных развеселых мест.

[1] Франтом

Стрелять из пушек по воробьям—слишком уж смешное занятие, чтобы объяснить его касательно г. Михайлова избытком наивности. В том-то и дело, что он, повторяем, не только не наивен, а, напротив того, изображает собою среди своих единомышленников нечто в роде хитроумного Одиссея, и верности этого сравнения не может повредить невольно являющееся, по естественной ассоциации идей, воспоминание о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса. Он действует не бессознательно, неспроста. Он стреляет затем, чтобы произвести шум, стреляет из пушек (т. е. пишет объемистый роман), чтобы произвести как можно больше шуму; а затем, сколько воробьев останется на месте после этой канонады и кому нужны воробьиные трупы — для него безразлично. Это пусть будет как угодно г. Михайлову. Но нельзя не заметить, что какое-нибудь гороховое пугало, в роде «Гражданина»[1] или «Домашней Беседы»,[2] функционировало в этом отношении с большими результатами, по крайней мере, с большею естественностью, нежели морализаторские перуны нашего автора.

С чисто эстетической, литературной точки зрения «пушки» г. Михайлова на этот раз — даже не пушки, а безобидные, хотя и шумливые петарды. Роман написан плоховато, скучновато,

[1] Реакционный орган. Издавался кн. В. Мещерским. В семидесятых годах ответственным редактором «Гражданина» был Достоевский.

[2] Газета крайне-реакционного направления. Она издавалась в Петербурге знаменитым мракобесом В. Аскоченским с 1858 по 1877 г.

длинновато и даже достаточно-таки пошловато. Какой-нибудь психологической обработки характеров от г. Михайлова было бы странно требовать; тенденция романа, как сказано, давно лишилась зубов от старости; отдельные сцены вялы и безжизненны до последней степени. Рассказывать содержание романа мы, конечно, не станем, потому что мы именно и доказываем все время его абсолютную бессодержательность. А сверх того — и это важное преимущество г. Михайлова — он пишет замечательно *ровно*, не повышая и не понижая голоса; он выдерживает свое беспечальное печалование до конца, аккуратно понюхивая свой хренок, и преблагополучно заканчивает, ничего не сказавши и ни о чем не умолчавши. Таким образом, и автор доволен — он произвел шум, и читатель доволен — он остался цел, а рецензенты г. Михайлова довольны больше всех, потому что, благодаря безукоризненной ровности автора, они избавляются от скучнейшей обязанности делать какие бы то ни было выписки из того, что не заслуживало и один-то раз быть написанным.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УМА ИЛИ СЛОВАРЬ ИЗБРАННЫХ МЫСЛЕЙ АВТОРОВ ВСЕХ НАРОДОВ И ВСЕХ ВЕКОВ

Составил по французским источникам и перевел *Н. Макаров*. С.-Петербург. 1878 г.

Судя по эпиграфу, который предпослан предисловию этой книги («Величайшим сокровищем было бы собрание хороших человеческих мыслей»), намерения г. Макарова были очень обширны. А именно: собрать «хорошие» мысли, разбросанные в бесчисленных сочинениях бесчисленных авторов, сгруппировать их в рубрики, эти последние разместить в алфавитном порядке, и в таком виде поднести свой цветник публике. Если б это удалось, то по некоторым отраслям знания не нужно было бы читать никаких подлинников и достаточно было бы запастись словарем г. Макарова, чтобы почувствовать себя вполне удовлетворенным.

Но намерение это не удалось и не могло удаться. Отдельные мысли, будучи вырваны из той логической цепи, в которую они были первоначально заключены в качестве необходимого звена, принимают характер непомнящих родства. Они перестают быть мыслями и делаются краткими и притом совершенно случайными изречениями, о которых нельзя сказать, насколько они

верны или ложны, потому что бог-весть откуда они явились и куда могут привести. Поэтому, будучи соединены вместе с другими «мыслями», высказанными по тому же предмету, в одну рубрику, они представляют несвязный и неклейный сброд, а будучи взяты отдельно, каждая сама по себе, они являются чистейшим пустословием.

Следовательно, хотя г. Макаров не без удовольствия говорит, что в его словаре *закон* имеет 61, а *женщина* — 213 мыслей, но это вовсе не означает, чтобы по прочтении этих рубрик можно было получить сколько-нибудь обстоятельное понятие о *законе* или *женщине*, а следует понимать эти слова так, что и по тому, и по другому предметам читателю предложен безвкусный винегрет, составленный из такого-то количества мыслительных обрывков. А так как в числе этих обрывков некоторые говорят *за*, а другие—*против*, то от этого винегрет делается сугубым, ибо при таком соединении диаметрально противоположных мыслей уже окончательно утрачивается всякое понятие о их месторождении. Так, например, изречение: «политика требует только много прямодушия и здравого смысла», поставленное рядом с другим: «вся тайна политики состоит в том, чтобы кстати обманывать и лгать» (оба принадлежат г-же Помпадур), может заставить читателя только воскликнуть: зачем явились рядом две столь несовместимые глупости? И притом разве можно назвать это мыслями, равно как, например, и следующую «мысль»: «напыщенность — это крахмал красноречия»? По нашему крайнему убеждению, это пустословие и больше ничего.

Тем не менее, при известном уровне общественного развития даже и странные намерения могут достигать некоторых небесполезных практических результатов. Так, например, нет ничего нелепее так-называемых «Письмовников», а между тем, благодаря громадной массе малограмотных людей, спрос на подобные книги бывает весьма бойкий. Стало быть, существует известная потребность, которая этими книгами удовлетворяется. Точно то же может случиться и с «Энциклопедией ума» г. Макарова. В наших культурных слоях чувствуется потребность в мышлении и даже сознается, что обладание известным запасом мыслей может доставить человеку некоторые выгоды, но привычки мыслить еще нет. Вот на такой-то случай, когда, по обстоятельствам, мыслить не лишнее, а мыслей нет, настоящая книга и представляет существенное подспорье. Г. Макаров и сам, очевидно, имел это в предмете, говоря, что энциклопедия его может служить подспорьем при недостатке начитанности и памяти: мы же с своей стороны присовокупляем, что она человеку вполне невежественному несомненно поможет приобрести репутацию мудреца в глазах другого столь же невежественного человека.

Представим себе, например, честолюбивого столоначальника, который уже на заре дней своих мечтает о том, как он будет со временем уловлять вселенную, но, к своему горю, чувствует один недостаток — не имеет «мыслей». До сих пор он знал только два подходящих слова: «ежовые рукавицы», но так как нечто подсказывает ему, что слова эти уже утратили свою творческую силу,

то он поневоле воздерживается от них, и волей-неволей большую часть времени проводит в том, что сидит выпучив глаза, а следовательно, не имеет и случая выказать свои таланты. Теперь, благодаря г. Макарову, он открывает «Энциклопедию ума» и говорит: «лучшей администрацией бывает та, которая представляет наиболее выгод и имеет наименее неудобств». Нет слова, что это изречение глупое, но, по нашему месту, даже и оно производит приятное изумление. Этого мало, через минуту он продолжает: «закон должен походить на смерть, которая ничего не щадит». А еще через минуту: «нужно держать народ в строгом повиновении для его же собственного спокойствия», ибо «народы вообще погибают от своих страстей», а «народы легкомысленные и самонадеянные, сверх того, спят на волканах и плачут на кладбищах». И в заключение: «дураки, по необходимости, упрямы; чем меньше у них идей, тем крепче они их держатся». Опять-таки повторяем: все это мысли несомненно глупые, но как только честолюбивый столоначальник их высказал, так его карьера сделана. Особливо, ежели при этом присутствует внимательный и благосклонный слушатель, который (как это часто у нас бывает) занимается отыскиванием «людей». А раз карьера сделана, то, само собой разумеется, что и на месте своего нового назначения благодарный карьерист не только не предаст г. Макарова забвению, но и сугубо воспользуется его помощью, потому что ему наверное понадобится написать циркуляр, начинающийся словами: «Для того, чтобы сделать народ добродетельным, надо сделать его счастливым».

Возьмем другой пример из другой сферы. Тряпичкину необходимо написать в газету передовую статью, трактующую о финансах. И прежде ему случалось писать о финансах, но так как ему было неизвестно, в чем состоит истинное сокровище и где оно обретается, то это невыгодно отражалось и на статьях его, которые не могли быть ни ясными, ни поучительными. Теперь же, развернув «Энциклопедию ума», он прочтет, во-первых: «Кто ценит золото более, чем добродетель, тот потеряет и золото, и добродетель»; во-вторых: «Просите совета у мудрости: она научит вас быть счастливыми без богатства»; и в-третьих: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут». И проникнувшись этими «мыслями», несомненно напишет блестящую передовую статью, которую начнет словами: «Когда кто знает четыре правила арифметики, тот бывает орлом в финансах», а кончит словами: «финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка поддерживает повешенного».

Но самых отличных услуг от «Энциклопедии ума» должны ожидать, конечно, светские молодые люди. Доныне они находились в большом затруднении. Отправляясь на бал к г-же Гулак-Артемовской, [1] молодой человек хотя и понимал, что благопристойная беседа составляет одно из украшений этих балов, но так как у него не было нужных для того «мыслей», то он в большинстве случаев, вместо разговора, только вращал зрач-

[1] Великосветская авантюристка, «героиня» скандального судебного процесса. Салтыков упоминает о ней в «Убежище Монрепо».

ками. Теперь никаких затруднений по части мыслей не может быть. Достаточно молодому человеку за полчаса до отъезда на бал проштудировать несколько страниц «Энциклопедии ума», чтобы во время первой же кадрили произошел следующий разговор:

Он «Тот, кто не любит, тот есть тело без души!» *(Смотрит на ее бюст и облизывается).*

Она *(вполголоса).* Не облизывайтесь; муж смотрит на нас. *(Вслух).* Да; но «истинная любовь всегда скрывается и никогда не надеется на успех». Наша очередь делать фигуру. *(Оба встают и исполняют свои кадрильные обязанности).*

Он *(смотря с упоением, как она садится).* «Любовь — это небесная капля, которую боги влили в чашу жизни, чтоб уменьшить ее горечь».

Она *(вполголоса).* Вы так на меня смотрите, что муж непременно... *(Вслух).* Я согласна с вами, но все-таки продолжаю думать, что «истинная любовь всегда сопровождается уважением». Наша очередь делать фигуру. *(Встают* etc).

Он *(забыв, что ему следовало бы сказать).* «Да, но любовь приходит, равно как и уходит помимо нашей воли». *(Говорит от себя).* Вы думаете?

Она. Да, думаю, потому что «физическая любовь есть горячка: все, что она говорит и делает, есть только бред!».

Он *(вновь обращая внимание на ее бюст).* «О женщины! Без женщины заря и вечер были бы без помощи, и ее полдень — без радостей!»,

Она. Согласна. Но все-таки «наилучшее украшение женщины — это непорочные нравы». А еще могу сказать вам: «женщины не могут придумать наряда, который украшал бы их столько же, сколько добродетель».

И так далее, до бесконечности.

Вот что может сделать «Энциклопедия ума», г. Макаров, и в этом, по мнению нашему, заключаются ее несомненные права на внимание публики.

КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ

Напрасные опасения

(По поводу современной беллетристики)

Статья «Напрасные опасения» появилась, без подписи, в октябрьской книжке «Отечественных Записок» 1868 г. В литературе нет указаний на принадлежность статьи Салтыкову; не приписывается она и другому автору. Эпистолярные публикации, в частности письма самого Салтыкова, также не вносят ясности в этот вопрос. То же, впрочем, приходится сказать почти о всем публикуемом материале.

До 1868 г. Салтыков, с большей или меньшей обстоятельностью, неоднократно разрабатывал текущие вопросы литературы. Мы имеем в виду общественные хроники, которые он печатал в «Современнике» (отдел «Наша общественная жизнь») с января 1863 г. по март 1864 г., а также его рецензии в этом журнале. [1] По характеру наших комментариев естественно обратиться к этим высказываниям.

Начало общественной хроники, опубликованной в декабрьской книжке «Современника» за

[1] Анализ общественных хроник и рецензий, напечатанных Салтыковым в „Современнике" 1863 — 1864 г.г., дан в книге А. Пыпина „М. Е. Салтыков", С.-Петербург, 1899.

1863 г., в значительной мере совпадает с приступом к «Напрасным опасениям».

«Публика, — писал там Салтыков, — не без основания сетует на русскую литературу, или, вернее, на ту ее часть, которая зовется беллетристикой. Старые таланты исписываются, и, сотворив что-нибудь черезчур уж великое, с видимым смущением спешат на покой, новых талантов не нарождается».

Недовольство читателя Салтыков объяснял тем, что беллетристика приобрела этнографический характер; вместо более или менее законченной картины, писатель воспроизводил разрозненные эпизоды. Соглашаясь с читателем, требовавшим от художественного произведения цельности и полноты, Салтыков вместе с тем обращал его внимание на закономерность процесса, происходящего в литературном движении.

«Направление литературы, — говорил он, — изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности... В самой жизни выступают только *материалы для жизни*».

Так же разрешается вопрос о социальной обусловленности литературы и в «Напрасных опасениях».

«...Не надобно забывать, — читаем мы здесь, — что литература всегда и неизбежно отражает на себе признаки своего времени. Наше время, по справедливости, называется переходным, т. е. таким, которое не столько дает готовые ответы, сколько *собирает материалы* для этих ответов. Этот же переходный характер необходимо при-

знать и за литературным движением последнего времени. Результаты его не поражают блеском — это правда; но важно то, что осознана необходимость положительного отношения к жизни, что уже намечаются основные черты *нового типа* и в то же время неутомимо *собирается материал*, необходимый для дальнейшего всестороннего определения его».

В очерке «Что такое «ташкентцы»?», напечатанном через год после «Напрасных опасений», Салтыков вновь вернулся к этой теме. Мы имеем в виду замечание, заключающее блестящее противопоставление социального романа «семейственному»: «...покуда арена, на которую, видимо, выходит *новый роман*, остается неосвещенною, скромность и сознание пользы заставляют вступать на нее не в качестве художника, а в качестве *собирателя материалов*».

Много лет спустя, в одиннадцатом письме к «тетеньке» (1882 г.), Салтыков опять останавливается на этом вопросе и приходит к пессимистическому выводу. Жизненная неурядица, — говорит он, — формирует литературу по своему образу и подобию. «О творчестве нет и в помине. Нет ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение *сырого материала*, да и то материала *несвязного, противоречивого...* Мы... читаем эти *обрывки*, и чувствуем себя под гнетом какой-то безысходной тоски. Ни в жизни, ни в литературе — нигде разобраться нельзя».

Таким образом, мы видим, что проблема социальной обусловленности литературного движения разрабатывалась Салтыковым на протяже-

нии двух десятилетий, при чем каждый раз он выражал основную мысль именно в той формулировке, которая дана в «Напрасных опасениях».

Однако, в рассматриваемой статье эта тема играет подчиненную роль. Недовольство современной беллетристикой здесь, прежде всего, объясняется не ее недостатками, зависящими от общественных условий, а составом читающей публики, который, по утверждению автора, в основном не изменился с сороковых годов. В соответствии с такой установкой большая часть статьи посвящена сороковым годам и «лишним людям».

Без сомнения, эта тема крайне характерна для Салтыкова. Такое утверждение правомерно хотя бы потому, что к сороковым годам, как историческому прошлому, он обратился уже в «Брусине» (повесть написана в 1849 г., а опубликована после смерти автора), т. е. на заре своей литературной деятельности, и эту же тему разрабатывал в «Пошехонской старине», перед смертью.

В «Брусине» Салтыков, устами Николая Иваныча, отнесся к этому важному периоду русской общественной жизни *резко-критически*. На первый план он ставил отрыв от жизни передовой дворянской молодежи, отсутствие у ней положительных знаний. В очерке же «Литераторы-обыватели» («Сатиры в прозе» — 1861 г.), в «Дневнике провинциала» (1872 г.), в рассказе «В дружеском кругу» («Благонамеренные речи», 1874 г.) Салтыков, напротив, старательно выдвигал *все положительные черты* сороковых годов, чтобы ярче подчеркнуть темные стороны современности. Зато в очерке «Сеничкин яд» (первоначально напечатан в отделе «Наша обще-

ственная жизнь» — «Современник», 1863 г. № 1 — 2, а затем включен в «Признаки времени») он нелестно охарактеризовал сороковые годы, вернее, тех их представителей, которые в шестидесятых годах выступали против «мальчишек» — передовой молодежи. Резко отрицательная оценка сороковых годов содержится и в «Дворянских мелодиях» (1877 г.). В «Круглом годе» (1879 г.) Салтыков снова обратился к дореформенному периоду и, сопоставив его с современностью, отдал предпочтение прошлому.

Этой благоприятной оценке Салтыков предпослал такое вступление (глава «Первое ноября»):

«По старой, закоренелой привычке я как-то невольно обращаюсь к сороковым годам и там отыскиваю примеров для сравнений. Не потому, чтобы я был пристрастен к этой эпохе, видевшей мою молодость *(я слишком часто говорил о слабых ее сторонах, чтобы быть заподозренным в пристрастии)*, а потому что тогда, сдается мне, воистину существовала вера в чудеса».

И, как бы желая восстановить в памяти читателя те критические замечания, которые он делал раньше, Салтыков бегло набрасывает несколько отрицательных черт, которые стушевываются в основной, положительной оценке сороковых годов.

К этим замечаниям мы еще вернемся, пока же отметим, что Салтыков критически отнесся к сороковым годам в «Письмах к тетеньке» (1881 — 1882 гг.), в «Пошехонских рассказах» (1883 — 1884 гг.) и в «Пошехонской старине» (1887 — 1889 гг.). Но эти неблагоприятные суждения он

высказал *после* написания «Круглого года». Чем же объяснить его категорическое утверждение, что он слишком часто говорил о слабых сторонах сороковых годов? Ведь, фактически, действительно обстоятельная критика этого периода содержится *только* в «Дворянских мелодиях», написанных *до* «Круглого года». Может быть, Салтыкову изменила память, и он приписал себе то, чего никогда не говорил? Несостоятельность такого предположения очевидна. Тема сороковых годов была слишком близка Салтыкову, чтобы он мог ошибиться.

Этого и не произошло. Салтыков, действительно, и до написания «Круглого года» вскрывал слабые стороны «эпохи, видевшей его молодость», при чем делал это очень обстоятельно, сосредоточившись только на данной теме, но излагал свои мысли в *анонимных статьях*, которые впоследствии, как и очень многое из написанного им, не включил в собрание сочинений. В литературе сохранились свидетельства о том, что читатели узнавали Салтыкова в анонимных произведениях. Очевидно, именно к этим читателям относилось его замечание. В более позднее время оно могло возбуждать только недоумение.

Мы сделали это отступление затем, чтобы, помимо текстовых параллелей, подкрепить нашу позицию хотя и косвенным, но все же немаловажным в данном случае обстоятельством. Тут же скажем, что сороковым годам посвящена и статья «Один из деятелей русской мысли», о которой речь впереди. Теперь вернемся к нашей основной теме.

Поставив перед собой задачу выяснить отно-

шение читающей публики к современной беллетристике, автор «Напрасных опасений», прежде всего, счел нужным дать оценку интеллигенции сороковых годов. Эта оценка, в существенных чертах, сводится к следующему:

«Наше общество сороковых годов (или, лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и доныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенной ясностью своих стремлений. В людях того времени (все-таки, в лучших) было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающей средой, но в этом чувстве замечалось так много *смутного* и *беспредметного*, что мысль, не будучи в состоянии определительно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только притти к каким-либо разрешениям, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их». «Оба поколения, т. е. и отцы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-политической почве, и вся разница, их разделяющая, заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая *утопия*, которой держались в том или другом лагере».

«Отживающий человек» в «Дворянских мелодиях» как бы вторит этой оценке, воссоздавая не только ее общий смысл, но и характерные нюансы:

«Молчаливое признание, что *утопия* может вечно витать в пространстве, не обнаруживая ни в чем своих прикладных свойств, — вот основа всех наших порывов и устремлений... Очевидно, что не только о деле, но и об отношении к делу тут речи быть не могло. Порывы наши были *смутны*, почти *беспредметны*...»

Наиболее талантливый представитель литературы сороковых годов, Тургенев, ярко запечатлел «смутное и беспредметное» существование дворянской интеллигенции того времени в образах «лишних людей». Автор «Напрасных опасений» так характеризует этот тип:

«Сомнение — вот та крайняя грань, далее которой он не может итти; сомнение и, вместе с тем, полнейшее бессилие. Лишние люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения... Конечно, им до известной степени уже неловко жить в той обязательной среде, которая их окружает, но *иго* этой *нравственной неловкости*, повидимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кроме мягкого и, в сущности, очень незлобивого будирования». «Сознание своей ненужности, успокоивающееся в самом себе, конечно, *не заключает в себе ничего плодотворного*, но оно уже имеет то несомненное преимущество, что человек, обладающий им, по крайней мере затрудняется своею ненужностью». «...Тип человека, сознающего себя лишним, *имел право на симпатию* по одному тому, что сознание это само по себе к чему-то обязывало...»

Характеристика типа «лишних людей» содержится в одиннадцатой главе «Круглого года» («Первое ноября»), о которой мы упоминали выше; к ней мы и обратимся для сравнения. Напомним читателю, что «Круглый год» был написан Салтыковым в 1879 г., т. е. спустя *одиннадцать лет* после опубликования «Напрасных опасений». Вот как в это время он определял тип «лишнего человека»:

«Создался особенный тип «лишних людей», не только скептически относившихся к своей внутренней цельности, но и положительно изнемогавших *под игом двогласия*, источником которого была с одной стороны литература, а с другой — жизнь... Правда, что от этих изнемоганий и самобичеваний *практически не было никому ни тепло, ни холодно*, и что, в большинстве случаев, они были скоропреходящими, но сами по себе люди, страдавшие двоегласием, все-таки представляли *известную долю симпатичности*».

Таким образом, мы констатируем, что оценка типа «лишних людей» в сравниваемых отрывках совпадает не только в общих чертах (что само по себе *в данном случае* не могло бы еще служить достаточным подспорьем), но и в своеобразных деталях. Попутно заметим, что такие «повторения» характерны для Салтыкова — они часто встречаются в его произведениях и сообщают высказываниям сатирика ту особую, покоряющую силу, которую порождает страстная убежденность в безусловной истинности выношенной идеи.

В какой социальной среде могло возникнуть беспредметное влечение к неизвестной цели, что зародило и питало бессилие «лишних людей»? Автор «Напрасных опасений» видит основу этих болезненных явлений в обилии досуга у дворянской интеллигенции сороковых годов.

«Трудно было ожидать, — говорит он, — чтобы в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по крайней мере она *полагала* себя навсегда обеспеченною), могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были

постепенно возрастать требования характера эстетического и отвлеченного... Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем *успокоительнее было их действие*, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то *праздничное существование, нечто среднее между сном и бодрствованием*, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях»... «Это... объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести Григоровича, несмотря на то, что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, т. е. о реальнейших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось недоставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель *сладко вздыхал* и, *разнеженный* идиллическими горестями Антона-горемыки, *внутренне радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям*». «Отсюда безграниченное благоговение перед искусством, отсюда — страсть к метафизической гимнастике. Предполагалось, что это занятие благородное, *чистоплотное*, способное не только *украсить*, но и оправдать досуг».

Существенные элементы этой характеристики, в применении к поэзии сороковых годов, содержатся в большой рецензии — статье Салты-

кова посвященной разбору «Новых стихотворений» Майкова («Современник», 1864 г., № 2, «Русская литература»). В этой рецензии мы читаем:

«Искусство жило отдельною от дел сего мира жизнью; оно направлено было исключительно к тому, чтобы *украшать* и утешать... Будучи плодом досужества, оно обращалось исключительно к *досужеству же;* услаждало досуги досужих людей, и это сообщало ему тот *чистенький*, аристократический характер, который составляет необходимую принадлежность всякого рода *успокоительных веяний* и усладительных *снов*. Поэтическая скорбь «вовсе не была скорбью, действительно хватающею за живое; это была та тихая, *сладкая* и неопределенная скорбь, потребность которой в особенности сильно чувствуется досужеством. Это не скорбь, а *приятное чувство томного расслабления;* человек доволен и счастлив; он *хорошо обставлен, не чувствует над собой тяготения страшной материальной нужды*, но в то же время смутно ощущает, что ему чего-то недостает. Это что-то недостающее, это нечто, составляющее необходимую подробность в общей картине жизни, и есть та самая «грусть», во свидетельство которой приглашается луна...».

Сопоставление цитированных отрывков опять-таки приводит к тому заключению, что общим здесь является не только одинаковый подход к теме, но и органически связанный с ним способ выражения мысли, т. е. налицо единство содержания в действительном значении этих слов.

К этой теме Салтыков обратился еще раз в 1877 г., и с большой силой ее основной мотив

прозвучал в «дворянских мелодиях» «отживающего человека».

«Я принадлежу, — говорит рассказчик «Дворянских мелодий», — к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. И конечно, и мы не всегда оставались верными чисто-эстетическим традициям, но по временам делали набеги в область действительности... Нет, впрочем, не туда, а скорее в область «униженных и оскорбленных». Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились *словно во сне...*»

«Я знаю, что самое выражение «дворянские мелодии» в настоящее время анахронизм; но что оно вполне подтверждается свидетельством недавнего прошлого — в этом сомневаться нельзя... Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя им удобства для *украшения их досугов*. И между тем — стоанная вещь! — молодые дворяне тосковали... Воркованье школы Карамзина и Жуковского казалось уже смешным, а более современный байронизм поражал своей беспочвенностью и неприложимостью к крепостной среде. Почувствовалась потребность в пище более пряного свойства, в такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы с крепостной действительностью и в то же время не слишком компрометировала бы тот общедворянский жизненный уклад, *отказаться от кото-*

рого вовсе не предполагалось. Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальною. *Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек.* Отсюда — «дворянские мелодии».

Такое определение «дворянских мелодий» совершенно совпадает с утверждением автора «Напрасных опасений», что в сороковых годах отцы и дети если и не сходились «в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы». В «Напрасных опасениях» содержится также любопытная иллюстрация к указанию «отживающего человека» на тесную зависимость русской литературы сороковых годов от западных образцов. Подражательность была столь велика, что даже произведения Григоровича воспринимались как «примерные». «Дворянину-читателю казалось... что рассказы эти не более как попытка ввести в русскую литературу новый жанр, уже пользующийся успехом за границей, и что все эти оброки, барщины и наборы представляют собой лишь своеобразные средства для построения драмы»...

Определив существенные черты воспитания и образа жизни дворянской интеллигенции сороковых годов, автор «Напрасных опасений» выясняет ее отношение к тем общественным переменам, которые произошли после «освобождения»

крестьян. При этом он утверждает, что только самая незначительная часть «мыслящего меньшинства» интеллигенции сороковых годов признает новые порядки справедливыми. Однако, придерживаясь такого убеждения в принципе, она сторонится современности, живет особняком. Что же касается подавляющего большинства этой интеллигенции, то оно относится ко всему новому с явной неприязнью. Причину последнего автор «Напрасных опасений» усматривает в следующем:

«Дело в том, — говорит он, — что это большинство меньшинства если и призывало какие-то новые порядки, то делало это бессознательно, с чужого голоса... При том же... эти люди могли и не *предвидеть тех практических последствий, которые необходимо влекло исполнение их желаний...* Понятно, с каким изумлением должны были увидеть эти господа, что живое дело не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним существом, которое в нем заключается... Но ежели люди до того близоруки, что не могут предвидеть самых простых последствий призываемого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им... Отсюда первое кровное оскорбление в бессилии и неумелости. *Мы призывали, мы бились изо всех сил,* и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, оказалось, при самом рождении своем, вышедшим *из меры того роста,* который мы ему предназначили!.. И вот, все эти люди, столь недавно еще казавшиеся несомненными либералами, вдруг делаются еще более несомненными злопыхателями и начинают *поно-*

сить те самые явления, в которых они когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни».

Анализ самочувствия большинства дворянской интеллигенции сороковых годов в первое десятилетие после отмены крепостного права тесно связан с характеристикой бывших либералов в одиннадцатой главе «Дневника провинциала» (1872 г.). «Автор» дневника, объяснив, какие причины не позволяют ему изображать представителей молодого поколения, заявляет, что он не решается воспроизводить и типы людей, «почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь». Не решается потому, что в его «распоояжении находятся *только* добродетели их». И вот, стоит ему взяться за дело, как художественное чутье подсказывает, что в «кавалере» есть изъяны. Дальше следует характеристика этих изъянов.

Бывшие либералы не понимают: «1) что почва, на котооой они когда-то стояли, давно изменилась; 2) что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом; 3) *что цели, осуществление которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими*... Постоянно находясь под игом воспоминаний о *периоде самоотверженности*, они чувствуют себя до того задавленными и *оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного*, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия... Чувствуя себя уязвленными, они уже не могут спокойно смотреть на проходящие перед их гла-

зами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним не совсем хорошим чувством *мести*».

В сравниваемых отрывках тождественность анализа и конечных выводов решает вопрос положительно. Кроме того, в первом отрывке останавливает внимание характерное выражение «мера роста», *которое Салтыков неоднократно употреблял.*

Так, защищая «мальчишек» от нападок «Русского Вестника», он писал: «Под этим словом подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: «*вот мера человеческого роста!*», и затем всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно» (см. «Современник», 1863 г. № 1—2, отдел «Наша общественная жизнь», и «Признаки времени» — очерк «Сеничкин яд»). В «Господах ташкентцах» («Параллель четвертая») читаем: «Государственный младенец тем отличается от прочих людей вообще и от людей государственных в особенности, что даже в преклонных летах не может *вырасти в меру человека*». В «Письмах о провинции» Салтыков, касаясь вопроса о сближении с народом, замечает, что оно принесет серьезные результаты только в том случае, если интеллигенция научится видеть в крестьянстве «собрание людей, *выросших в меру взрослого человека*».

Выяснив отношение дворянской интеллигенции к общественным условиям, сложившимся после

крестьянской реформы, автор «Напрасных опасений» устанавливает, какую позицию должна занять литература в новой социальной обстановке. Эту проблему он разрешает следующим образом:

«Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить *будущую* [курсив автора — *Ред.*] его физиономию... Таким образом, работа литературы представляется нам тою непрерывною, самооплодотворяющею работою, в которой одно определившееся явление неизбежно вызывает целый ряд иных, еще не определившихся, но уже возможных явлений. Те новые стихии, которые, после каждой победы мысли, призываются литературой к участию в жизни, могут дать повод к таким бесчисленным *общественным комбинациям,* которые в глазах непосвященной публики должны казаться не более как безобразными призраками, но которые литература обязана не только предусматривать, но и регулировать».

Молодая литература выполняет свое назначение, преодолевая большие трудности, которые возникают вследствие того, что новые социальные силы еще не нашли определенного места в жизни. В условиях переходного времени положение литературы можно сравнить с «положением исследователя, которому предстоит уяснить совершенно новый вопрос». «Необходимо пре-

жде всего опознаться в материале, уяснить его частности, а потом уже отыскивать в нем ту объединяющую нить, которая создает типы. Этих типов еще нет, или, лучше сказать, они не найдены... В строгом смысле нельзя даже безоговорочно утверждать, что *нет* [курсив автора — *Ред.*] типов, а можно сказать только, что они нам неизвестны, и что их необходимо *вызвать из мрака,* в котором они ютятся...»

К вопросу о назначении и обязанностях литературы Салтыков обращался неоднократно. Одно из его высказываний содержится в четвертой главе «Итогов» (1871 г.). Отметив, что «литература ухитрилась сделать из себя сокровищницу той же панглосовской мудрости, которая занимает и умы городовых», Салтыков затем говорит:

«Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего. Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех *общественных комбинаций,* среди которых человек проявляет свою творческую силу...». «Литература... воспроизводит образ *будущего человека...* Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке...»

Более раннее высказывание Салтыкова по этому вопросу относится к 1863 г. («Современник», № 12, отдел «Наша общественная жизнь»). Вот что он писал тогда об обязанностях литературы:

«Издавна принято видеть в литературе не что иное, как выражение понятий, стремлений и ве-

рований той общественной среды, в которой она живет и действует. Это верное определение вместе с тем заключает в себе и совершенно ясную характеристику обязанностей литературы относительно общества. Если последнее находится на распутьи, если оно чувствует свои прежние силы упраздненными, а новых еще не сознает, то литература обязывается *вызвать из тьмы* эти новые силы, указать на них обществу».

В данном случае текстуальные совпадения приобретают особо важное значение, так как они свидетельствуют, что автор «Напрасных опасений» и Салтыков тождественно истолковали понятие типа. Дело в том, что в этом вопросе Салтыков занимал особую позицию: он коренным образом расходился с до сих пор распространенным у нас взглядом, согласно которому «тип... с той поры... становится типом, когда он повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знаком» (Гончаров). Для Салтыкова типично то *новое*, что зарождается в процессе перехода одних явлений в другие, *поскольку оно определяет направление эпохи*. Отсюда настойчивые указания на то, что назначение литературы — воспроизводить «образ будущего человека», что она «обязывается вызвать из тьмы» новые социальные силы. С этой установкой тесно связана концепция социального романа, которую Салтыков широко развернул в «Господах ташкентцах».

Таким образом, мы видим, что мысли о типе и назначении литературы, высказанные в «Напрасных опасениях», органически сродны обще-

ственной и творческой позиции Салтыкова *и в общем своем развитии и очень существенных подробностях совпадают с салтыковским текстом.*

Установив, что интеллигенция сороковых годов и молодая литература шестидесятых годов резко расходятся в оценке новой социальной обстановки, автор «Напрасных опасений» тем самым определяет отношение «цивилизованного большинства» к современной беллетристике как явно отрицательное.

«Все в этой литературе должно казаться странным нашей туго поддающейся публике сороковых годов: и ее симпатии, и те новые люди, которых она выводит на сцену, и тот новый язык, которым она начинает говорить». «Читатель сороковых годов, который примирялся с литературой только под тем условием, чтобы она изображала ему человека, посвящающего свой досуг упражнениям в *благородстве чувств,* не хочет принять в соображение, что тип этот исчерпан до дна, и, следовательно, потерял даже право на самостоятельное существование. А между тем это самая вопиющая истина. С *благородным досугом мы дошли до глухой стены,* до совершенной невозможности приладиться к какому-нибудь делу... Мало того, что мы везде чужие, что куда бы мы ни обратили наши взоры, всюду как будто *«не наше дело»*, мы до того безразлично смотрели до сих пор на все окружающее, что не можем даже указать, откуда следует ждать нам помощи, где та среда, в которой делается какое-нибудь дело».

Тему о бессилии дворянской интеллигенции Салтыков настойчиво разрабатывал в разные

периоды своей литературной деятельности, причем характерно, что почти все его высказывания по этому вопросу сопровождаются образом «глухой стены». Это одно из тех салтыковских «повторений», которые преемственно связывают единую тему, развиваемую в разных художественных циклах, и закрепляют ее в сознании читателя своей эмоциональной насыщенностью.

Одно из первых упоминаний о «глухой стене» мы находим в «Письмах о провинции» (пятое письмо — 1868 г.).

«Задумывая какое-нибудь предприятие, — писал Салтыков, — мы на первых порах только о том и печалимся, как бы пристроить к нему чужеядство. Напрасно и совесть, и память шепчут нам, что, идя об руку с *чужеядством*, мы, наконец, *дошли до глухой стены*».

В статье «Самодовольчая современность» («Признаки времени», 1871 г.) Салтыков, анализируя одно из последствий «господства самодовольной ограниченности» — общественное бессилие, — писал:

«Страна, которая посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание обратила на правильность расчетов по ежедневным затратам, может считать свою роль оконченною. Это — страна мудрых. Ей некуда итти, ибо перед нею возвышается *глухая стена*, на которой начертано: *«не твое дело»*.

Если в первом случае «глухая стена» вырастает вследствие чужеядства, т. е. жизни на чужой счет, эксплоатации, иначе говоря — «благородного досуга», то в этом примере (как и в «На-

прасных опасениях») она уже тесно связана с обозначением, характеризующим основную сущность образа: «не твое дело».

В третьей главе цикла «За рубежом» (1880 г.) снова упоминается «глухая стена», на этот раз в связи с понятием — «благородная тоска». «Благородная тоска», это — существенный элемент «*благородства чувств*», лейт-мотив «дворянских мелодий».

«...Даже наиблагороднейшая тоска, — писал Салтыков, — и та представляет собой нечто несознанное, безвыходное, свойственное лишь бессильным и недоумевающим людям. Человек ничего другого не видит перед собой, кроме «*неотносящихся дел*», а между тем понятие о «неотносящихся делах» уже настолько выяснилось, что даже в субъекте наиболее недоумевающем пробуждается сознание всей жестокости и бесчеловечности обязательного стояния с разинутым ртом перед *глухой стеной*».

В данном примере, за исключением «благородного досуга» (см. выше), — *налицо все существенные элементы комментируемого отрывка* из «Напрасных опасений»: «благородство чувств», «глухая стена», «неотносящиеся дела» (очевидная перифраза понятия: «не наше дело»). Таким образом, мы и здесь имеем *полное совпадение с салтыковским текстом не только в общем развитии темы, но и в характерных, акцентирующих ее деталях.*

Решительно высказавшись против изображения в художественной литературе «человека, задумавшегося на распутьи», автор «Напрасных опасений» указывает далее, что беллетристы

должны искать положительных типов среди «новых людей» и в крестьянской массе.

Относительно последней он говорит следующее. Весьма возможно, что крестьянская среда, в которой действуют активные, положительные элементы, «представляет собою и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил, очень может быть, что это даже и не масса, а просто безобразная аггломерация единиц, тянущих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели». Однако, несомненно, «что иной среды, от которой можно было бы ожидать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено, а потому литература... обязана обратиться, прежде всего, к исследованию именно этой грубой среды...» «Первым толчком, который вывел русского простолюдина на арену деятельности, который показал, что в *физиономии этого субъекта есть нечто осмысленное... была реформа 19-го февраля 1861 года...* Со времени крестьянской реформы русский мужик делается в нашей литературе как бы *героем дня*». Но проникнуть в эту среду еще очень трудно. «Хотя крестьянская реформа и сняла с нее то иго, которое наиболее тяготело над нею, все же это среда таинственная, по преимуществу зараженная недоверием». Молодая литература, однако, преодолевает эти трудности и достигла уже заметных успехов. Она «познакомила нас не только с тою обстановкой, в которой живет наш простолюдин, но и с тем, как *выносится* эта обстановка...»

Прежде всего обратимся к последнему замеча-

нию. Его смысл раскроется нам, если мы ознакомимся с тем, как Салтыков определял понятие факта. Вот что он писал об этом в одной из своих общественных хроник, посвященной деревне («Современник», 1864 г., № 2, отдел «Наша общественная жизнь»):

«Жизнь русского мужика тяжела, но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний. Как всякая другая жизнь... она представляет богатый материал для изучения, а еще больше для сравнений и сопоставлений. Когда факт представляется перед нами в виде статистического данного, в виде цифры, то это еще совсем не факт, — это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значение факта, необходимо знать, чего он стоил тому, кто его *выносил* и по чьей милости он сделался фактом».

Смысловые и дословные совпадения с салтыковским текстом устанавливаются и относительно той части комментируемого отрывка, в которой говорится, что реформа 19 февраля 1861 г. облегчила писателю доступ в крестьянскую среду и сделала «русского простолюдина» «как бы героем дня» в литературе.

«Нужно найти какой-нибудь средний путь, — читаем мы в очерке «Что такое «ташкентцы»?», — на котором наблюдатель мог бы обозревать человека, питающегося лебедой, оставаясь самим собой, т. е. не ташкентствуя и не лебезя. Говоря по совести, этого среднего пути я еще не знаю, но кажется, что с *19 февраля 1861 г. он уже начинает понемногу освещаться. Массы*

выясняются; показываются очертания отдельных особей...»

Что касается «героя дня», то о нем ведут беседу «автор» и Феденька в «Круглом годе» (глава «Первое мая»). На нетерпеливое замечание Феденьки: «Так что нашей литературе суждено навеки пропахнуть мужиком?»—следует ответ:

— Вот-вот-вот, оно самое и есть. Обвинение третье, но, в сущности, главное и единственное. Мужик — это главное: как он смеет! Скажу тебе по секрету, мне и самому, по временам, литература наша кажется в этом отношении несколько однообразною и через край переполненною мужиком. Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... que diable![1] Но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. *Мужик — герой современности,* это верно».

На этом мы заканчиваем сопоставление «Напрасных опасений» с салтыковским текстом и переходим к выводам.

Прежде всего, отметим, что мы последовательно рассмотрели *основные вопросы* комментируемой статьи. В произведениях Салтыкова мы нашли места, которые всегда совпадают с основными частями «Напрасных опасений» по ходу мыслей, а зачастую и текстуально. Исходя из результатов анализа, мы утверждаем, что «Напрасные опасения» написаны именно Салтыковым. Несомненно, данная статья принадлежит к числу тех его работ, на которые он вскользь и неопреде-

[1] Чорт возьми.

ленно указал в «Круглом годе». Что Салтыков имел в виду при этом не только «Напрасные спасения», нам предстоит доказать анализом другой анонимной статьи, озаглавленной: «Один из деятелей русской мысли».

Петербургские театры

Перемелется — мука будет. Комедия в пяти действиях *И. В. Самарина*

Статьи, посвященные театральным постановкам, Салтыков печатал еще в «Современнике»; по своему содержанию они дополняли его общественные хроники. Статьи эти появлялись в отделе «Петербургские театры» («Современник», 1863 г., №№ 1 и 11). О театральных постановках Салтыков продолжал писать и в «Отечественных Записках» («О. З.», 1868 г., № 3. «Петербургские театры». «Золотая рыбка». Балет в трех актах и семи картинах. Соч. Сен-Леона; вошло в «Признаки времени» под названием «Проект современного балета»). На принадлежность Салтыкову публикуемых статей указаний в литературе нет. Как эта статья, так и следующая — о «Мещанской семье» М. Авдеева — появились без подписи; комментируемая статья напечатана в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» 1868 г.

По построению они не отличаются от аналогичных обозрений в «Современнике»: изложению содержания пьесы обычно предшествуют сатирически окрашенные рассуждения на отвлеченную тему, самое содержание интерпретируется также

сатирически, при чем тут же иногда делаются наблюдения над восприятием зрителя, в конце дается краткая оценка игры.

Но и помимо композиции, данная статья отличается такими характерными подробностями, которые не оставляют сомнения в принадлежности ее Салтыкову.

В ней несколько раз упоминается помещичье-крепостническая газета «Весть». Граф Шитвинский ее усердный читатель. Человек он либеральный, «повидимому, всему сочувствует, даже *акцизно-социально-демократическому либерализму* чиновников министерства финансов, но строго блюдет чистоту своей графской крови»... так как постоянно помнит, что «в Петербурге издается газета «Весть», которая вообще всех графов снабжает готовыми либеральными афоризмами».

Эта тема разработана Салтыковым в сказке «Дикий помещик», которая была напечатана спустя четыре месяца *после опубликования* комментируемой статьи («Отечественные Записки», 1869 г., № 3). Отметим и такую характерную деталь. «Дикий помещик» угощает генералов *печатными пряниками*. Дочь графа Шитвинского, Соня, напоминает Гане Решетову что «и ей не век же *печатные пряники* есть». Это выражение встречается и в позднейших произведениях Салтыкова. Так, в очерке «Охранители» («Благонамеренные речи», 1874 г.) исправник Колотов рассказывает, что он вместе с начальником «мечтал об английских лордах и правящих сословиях и вообще кормил его *печатными пряниками*». «Отживающий человек» в «Дворянских мелодиях» (1877 г.) замечает, что если бы он

«переделал свой жизненный девиз наоборот и вместо: «хочу, но не могу», написал на своем знамени: «могу, но не хочу», то забыл бы обо всем и «производил бы нужные физические отправления и съедал бы свою порцию *печатных пряников*».

Параллелью к «*акцизно-социально-демократическому либерализму*» может послужить «*откупной либерализм*», который уже «несколько *провонял сивухой*» («Наш губернский день» — «Сатиры в прозе», 1862 г.).

Граф Шитвинский «очевидно... *упитывался* «Вестью» тайком от домашних». Этот характерный оборот употребил Салтыков в одной из своих общественных хроник («Современник», 1864 г., № 3): «Бессмысленное слово: «нигилисты» переходит из уст в уста... Беллетристы положительно *упитываются* им».

Нелестная оценка игры артиста Нильского дана в такой реплике: «Г-жа Струйская стонет в продолжение получаса без отдыха, как будто бы угрожая зрителю: «погоди! *вот в пятом акте застонет г. Нильский — тогда-то ты восчувствуешь!*»

В цикле «В среде умеренности и аккуратности» мы встречаем такую же характеристику: Молчалин 2-й «схватился обеими руками за голову, и мне показалось, что внутри его *нечто зарычало*. И вдруг припомнилось мне, что *именно так поступает* на Александринском театре *актер Нильский*, когда видит себя в интересном положении».

«...Прежние столоначальники, — указывает автор, — только подшивали бумаги и нюхали табак... нынешний столоначальник смотрит на свое

дело уже совсем другими глазами; он бдит, предусматривает и стоит на страже».

Исправник Колотов («Охранители») в основном повторяет эту же мысль:

«...Чиновничья мудрость, — говорит он, — измеряется нынче не годами, а... готовностью, по первому трубному звуку, устремляться, куда глаза глядят».

Наконец, характерное замечание о «самошпионствующих журналах» находит соответствие в «самошпионстве, самоподслушивании и самонаушничестве», которые «неустанно точат провинциала» («Письма о провинции», 1868 г.).

Можно было бы привести еще несколько параллелей, но мы полагаем, что и сказанное положительно решает вопрос о принадлежности комментируемой статьи Салтыкову.

Петербургские театры

Мещанская семья. Комедия в четырех действиях *М. В. Авдеева*

Отзыв о постановке «Мещанской семьи» появился в февральской книжке «Отечественных Записок» 1869 г. Принадлежность статьи Салтыкову мы устанавливаем по характерным для него критическим замечаниям, направленным против «клубницизма» и натуралистического изображения действительности.

Определив место Авдеева в литературе как «специалиста по части вольной клубнички» и «бракоразводным делам», автор статьи указывает далее:

«При взгляде на сочинения этих авторов вы сразу угадываете, о чем тут будет итти речь и сразу же знаете, что следует сказать об них в качестве рецензента. В этих сочинениях все специально, а следовательно, и все просто. Вы не рискуете встретиться тут ни с какою нравственною запутанностью, которую вам предстояло бы разъяснить, не найдете ни одного положения, которое являлось бы продуктом известного жизненного строя. Все здесь просто и изолированно...»

Эту тему Салтыков затронул уже раньше, в очерке «Легковесные» («Признаки времени», 1868 г.). Мы читаем там:

«Призовите «легковесного» и велите ему написать роман на тему: «Она приподняла подол»; он настрочит двадцать печатных листов и ни разу... не сойдет с своей темы. Он не засмотрится в сторону, не увлечется ни умом, ни добродетелями своих героев, он исполнит заказ в точности...»

В новом произведении Авдеев изменил своей специальности, но, избрав другую, на этот раз благодарную тему, совершенно не совладал с нею. Причину очередной неудачи Авдеева автор усматривает в том, что он неспособен понять сложного явления, а схватывает только детали. Натуралистическое восприятие действительности (в данном случае — мещанской среды) автор статьи характеризует так:

«*Трудно дышится в этой грубо намалеванной сфере*, в которой до того извращены все понятия, что самые естественные требования здравого смысла и чувства представляются чем-то вопию-

щим, неестественность же и чудовищность, напротив того, усваивают себе все признаки естественности и нормальности. Но для того, чтобы сделать для зрителей эту *нравственную смуту* сколько-нибудь понятною, для того, чтобы зритель увидел в ней нечто более нежели простую *диковину*, необходимо, чтобы автор отнесся к своей задаче не только как к сброду более или менее комических подробностей, соединенных между собой чисто механической связью, но раскрыл бы тот *внутренний прах*, которым, собственно, и держится эта чудовищная агломерация всевозможных бессмыслиц, недомолвок и недоразумений».

Эта характеристика совпадает с салтыковской оценкой драмы Писемского «Горькая судьбина», сюжет для которой взят из крестьянской жизни («Современник», 1863 г., № 11, отдел «Петербургские театры»).

«Г. Писемский, — писал Салтыков, — положительно не знает, что он хочет сказать и в какие отношения может стать к предмету... *Читатель страдает от того, что его вынуждают несколько времени оставаться в злокачественной, зараженной тлением атмосфере.* Ясно, что талант, обладающий такими грубыми свойствами, может заявить свою силу только в создании известного рода *диковин*... Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение?) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода *нравственные* и умственные *неурядицы*...»

Таким образом, мы устанавливаем, что комментируемый отрывок связан с салтыковским

текстом не только по общему ходу мыслей, но и в характерных деталях. Обращает еще на себя внимание своеобразный оборот: «*внутренний прах*». Соответствие ему мы находим в очерке «Ташкентцы - цивилизаторы», который был первоначально озаглавлен «Господа ташкентцы» («Современник», 1869 г., № 10). Вот это место:

«Да, если уж заводить речь о каких-то метафизических пятнах, незримо ложащихся на какую-то не менее метафизическую совесть, то прежде надлежит изобрести средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы их гореть на лбу и щеках человека неизгладимым свидетельством того *праха, которым преисполнено в нем все*, за исключением сюртука и штанов, всегда находящихся в безукоризненной исправности!».

Человек, который смеется

(Наши охранители и наши прогрессисты *В. П. Безобразова*, «Русский Вестник», 1869 г. октябрь)

Эта анонимная статья напечатана в декабрьской книжке «Отечественных Записок» 1869 г. В литературе нет указаний на принадлежность ее Салтыкову. До сих пор историками литературы не было обращено внимания и на заявление самого Салтыкова, сделанное им в восьмой главе «Круглого года» (в связи с вопросом о «знамениях»).

«Я помню,—писал он,—лет семь тому назад[1] один из публицистов «Русского Вестника»

[1] В действительности с тех пор прошло десять лет.— *Ред.*

(в статье: «Наши охранители и наши прогрессисты») уже заводил разговор на эту тему. И тоже отчасти по моему адресу. Надергав из различных моих статей «местечек» и лишив их, ради аттической соли, связи с предыдущим, он огулом признал мою литературную деятельность вредною, подрывающей величественное шествие России, и в заключение, в каком-то непонятном восхищении, подстрекал самого себя на борьбу со мною. — Будем высоко держать знамя России! — и да послужит оно оплотом против наплыва неблагонадежных!.. Вот почему я тогда же обратился к встревоженному моим наплывом публицисту с просьбою указать подробно, в чем я должен исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтоб быть вычеркнутым из списка неблагонадежных. Конечно, ответа на мой вопрос не последовало».

В «Отечественных Записках» была помещена только *одна* статья, направленная против выступления буржуазного экономиста В. П. Безобразова. Это обстоятельство, будучи сопоставлено с заявлением Салтыкова, уже достаточно удовлетворительно разрешает вопрос об авторе данной статьи. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими замечаниями.

О выступлении Безобразова Салтыков упоминает не только в «Круглом годе» (в цитированной восьмой, а также десятой главе). Уже в «Письмах о провинции» (письмо двенадцатое — 1870 г.) он явно метил в Безобразова, когда изображал путешественника-экономиста, командированного «от какого-нибудь ведомства, а пожалуй и двух». Во второй главе «Итогов»

(1871 г.) Салтыков, говоря о ревизии в Пермской губернии, язвительно подчеркнул, что обнаруженные там вопиющие случаи издевательства властей над населением не могут быть объяснены «вторжением вредных и неблагонадежных элементов (*особенный вид преступности, рекомендуемый г. академиком Безобразовым*, но, по неясности признаков, до сих пор в уголовный кодекс не внесенный)», так как они не проникли в эту «волшебную страну». Во второй главе «Убежища Монрепо» (1879 г.) Салтыков замечает, что в дореформенное время не было стремления «группировать людей на какие-то мнимые сословия (*«охранителей» и «прогрессистов», как некогда выразился академик Безобразов*)». О Безобразове, опять-таки в связи с его статьей, вспоминает Салтыков и в «Письмах к тетеньке» (письмо десятое — 1882 г.).

После этих указаний фактического характера перейдем к текстовым параллелям.

Разобрав приведенный Безобразовым случай издевательства над рабочими, автор несколько раз подчеркивает, что этот эпизод никак не вяжется с обвинением «прогрессистов» в пессимистической оценке действительности и рассказан, очевидно, в погоне за «шикарностью и *пикантностью*».

В «Письмах о провинции» путешественник-экономист, увидев на станции, что ямщики едят «не только хлеб без примеси лебеды, но и ватрушки...», заносит в дневник: «по этому поводу пустить нечто *пикантное* против наших охранителей и прогрессистов, *утверждающих, что благосостояние народа находится в упадке*».

О «знамени» Безобразова автор комментируемой статьи говорит следующее:

«...Какое может иметь значение партия, которая заявляет себя «не принадлежащею ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме России и ее обновления?» Что можно найти в этом определении, кроме темного общего места, сказанного «на смех»? Что такое «знамя России»? — это такое выражение, которое во всяком случае нужно наполнить каким-нибудь содержанием, чтобы оно было понятно и предстояла материальная возможность об нем говорить».

В полемике с Ив. Аксаковым («Современник», 1863 г., № 9, отдел «Наша общественная жизнь») Салтыков точно так же отнесся к «знамени» славянофилов.

«Я, например, — писал Салтыков, — могу сказать: — «дело русского народа — мое дело; знамя русского народа — мое знамя: я русский». Но дело в том, что если попросят растолковать эти слова, то останется опять отвечать: «дело русского народа — мое дело» и пр.».

Наконец, выпады Безобразова, касающиеся сатирического элемента в «Отечественных Записках», т. е. непосредственно уже самого Салтыкова, автор комментируемой статьи парирует следующим образом:

«...Нам следовало бы сказать нечто о сатирическом элементе, но претензия заставлять говорить писателей тоном идиллическим, лирическим, сатирическим и т. д. до такой степени *наивна*, что не стоит даже возражать против нее. Сатира узаконена всеми *учебниками словесности*, и всеми же учебниками словесности признано, что все

роды литературной разработки жизненных вопросов хороши, кроме бессмысленного».

Такой же своеобразный характер носит реплика Салтыкова в восьмой главе «Круглого года».

«Как литератор, занимающийся книгопечатанием с ведома реторики, я разрабатываю всякого рода знамена в пределах той литературной рубрики, которая известна под именем «сатиры». Затем, справляясь с любым *курсом реторики*, я убеждаюсь, что основной характер «сатиры» заключается в том, что она «осмеивает пороки». Прошу читателя не сетовать на меня за эти несколько *детские подробности:* я останавливаюсь на них потому, что мне необходимо объясниться (ведь находятся люди, которым и это нужно объяснить), почему я пишу не в дифирамбическом, а сатирическом роде».

Дальнейшие сопоставления нам представляются излишними, так как мы считаем, что приведенные аргументы удовлетворительно разрешают вопрос о принадлежности комментируемой статьи Салтыкову.

Один из деятелей русской мысли

(Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк *А. Станкевича*. Москва. 1869)

Комментируемая статья напечатана, без подписи, в январской книжке «Отечественных Записок» 1870 г. Продолжения ее не последовало. Указание на то, что Салтыков собирался критически разобрать книгу, обозначенную в подзаголовке статьи, содержится в следующих строках его письма к Некрасову: «Намерен еще написать

фельетон, да по соглашению с Елисеевым взялся написать более или менее обширные статьи о Грановском (по поводу книги Станкевича) и Феофане Прокоповиче». [1] Последней статьи в «Отечественных Записках» не появилось.

Это указание, разумеется, ни в какой мере не решало бы вопроса о принадлежности комментируемой статьи Салтыкову, но тем не менее оно ценно, так как проливает некоторый свет на уже известное нам заявление, сделанное им в «Круглом годе». Стало-быть, Салтыков действительно намеревался более или менее обстоятельно, сосредоточившись только на этой теме, писать о сороковых годах и таким образом дополнить свои прежние высказывания.

Эта первая статья является вводной главой работы о Грановском и его времени, задуманной, повидимому, в весьма широком плане. Собственно к Грановскому автор обращается в середине статьи, а первую часть посвящает обстоятельному анализу тех общественных условий, в которых обычно приходится проводить свою программу прогрессивному деятелю.

«Процесс, посредством которого либеральная мысль проникает в общество, — читаем мы в начале статьи, — сопровождается такими типическими признаками, которые повсеместно и во все времена повторяются с одинаковым постоян-

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Под ред. Н. В. Яковлева. ГИЗ. 1925, стр. 57. В редакционном примечании к этому месту письма содержится следующее указание относительно комментируемой статьи: «Содержание и стиль статьи подтверждают принадлежность ее Салтыкову».

ством. Самый существенный из этих признаков заключается в том, что мысль представляется нам действующею *под покровом тайны*, затемняемою множеством оговорок, окруженною со всех сторон враждебными элементами и сопряженною со значительными рисками и пожертвованиями для ее представителей».

Так же характеризовал это явление Салтыков в одной из своих общественных хроник 1863 г. («Современник», № 11, отдел «Наша общественная жизнь»):

«Все новое — писал он, — нарождается вообще довольно туго, окружается известными препятствиями и потому вынуждено бывает *облекать свои десйтвия некоторою таинственностью...*»

Еще раньше, в очерке «Литераторы-обыватели» («Сатиры в прозе», 1861 г.), Салтыков определил сороковые годы, как «время, когда слово служило не естественною формой для выражения человеческой мысли, а как бы *покровом*, сквозь который неполно и словно намеками светились очертания этой мысли».

Консервативные элементы, рьяно отстаивая сложившиеся общественные условия, преследуют все новое и при этом не замечают очевидных фактов, которые должны были бы убедить их в том, что прогрессивные начинания, проникая в жизнь, двигают ее вперед, к более совершенным формам. Перед охранителями, — говорит автор комментируемой статьи, — «проходят явления, которые вчера еще *поражали своим либерализмом*, а сегодня уже сделались принадлежностью *самого обыкновенного порядка вещей*», но это не ослабляет их рвения.

В полемике с охранителями Салтыков неоднократно выдвигал этот аргумент. Так, защищая молодое поколение шестидесятых годов от нападок реакционеров, он писал: «Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось *мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством* все то добро, которое *ныне воочию совершается?* И нельзя ли отсюда придти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет *когда-нибудь* [курсив Салтыкова. — *Ред.*] называться добром?» («Современник», 1863 г., № 1—2, отдел «Наша общественная жизнь»).

В сатирической форме этот вопрос предложен Феденьке в «Круглом годе» («Первое мая»):

«Вот, например, ты *охотно признаешь современные формы общежития,* стоишь за них горой и вообще не нахвалишься ими; но разве они не считались в свое время *заблуждениями?* Разве ты был бы коллежским советником на заре твоей жизни, если бы не существовало до тебя людей, которые ценою горчайших испытаний очистили путь для табели о рангах?».

Мы видим, таким образом, что в салтыковских текстах нет отступления от комментируемого отрывка; в них, — более распространенно и образно, — развивается та же тема.

В преследовании прогрессивной мысли автор статьи усматривает опасность для общества, которое и не подозревает, что устранение свободного обсуждения назревших социальных вопросов в конечном счете влечет за собой катастрофические последствия.

«Почему-то предполагается полезным, — говорит он, — чтобы мысль находилась в состоянии постоянной тревоги, чтобы она высказывалась не сразу, а только в размере сотой или тысячной доли, и чтобы в обществе царствовало умеренное невежество, в котором видится залог его благополучия... *Что нужды, что в конце концов от анализа все-таки никуда не скроешься, что он придет сам собой и будет тем неумолимее, чем внезапнее произойдет его появление,* — общественные массы слишком стеснены всякими насущными потребностями, чтобы так далеко простирать свою *предусмотрительность*».

Салтыков не раз обращался с такими предостережениями к командующим классам общества. В статье «Сила событий» («Признаки времени») написанной в 1870 г., вслед за окончанием франко-прусской войны, мы читаем:

«Самый грубый практический способ устранения человека от деятельного участия в делах страны, к которому всего охотнее прибегали теоретики тишины, заключается в насильственном обречении массы в жертву невежественности и обеднения. По наружности, это средство действительно кажется неотразимым...» Однако, «это вопрос очень серьезный, и от разрешения его бесспорно зависят будущие судьбы теории, имеющей девизом: «не твое дело». Что, ежели окажется, что соответствие между равнодушием к общественным интересам и тишиною, которым мы так охотно задаемся, есть только призрачное соответствие? Что, ежели для уничтожения этого призрака достаточно одного случайного движения невежественной массы — *движения тем ме-*

нее отвратимого, чем больше мы возлагаем упований на невозможность его?»

Еще определеннее высказался по этому вопросу Салтыков во «Введении» к «Мелочам жизни» (1886 г.).

Указав, что «в основе социологических изысканий лежит *предусмотрительность*, которая всегда была главным и существенным основанием развития человеческих обществ», Салтыков подчеркнул, что причину «известного переполоха», который производили в массах утопии, «нужно искать не в открытом обсуждении идеалов будущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которыми постоянно сопровождалось это обсуждение». «Во всяком случае, — резюмировал он, — такое обсуждение представляет гораздо менее риска, нежели тайные общества и подземная работа нарастающих общественных элементов, которые, при отсутствии света и воздуха, невольным образом обостряются и приобретают угрожающий характер».

Таким образом, в салтыковском тексте содержится развитие той темы, которая сжато выражена в комментируемом отрывке. Мы имели в данном случае только одно текстуальное совпадение, но ему нельзя отказать в характерности.

Автор комментируемой статьи не берет на себя разрешение вопроса об исторических причинах, вызвавших преследования «цивилизующей мысли», его занимает другое — те обвинения, которые предъявляют реформатору охранители старых устоев жизни.

«Среди всеобщего господства рутины, — говорит он, — дающей свободный приют всевоз-

можным бессилиям, человек, вносящий в жизнь новую мысль, является в мнении масс не более, как назойливой аномалией, стремящейся сдвинуть общество с наезженной колеи единственно ради удовлетворения личного болезненно-развитого самолюбия. Призыв к сознательности считается на ряду с оскорблением; *попытка анализировать данное положение* становится чем-то вроде преднамеренного озорства, предпринятого не с тем, чтобы открыть обществу глаза, а с тем, чтобы породить в нем *бесконечные волнения*». К данной характеристике автор далее добавляет: «В виду этих угроз, делаются понятными не только опасения, но даже *преувеличения*. Вопрос о значении собственности связывается с вопросом о поголовной резне, *вопрос о значении семейства — с вопросом о поголовном разврате*».

Из всех высказываний Салтыкова по этому вопросу приведем только одно. В цитированной хронике 1863 г. он подчеркнул, что непонимание смысла новых явлений, происходящих в общественной жизни, и действий тех групп, которые сочувствуют им, отчасти объясняется тем, что «мы, люди, выработавшие себе известный строй понятий, вообще враждебно относимся ко всему, что хочет перерасти нас, и, подстрекаемые этим чувством, не прочь иногда прибегнуть и к *преувеличениям*. Таким образом, простое стремление к свободе мысли нам кажется уже *стремлением к анархии, вопрос о положении женщины в обществе сводится к вопросу о свободе разврата* и т. д.»

В этом случае мы устанавливаем не только одинаковое развитие темы, но и текстуальные

совпадения, которые свидетельствуют почти о полном тождестве самых характерных мест в сравниваемых отрывках.

Неблагоприятные условия, в которые поставлена «цивилизующая мысль», помимо внешних опасностей, влекут за собой опасности внутренние. Автор комментируемой статьи подробно анализирует эти, наиболее грозные опасности. Они заключаются в следующем: «во-первых... изменяется самое содержание мысли; во-вторых... незаметным образом деятельное проявление мысли подчиняется такого рода приемам, которые значительно ослабляют ее влияние на общество, и, в-третьих.... мысль постепенно изолируется и делается неспособною стоять на одном уровне с позднейшими успехами человеческого разума и понимать потребности той среды, к которой она обращается».

Особенно подробно автор анализирует вторую опасность, которая проистекает из соглашательства.

«Нет почвы более опасной и скользкой, — говорит он,—как почва соглашений. Однажды попав на нее, человек, незаметно для самого себя, приобретает такое множество дурных привычек, что только чудо может спасти его от окончательного падения. Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость... как такие качества, которые наиболее приличествуют характеру человеческих действий, и упускается из вида та обстановка времени и места, в которой эти прекрасные качества должны проявляться, и которая может сообщить им характер совершенно неожиданный и нежелательный. И что всего важнее,

забывается, что уступчивость, как орудие тактики, тогда только может иметь действительное значение, *когда она одинаково практикуется обеими сторонами в споре, а не тогда, когда одна сторона расширяет свои требования до бесконечности, а другая обязывается в такой же пропорции суживать свои.* В этом последнем случае терпимость, снисходительность и уступчивость нередко до такой степени изменяют свой характер, что делается трудным различить, действительно ли тут идет об них речь, как о принципах, или же они выставляются вперед только для прикрытия робости и малодушия тех, которые проповедуют эти качества. Обыкновенно человек начинает проповедью терпимости, а кончает тем, что один-по-одному обрывает лепестки того пышного цветка, который носит имя нравственного убеждения. Понятно, что в результате оказывается *бесцветный остаток*... Цели, которых обыкновенно предполагают достигнуть путем соглашений, в первоначальном, в беспримесном своем виде всегда заключаются в *ограждении самой либеральной мысли*». Однако, «ничто не действует на мысль столь растлевающим образом, как необходимость прибегать к оговоркам и уступкам. *Учение*, пораженное этой язвой... всегда принимает в себя столько примесей, которые делают его в значительной степени неузнаваемым».

В продолжение своей литературной деятельности Салтыков много раз обращался к теме компромисса. Одно из первых его высказываний по этому вопросу мы находим в общественной хронике 1863 г. («Современник», № 4, отдел

«Наша общественная жизнь»). Вот что он отвечал реакционному «Русскому Вестнику», который обвинял своих идейных противников в недостатке «справедливости».

«Подкладка всего этого: «*мы будем говорить, а вы молчите, мы будем приговоры изрекать, а вы приводите их в исполнение!* Мы одни имеем право быть мудрыми»... Эту «неблаговидную страсть к единоторжию мысли и суда» Салтыков разоблачил указанием, что «Русский Вестник» в действительности домогается не справедливости, а снисходительности, и тут же провел, превосходное по меткости, разграничение между этими понятиями. «Справедливость и снисходительность, — писал он, — совсем не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенные в пользу очень милого нам лица или очень любезного нам порядка вещей, тогда как справедливость есть простой анализ факта, в связи с его историей и окружающей средой».

В статье «Самодовольная современность» («Признаки времени», 1871 г.) Салтыков замечает, что компромисс, «однажды проскользнув в общую систему реформаторских намерений, гложет ее неустанно, гложет до тех пор, пока от системы не останется один *тощий остов*».

В пятой главе «Недоконченных бесед» (первоначально была напечатана под заглавием «Отрезанный ломоть» в мартовской книжке «Отечественных Записок» 1876 г.) мы встречаем такое определение соглашательства:

«Сущность этого *учения* заключается в том, что человечество должно подвигаться вперед от-

ступая. Некоторые адепты этого учения еще сохранили память о кое-каких идеалах и собственно *ради их достижения рекомендуют уступки и компромиссы;* но другие до того завертелись в беличьем колесе компромиссов, что уже ничего впереди не видят и ничего назади не помнят...».

Таким образом, мы устанавливаем в салтыковском тексте то же развитие темы компромисса, что и в комментируемом отрывке. При этом в одном случае имеет место текстуальное совпадение, а в других — намечается приближение к такому совпадению.

Третья внутренняя опасность, угрожающая «цивилизующей мысли», — ее изоляция от реальной действительности,—является следствием длительного разобщения с жизнью и ее запросами. Эту опасность автор иллюстрирует на примере либеральных деятелей, котооые были изгнаны или сами эмигрировали из Франции после декабрьского переворота 1851 г.

«То, что случилось некогда с эмигрантами французской революции, — замечает автор комментируемой статьи, — то же самое повторилось и над либералами 1848 года. Кажется, Гейне сравнивал первых с часами, которые, будучи однажды остановлены и потом, через несколько лет, вновь пущены в ход, начинают свой бой именно с того числа ударов, который им приходилось выбивать в ту минуту, когда они были остановлены; это же сравнение можно применить и к настоящему случаю».

Эту же аналогию в несколько измененном виде Салтыков проводит в седьмой главе «Дневника провинциала», характеризуя оторвавшихся от

жизни представителей сороковых годов. «Старые болтуны, — говорит он, — как давно заброшенные часы, показывают все тот же час, на котором застал их конец пятидесятых годов».

Проанализировав внутренние опасности, угрожающие реформаторскому движению, автор комментируемой статьи переходит к Грановскому и его времени. Прежде всего он выясняет свойства той среды, которая выделяла общественных деятелей в России. Для дворянства, говорит он, характерны материальная обеспеченность, привилегированное положение в государстве, замкнутость и бессознательность. Эта среда всегда руководилась инстинктами узкого эгоизма, и, вопреки утверждению биографа Грановского, дворянское общество сороковых годов не могло сочувствовать его деятельности. Ему симпатизировала только учащаяся молодежь, которая не имела веса в обществе. Так что указание биографа на широкую популярность Грановского противоречит фактам.

«Многие, впрочем, — продолжает автор, — не видят еще большого зла в этом отсутствии популярности и охотно сравнивают популяоность с «дымом», «пустым звуком» и т. д. Но это едва-ли справедливо, или, лучше сказать, справедливо только в таких положениях, как, например, то, о котором идет в настоящее время речь... *Не рукоплесканиями захмелевшей толпы* выражает себя популярность общественного деятеля, а... материальною и нравственною поддержкою, которые дает общество...»

Более раннее высказывание Салтыкова на эту тему относится к 1863 г. В ноябрьской хро-

нике («Современник» № 11, отдел «Наша общественная жизнь») Салтыков замечает, что самодовольный человек, который «смотрит на жизнь исключительно с точки зрения плотоядной», одним своим появлением возбуждает *«в захмелевшей толпе неистовые и бессмысленные рукоплескания»*.

В данном примере текстуальное совпадение подчеркивает сущность комментируемого отрывка. В последнем обращает еще на себя внимание характерное выражение: «не формализуемся». Мы встречаем его также в «Письмах о провинции» (письмо восьмое — 1869 г.) и в «Признаках времени» (очерк «Хищники» — 1869 г.).

Установив типические черты дворянской среды, автор переходит к воспитанию сверстников Грановского. Их готовили в чиновники—этим исчерпывалась вся задача воспитания. Соответственно такому назначению была и образовательная подготовка. Автор особо отмечает, что чиновник, «представлявший орган государства, мог свободно не знать, что такое государство... он обязывался иметь ясное понятие только о *«начальстве»*.

Такую же характеристику мы встречаем в очерке «В погоню за идеалами («Благонамеренные речи»), который был напечатан спустя *шесть лет* после опубликования комментируемой статьи.

«Даже люди культуры, — писал Салтыков, — как-то предводители дворянства, члены земских управ и вообще представители так-называемых дирижирующих классов — и те как-то нереши-

тельно и до крайности разнообразно отвечают на вопрос: что такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — *с начальством*».

Но даже те скудные знания, которые получал юноша, тотчас же испарялись по выходе из школы. «Эти знания, — говорит автор комментируемой статьи, — *соскользали* так же легко, как легко приобретались. В редких случаях они доставляли возможность убить время с большим или меньшим разнообразием, но гораздо чаще бывало так, что молодой человек, выходя из школы, считал себя счастливым, что делался *свободным от наук. Уже Грановский заметил эту особенность нашего воспитания.* «*Студенты, — пишет он («Биогр. очерк», стр. 205), — занимаются хорошо, пока не кончили курса;* по выходе из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее надежды, пошлеют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из круга так-называемых положительных интересов...»

В очерке «Что такое «ташкентцы»?», напечатанном двумя месяцами раньше комментируемой статьи («Отечественные Записки», 1869 г., № 11), *цитированный отрывок приведен почти дословно.* Мы читаем там следующее: «... «ташкентец» непременно получал так-называемые классическое образование, т. е. такое, которое имело свойство испаряться немедленно по оставлении пациентом школьной скамьи. *Еще Грановский подметил это странное свойство российского классицизма. Студенты. — пишет он в одном из своих писем — («Биограф. очерк»*

А. Станкевича): занимаются хорошо, пока не кончили курса», или, другими словами, до тех пор, пока может потребоваться сдача экзамена. После сего, как и следует ожидать, наступает полнейшая «*свобода от наук*». Знание, которым он окатил себя, уже *соскользнуло*».

В названном очерке Салтыков цитировал также немецкого историка Нибура. Эта выдержка содержится и в комментируемой статье.

В заключение остановимся на рассуждении автора об «утешениях истории», которым он завершает анализ неблагоприятных общественных условий, сопутствовавших деятельности Грановского.

«Утешающее значение истории,—говорит он,— заключается, во-первых, в том, что она представляет картину не только постепенного распространения цивилизации, но и постоянного истощения сил, ей противодействующих, и, во-вторых, в том, что примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее время ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают современем сделаться вовсе ненужными. Несмотря на поборников бессознательности и произвола, человечество продолжает жить; несмотря на *ненормальность такого явления, как самоотвержение*, оно освещает от времени до времени историю не ради оправдания своей рациональности, а единственно ради объяснения своей *условной уместности*».

К этому же вопросу Салтыков обратился в заключительной главе цикла «За рубежом», написанной *одиннадцать лет спустя* после опубликования комментируемой статьи.

«Несомненно, — писал он, — что и между... средними деятелями современности встречается очень много честных людей, которые совершенно искренно верят, что история представляет неистощимый источник утешений. Но средний человек всегда инстинктивно отличает теорию от практики... Самоотверженность не в нравах среднего человека... Средний человек не прочь даже, в видах самооправдания, сослаться *на ненормальность самоотверженности вообще* и в принципе он будет, пожалуй, прав. И хотя ему можно возразить на это: так-то так, да ведь *в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальным*, — но ведь это уже будет порочный круг, вращаться в котором можно до бесконечности, не придя ни к какому выводу».

Таким образом, и здесь мы имеем почти дословное совпадение основных мыслей комментируемого отрывка с Салтыковским текстом.

На этом мы закончим анализ данной статьи. Как и при разборе «Напрасных опасений», мы использовали для текстовых параллелей произведения Салтыкова, написанные в течение двух десятилетий («Литераторы-обыватели» — 1861 г., седьмая глава цикла «За рубежом — 1881 г.). Руководствуясь показаниями анализа, мы утверждаем, что данная статья безусловно принадлежит перу Салтыкова, и что, следовательно, на нее он ссылался в «Круглом годе».

Наши бури и непогоды

«Наши бури и непогоды» напечатаны, без подписи, в февральской книжке «Отечественных Записок» 1870 г. Основная тема этого очерка —

паника, возбужденная слухами о правительственных репрессиях в связи с нечаевским делом. К теме «общественного испуга» Салтыков обращался неоднократно, при чем в страдательной роли у него всегда действует «культурный человек среднего пошиба» и рассказ ведется от первого лица. Выявить этот образ рассказчика в произведениях Салтыкова и восстановить его в той органической цельности, которую сообщила ему творческая мысль сатирика, — задача большой трудности и захватывающего интереса.

Мы здесь не можем даже бегло коснуться данной проблемы. Покажем только, что характерные черты этого образа отчетливо проступают и в публикуемом нами очерке.

Раньше всего остановимся на автохарактеристике рассказчика.

«Я, — сообщает последний, — человек от природы характера самого робкого. Когда настает общественная паника, я начинаю трусить едва-ли не более всех. Чувство трусости есть самое скверное чувство; это я имел случай испытать много раз в моей жизни. Но если природа наградила кого-нибудь этим чувством, то ничего не поделаешь. Остается одно: быть настороже против разных невзгод и принимать во-время благопотребные меры. Так и веду себя я».

В числе других предосторожностей рассказчик прибегает и к такой: отказывая себе в самом необходимом, он нанимает «приличную квартиру с швейцаром». «Швейцар, — объясняет рассказчик, — великое дело в нашей жизни. Мимо него не пройдет ни один из идущих в мою квартиру. Но мне нравится особенно то, что бог одарил

моего швейцара значительною дозой проницательности и любопытства, памяти и что эти качества сохранились в нем во всей силе, несмотря на его преклонные лета. Он знает не только имена, звания, занятия, но даже места жительства моих знакомых... Но еще более нравится мне то, что *швейцар мой находится в самой тесной дружбе с нашим околодочным...* «Ведь о чем-нибудь разговаривают же они», думаю я про себя, «проводя целый день вместе? О чем же они разговаривают? Конечно, о жильцах, которые живут в доме, о знакомых, которые к ним ходят, о том, кто эти знакомые, и проч. Одним словом, околодочный знает все то, что знает и швейцар»,—заключаю я и потираю себе руки от удовольствия... Но как ни завидно положение мое в сравнении с другими, прихоти смертного, как известно, нет пределов... Я желал бы, чтобы не только по наружности, но даже внутри моего жилища постоянно присутствовал какой-нибудь *любопытный* консерватор, который наблюдал бы за каждым моим шагом и движением, выслушивал каждое мое слово. *До того я невинен, что мог бы, кажется, предстать во всякое время и всюду...*».

Несмотря на такие «завидные» гарантии, рассказчик неизменно теряется в тех случаях, когда начинается общая паника: «...В голове то и дело вертится вопрос: «*Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли только тебе, что ты невинен? И вот я самоуглубляюсь, и подвергаю себя самому строгому самоиспытанию*».

Совершенно тождественно по основному тону и характерным нюансам развивается эта тема в «Круглом годе» (глава «Первое августа»).

«Говоря по совести, — повествует там рассказчик, — я лично не имею никаких причин опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что *и прислуга, и швейцар, и дворники не токмо за страх, но и за совесть могут засвидетельствовать о моей невинности*... Стало быть, ходи вольным аллюром и шабаш. Однако же, как я ни стараюсь приспособить свою поступь к вольному аллюру, но успеха достичь не могу»... «Как только повеет со стороны холодком и зашевелятся дворники — конец счастью... Коль скоро эти признаки на-лицо, знайте, что немедленно вслед за ними явится и потребность «*рассмотрения жизни сей*». Потребность нередко ничем не мотивированная, но в то же время до того естественная, что отделаться от нее нет никакой возможности. *Сиди, рассматривай, доколе не усмотришь*».

Для полноты картины нехватает только одного важного штриха — готовности во всякое время предъявить свои сокровенные помыслы на рассмотрение околодка...

Этот мотив с предельной полнотой развивает рассказчик в цикле «За рубежом» (глава шестая).

«Вопрос о содержании сердец во всегдашней готовности для прочтения, — говорит он, — один из самых мучительных в нашей жизни... Сначала скажешь себе: а что, в самом деле, ведь нельзя же в благоустроенном обществе без сердцеведцев. Ведь это в своем роде необходимость.... печальная, но все-таки необходимость! А потом, помаленьку да полегоньку, и свое собственное сердце начнешь с таким расчетом располагать,

чтоб оно во всякое время представляло открытую книгу: смотри и читай!

Приливы предупредительно-пресекательного энтузиазма, во время которых сердце человеческое, так сказать, *само собой летит навстречу околодочному*, до такой степени вошли в наши нравы, что сделались одною из самых обыкновенных обрядностей нашего существования. *Мы... прямо вопием: «господа сердцеведцы! милости просим!»*. Очевидно, мы сами в этом контроле видим единственное средство обелить себя не только в глазах *любопытствующих*, но и в своих *собственных...»*.

Таким образом, все существенные элементы комментируемого отрывка мы обнаруживаем в салтыковском тексте. Но характерные совпадения в развитии темы приведенным примером не исчерпываются. Такая же родственная близость замысла сказывается и в дальнейшем.

После самого строгого самоиспытания рассказчик решает, что ограничиться этим нельзя. В целях самосохранения нужно «самообыскаться» и уничтожить все мало-мальски подозрительное. Но тут встречается серьезное препятствие: за долгие годы накопилось столько рукописей, разной переписки, что разобрать все это нет возможности. Сжечь же архив также неудобно — увидит прислуга и заподозрит неладное. Помимо того, затрудняет и другое обстоятельство.

«Кроме хлама, — говорит рассказчик, — у меня было пачки три бумаг, действительно дорогих для меня... Что делать с ними? думал я. Жечь их я не желал бы никоим образом. Они были слишком дороги для меня по воспоминаниям.

Но, в случае крайности, я охотнее решился бы сжечь, нежели отдать их в посторонние руки. И это не потому, чтоб в этих бумагах было что-нибудь преступное, чтоб они могли компрометировать меня; ничего подобного, ни малейшего прикосновения к политической сфере в них не было. Но эти бумаги были некоторым образом ключем ко мне самому; они вводили в мир моей души, давали возможность следить за настроением моей мысли, угадывать мои симпатии и антипатии, изучать характер моих отношений к людям и т. д.»

На эту же тему размышляет и рассказчик в цитированной уже выше главе цикла «За рубежом». Нисколько не возражая против чтения в сердцах, он, однако, признает, что такая операция бывает мучительна для «подлежащего прочтению человека». И далее он так обосновывает свое утверждение:

«Причина тому простая: в человеческом сердце не одни дела, до благоустройства и благочиния относящиеся, написаны, но есть кое-что и другое. И вот, когда начинают добираться до этого «другого», то, по мнению моему, это уже представляется равносильным вторжению в район чужого ведомства. Все равно, как *при обыске или прочтении писем частных лиц*. Я знаю, конечно, что ежели у меня «искомого» ничего нет, то и опасаться мне нечего; но, к сожалению, кроме «искомого», у меня может оказаться и нечто «неискомое». Это «неискомое» я имел слабость считать своею личною неприкосновенностью, и вдруг на него глянул глазок-смотрок. «Помнишь ли, милый друг, как ты, как я...» —

кажется, в этом ничего нет «искомого»? А между тем, когда это «неискомое» делается обретенным, то чувствуется ужасная, почти несносная неловкость».

Как же быть в таком случае? Признать чтение в сердцах неуместным? Рассказчик как будто склоняется к тому, что, пожалуй, лучше было бы, «если б в виде опыта право читать в сердцах было заменено правом ожидать поступков»... Но тут же ему приходит на мысль и другое соображение: «Иной ведь, пожалуй, так изловчится, что иногда от него никаких поступков не увидишь... неужто так-таки и ждать до скончания веков? *Нет, воля ваша, а это тоже не резон*». Такой вывод становится особенно ясным, замечает рассказчик, если «к тому же еще и с околодочным переговоришь».

Этот же вопрос мучает и рассказчика комментируемого очерка после того, как он знакомится с новой системой следствия, рекомендуемой «Московскими Ведомостями». Эта газета открыла истинных зачинщиков нечаевского дела в «петербургской литературе» и сообразно с этим предлагала правительству действовать.

«По закону, — объясняет рассказчик, — арестуют тех, против кого есть несомненные улики относительно участия в преступлении». А «Московские Ведомости» настаивают на том, что «надо брать не по несомненным уликам, и даже не по уликам, а так просто по предположению или, точнее сказать, по вдохновению». И растерянность рассказчика при чтении «громоносных статей» до того велика, что он склоняется на сторону «Московских Ведомостей». «*Мне дума-*

лось, — говорит он, — *что иначе быть не может и не должно быть*».

Итак, в очерке «Наши бури и непогоды» мы обнаружили не только тему, занимавшую Салтыкова в «Круглом годе» и в цикле «За рубежом», но и самые основные черты образа их рассказчика. Основываясь на таком внутреннем единстве в обрисовке характера, мы утверждаем, что «Наши бури и непогоды» принадлежат Салтыкову.

В заключение напомним читателю, что тему «общественного испуга» Салтыков широко развернул в «Современной идиллии».

Первая русская передвижная художественная выставка

Настоящая статья, подписанная инициалами М. М., была опубликована в декабрьском номере «Отечественных Записок» 1871 г. Этими же инициалами подписал Салтыков статью о нечаевском процессе (1871 г.), начало цикла «Дневник провинциала» (1872 г.) и серию статей «Между делом» (в собрании сочинений — «Недоконченные беседы», 1873 — 1875 гг.).

Принадлежность данной статьи Салтыкову отчетливо установлена в «Указателе к «Отечественным Запискам» за 1868 — 1877 гг. («Отечественные Записки», 1878 г., № 8, стр. XVII)». В виду этого, а также потому, что содержание и стиль статьи очень характерны для Салтыкова, мы считаем лишним комментировать ее.

ИТОГИ

Глава пятая

В рукописях Салтыкова сохранились две полных редакции пятой главы «Итогов». (Есть еще ряд черновиков, главным образом, из второй половины статьи. Но мы оставляем их в стороне).

Одна из этих редакций более пространная, другая — более краткая. Первая — более ранняя, вторая — более поздняя. Это доказывается и внешним видом обеих рукописей, количеством поправок в той и другой. Это доказывает и сравнение их по содержанию: вторая представляет собою сокращение первой, но сокращение не механическое, а творческое, с переработкой и стилистической, и по существу высказываемых идей.

Иногда эти идеи как бы вышелушиваются из окружающих менее значительных по содержанию мыслей, два-три больших абзаца стягиваются в один, основная идея выступает благодаря тому более выпукло. Так, мы видим, например, произошло при переработке места о Парижской Коммуне. В первой редакции это место целиком отчеркнуто на полях вертикально. Очевидно, что Щедрин нашел нужным обратить на него особое внимание. Почему? Возможно два предположения.

Во-первых, сатирик мог опасаться цензуры. Из всей статьи это место было, конечно, наиболее рискованным. Но как его переработал Салтыков? Во второй редакции, между прочим, сокращено и место о Коммуне. Но оставлено в нем самое главное: слова о жертвах, понесенных Коммуной в борьбе с «одичалой реакцией», слова о «посекаемой жатве будущего». Между ними определенно ставится знак равенства, — и этого впечатления - вывода не может затушевать вставленная (специально для цензуры?) оговорка о «самых диких» из коммунаров.

Во-вторых, Салтыков мог руководиться соображениями существа дела, интересами более четкого и выдержанного изложения своих мыслей. Дело в том, что второй абзац, здесь, в первой редакции, безусловно снижает впечатление, произведенное только что на читателя первым абзацем. Во втором абзаце Щедрин говорит о попытках «консервативной анархии» или «анархии успокоения» в Париже «привлечь всего человека, не только публичного и политического, но и частного», вплоть до «переписки любовного содержания». Спорить с ним по существу о гнусности подобного рода стремлений торжествующей французской буржуазии «обесчестить» свою жертву, «уязвить (ее) в самой дорогой для (нее) привязанности», — конечно, не приходится. Но все же трудно сравнивать такое, — в конце концов все-таки мелкое, — «уязвление» в чувствах отдельной личности с мученической гибелью настоящих бойцов Коммуны в застенках скорострельных судов и на улицах, под ногами разъяренной толпы. Очевидно, Салтыков вскоре

сам почувствовал это несоответствие, — и поставил на полях вертикаль. Во второй же редакции он дал только один абзац вместо трех, но абзац краткий, сильный, бьющий прямо в цель.

Иногда наоборот, во второй, в общем сокращенной, редакции отдельные места дополняются небольшими, но существенными замечаниями. Даже при беглом просмотре можно натолкнуться на ряд интересных мест. Например, после слов: «у нас так уж заведено, что всякий человек, прежде всего, кусает своего соседа», во второй редакции прибавлено: «А так как каждый прогрессист есть ни что иное, как переодетый ретроград, то укусить его (ретроградам) было не в пример сподручнее, нежели запускать зубы в мякоть более или менее неизведанную». Это еще одно новое хорошее щедринское определение сущности российского либерализма и его судеб после эпохи «великих реформ». Или другой примр — более сложной переработки места о «мужике, круглый год наполняющем свой желудок мякинным хлебом». В первой редакции Щедрин заключает это место переходом к «лебеде и мякине, существующим не в одной человеческой пище, но разлитым всюду». Во второй редакции он до конца имеет в виду самый доподлинный, а не метафорический «хлеб с лебедою». Кроме того, он четко отделяет здесь от буржуазного общества, «привыкшего» к зрелищу народной нужды, — «людей более чутких к восприятию впечатлений» и объявляет их людьми «благонамеренными».

Такое несовпадение между собою обеих редакций обусловливает необходимость опубликования их обеих зараз, чтобы читатель мог сам про-

должать наши сравнения. Таким путем мы лучше всего выявим все оттенки мысли великого сатирика, оставшегося до сих пор, в общем говоря, в довольно большом пренебрежении по сравнению с другими писателями гораздо менее созвучными современности.

Вторая редакция, как более поздняя и отделанная, а может быть и окончательная, должна войти в будущее академическое собрание сочинений Щедрина. Первая редакция необходима нам еще и для того, чтобы наглядно показать современному читателю, *как не надо издавать тексты* великих писателей.

Текст пятой главы «Итогов» был впервые опубликован в «Киевской Мысли» (от 28 апреля 1914 г., № 116) В. Кранихфельдом. Почему В. Кранихфельд взял для печати первую, а не вторую редакцию? Вероятно, потому же, почему К. Арсеньев в свое время взял для того же первую, а не вторую редакцию рассказа Салтыкова «Брусин» («Вестник Европы», 1891 г., № 5). В обоих случаях без всяких оговорок приняты для печати более пространные редакции, показавшиеся исследователям более содержательными и интересными. Хотя в архиве имелась и совершенно законченная беловая редакция «Брусина», судя по почерку и бумаге относящаяся к эпохе «Губернских очерков». Художественно она несомненно выше первой редакции (1849 г.), подобно тому, как и вторая редакция пятой главы «Итогов» стилистически более обработана по сравнению с первой.

Но выбрав ошибочно не ту редакцию для печати, В. Кранихфельд затем опубликовал соб-

ственно не ее самое, а только свою переработку щедринского текста. Решив сократить статью для газеты, В. Кранихфельд стал выпускать не только целые абзацы, но и отдельные части абзацев и отдельные слова в них, соединяя абзацы в один, и т. п. Прием, конечно, совершенно недопустимый. Впрочем, к чести В. Кранихфельда надо сказать, что сделанные пропуски были им более или менее аккуратно обозначены многоточиями.

Мы печатаем первую редакцию двумя шрифтами. Один из них — курсив восстанавливает все пропуски, сделанные В. Кранихфельдом. Сравнение этих пропущенных мест со второй редакцией показывает, что многие из них перешли в нее. Таким образом, они безусловно были ценны и нужны самому Салтыкову. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает недопустимость подобного рода редакторских сокращений текстов великих писателей.

Н. Яковлев.

РЕЦЕНЗИИ

Новые сочинения *Г. П. Данилевского* (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии»).

Рецензия напечатана в августовской книжке «Отечественных Записок» 1868 г. (как и все публикуемые отзывы — без подписи). Еще раньше, в 1863 г., Салтыков дважды высказался о Г. Данилевском: мы имеем в виду его заметку «Литературная подпись» («Современник» № 1-2) и отзыв на роман «Воля» («Современник» № 12). Заметка Салтыкова была направлена против претенциозного, «хлестаковского» заявления А. Скавронского в журнале «Время» (1862 г., № 12). В своем заявлении А. Скавронский с излишней обстоятельностью объяснял, что он ничего общего не имеет с московским беллетристом Н. Скавронским, «злоупотребляющим его подписью», и настойчиво просил различать их... Комментируя это выступление, Салтыков утверждал, что читателям равно неизвестны ни А. Скавронский, ни Н. Скавронский, и они недоумевают, зачем понадобилось первому утруждать их внимание «констатированием своей личности». Возможно, писал Салтыков, что публика «от нечего делать, действительно, прочитала «Село Сарановку» и «Бедных в Малороссии», но «она даже припомнить ничего этого не может: «было что-то такое всякое», говорит она, и никак-таки не может вообразить себе, что когда-нибудь мог существовать А. Скавронский».

Автор комментируемой рецензии также обвиняет Г. Данилевского в крайней самонадеянности, при чем прибегает к тому же приему: он уверяет, что публика незнакома с романом «Беглые в Малороссии», не убеждена даже в том, не измышлено ли имя Скавронского...

Чтобы впредь не ставить читателей в такого рода затруднения, рецензент предлагает к произведениям «неизвестных знаменитостей» прилагать библиографические справки о их прошлой литературной деятельности. В «Современной идиллии», написанной *девять лет спустя* после комментируемой рецензии, мы находим отклик на это ироническое пожелание: один из членов собрания библиографов зачитывает там «*полный и достоверный список сочинений Г. Данилевского*»...

Что касается самого разбора романа «Новые места», то сопоставление его с отзывом на «Волю» Г. Данилевского окончательно убеждает в принадлежности комментируемой рецензии Салтыкову. Так, в обоих отзывах подчеркивается приверженность Данилевского к сложной и запутанной фабуле, его безыдейность, неправдоподобие сюжета, которое в том и другом случае объясняется плохой памятью автора, и пр.

Предположение о принадлежности Салтыкову рецензий на «Новые сочинения» высказано Н. В. Яковлевым (см. «Письма» Салтыкова, стр. 53).

З а с о р е н н ы е д о р о г и. Роман *А. Михайлова* (Комментарий см. на стр. 541). Рецензия напечатана в сентябрьском номере «Отечественных Записок» 1868 г.

А. Большаков. Роман в двух частях *И. Д. Кошкарова.* Рецензия напечатана в октябрьской книжке «Отечественных Записок» 1868 г. На «простую истину» Салтыков обратил внимание уже в «Губернских очерках» («В остроге. Посещение второе») и затем вновь и вновь возвращался к этой теме. Борьбу с бессодержательными афоризмами он считал очень важной, так как за невинной внешностью «заплечной истины» пред ним отчетливо проступало каторжное клеймо рабского существования народных масс.

В данном случае рецензент анализирует несколько самодельных истин какого-то помещичьего подголоска и самый характер их разбора не оставляет сомнений в принадлежности отзыва Салтыкову. В этом же удостоверяют и текстовые параллели: замечание о «канители... найденной где-нибудь в будке» соответствует «воззрениям будочников, негодующих на искание какого-то рожна» (четвертая глава «Итогов»), и утверждению, что от сочинения «легковесного» «пахнет будкою» (Признаки времени», очерк «Легковесные»); указанию на постепенное распространение болезни, «известной под именем мыслебоязни», предшествовало утверждение Салтыкова, что «мыслебоязнь становится лозунгом дня не только настоящего, но и будущего...» («Признаки времени», статья «Литературное положение»). О «мыслебоязни» Салтыков писал и в ноябрьской общественной хронике за 1863 г.

Движение законодательства в России *Григория Бланка.* Рецензия напечатана в октябрьской книжке «Отечественных Записок» 1869 г. В этой же книжке появился очерк Сал-

тыкова «Господа ташкентцы» (впоследствии он был переименован автором в «Ташкентцы-цивилизаторы», а его первоначальное заглавие перешло на весь цикл). Помимо характерных для Салтыкова оборотов («упраздненные мысли» и др.), принадлежность ему комментируемой рецензии подтверждается замечанием о помещике-просветителе. Именно эта тема широко развернута Салтыковым в названном очерке.

Что же касается *«борьбы с этимологией и синтаксисом»*, в которой изнемогает автор рецензируемой книги, то много лет спустя (1882 г.) Салтыков детально развил этот мотив, характеризуя отличительные особенности «бормочущей публицистики» (тринадцатое письмо к «тетеньке»). «Идеалисты усекновения», между прочим писал он, стараются замаскировать реакционную сущность своих домогательств, но на каждом шагу оступаются, путаются, а *грамматика и знаки препинания* пользуются этим внутренним междоусобием, чтоб объявить себя *воюющею стороною*». О «баламутах и несносных болтунах», которые «не знают над собой другого ига, кроме ига грамматики и правописания», упоминается и в статье «Человек, который смеется».

В разброд. Роман в двух частях *А. Михайлова.* Рецензия напечатана в февральской книжке «Отечественных Записок» 1870 г. Она тесно связана с разбором других произведений того же автора — «Засоренные дороги» [1]

[1] В списке рецензий, приписываемых проф. Вас. Гиппиусом Салтыкову, значится и отзыв на «Засоренные дороги». Этот список опубликован в «Zeitschrift für slavische Philologie. Band IV. Doppelheft 1/2 1927».

(рецензент дважды упоминает о принадлежности ему этого отзыва в «Отечественных Записках») и «Беспечальное житье». Все эти рецензии, несомненно, принадлежат Салтыкову. Их основная тема — «картонная литература» — была намечена Салтыковым в одной из общественных хроник («Современник», 1863 г., № 3, отдел «Наша общественная жизнь»). Признаки этой литературы он определил в то время так: «совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое *благородными чувствами*». «Картонная литература», утверждал Салтыков, есть порождение «картонной жизни»; последняя представлялась ему «бесконечно обширными театральными подмостками», на которых происходит действие, лишь по внешности напоминающее подлинную жизнь. «Мы питаемся, — писал он, — картонными кушаниями, пьем примерное вино, воюем *картонными копьями* и произносим картонные речи».

Так же характеризуются и персонажи романа «Засоренные дороги»: их негодование против общественного неустройства «это своего рода махание *картонным мечем*, это маневры *чувствительности и благородства*».

К комментируемой рецензии, а также к отзыву на роман А. Михайлова «Беспечальное житье», непосредственно относится следующее указание Салтыкова в названной хронике: «Благородство чувств никогда не усматривает связи между явлениями, никогда не группирует их, не размышляет о том, в каком отношении находится частный факт к целой системе... Оно преследует какие-то пылинки... оно замахивается

обухом на божью коровку и комара». В данной рецензии, главным образом, иллюстрируется *первая* часть этого определения, в отзыве на «Беспечальное житье» — *вторая*.

Крайне резкий тон публикуемых отзывов уяснится нам, если мы учтем, что указанные черты «благородства чувств» Салтыков справедливо усматривал в людях, сидящих «между двух стульев» — либералах, которых позднее он окрестил пенкоснимателями. В этой связи становится понятной характеристика одного из персонажей «Заброшенных дорог» как «непоколебимого поборника либерального онанизма» и замечания о либеральном резонерстве и «литературном онанизме» в рецензии на «Беспечальное житье».

Что касается текстовых параллелей, то основной мысли комментируемой рецензии («... в жизни нет *голых фактов*, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой *истории*...» и т. д.) соответствует рассуждение на эту тему в «Дневнике провинциала» («Ограничьте конкретность факта до самой последней степени, доведите его до самой нищенской *наготы*, — вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пенкоснимательными усилиями факт имеет... свою *историю*...» и т. д.; — см. собр. соч. т. VII, изд. пятое, стр. 369). В отзыве на «Беспечальное житье» много места уделено разъяснению того, что изображением «обеспеченных шалопаев» мог вдохновиться только либеральный резонер. Эта же тема была затронута Салтыковым в рецензии на поэму Альфреда Мюссе «Ролла» («Современник», 1864 г., № 8).

Нерон. Трагедия в пяти дейст. *Н. П. Жан-*

дра. Рецензия напечатана в июльском номере «Отечественных Записок» 1870 г. Уже раньше— в «Признаках времени» (очерки «Наш „savoir vivre“ — 1868 г. и «Хищники» — 1869 г.) — Салтыков разрабатывал тему о «душегубствующей любезности», «умиротворяющем хищничестве». «...Самый любопытный момент в истории развития хищничества,—писал он,—тот момент, когда оно не только поступает, но и сентиментальничает, то-есть выставляет на вид свои «добродетели» («Хищники»). Именно эта мысль является основной в комментируемой рецензии. Автор иллюстрирует ее на поведении тигра, который никогда сразу не набрасывается на свою жертву, если уверен, что она не ускользнет, а «всегда как будто либеральничает», прежде чем покончить с ней. В первом из названных очерков Салтыков иллюстрировал ту же мысль на повадках лисицы. Впоследствии данная тема легла в основу сказки «Здравомысленный заяц» (1885 г.). Эта черта хищника нашла яркое выражение и в образе Софрона Матвеича («Господа ташкентцы». «Параллель вторая» — 1871 г.), который «смаковал просителя, как артист, и потому не сразу обдирал его, а любил постепенно вызудить у него жизнь». Легко заметить, что это — характерная черта и Иудушки Головлева.

Либерализм хищника автор рецензии объясняет тем, что он инстинктивно ищет доверия обреченного и оправдания своим действиям; попутно высказывается и такая догадка: «вообще в природе не существует живого организма, который был бы сплошь грубо-жесток, жесток до конца». Этой мыслью руководился Салтыков,

когда изображал расчеты с жизнью Иудушки, и она же определила содержание сказки «Бедный волк» (1884 г.).

Новые русские люди. Роман *Д. Мордовцева.* Эта рецензия следует за предыдущей; уже начало ее свидетельствует, что она написана тем же автором. Основная тема рецензии — тургеневский «лишний человек» и «новые люди» — широко развернута в «Напрасных опасениях».

Своим путем. Роман в четырех частях *Л. А. Ожигиной.* Рецензия напечатана в сентябрьском номере «Отечественных Записок» 1870 г. Основная ее тема — отношение реакционной, «благонамеренно-нигилистической» литературы к «новым людям» — опять таки полностью развернута в «Напрасных опасениях» (там эта литература именуется «полицейско-нигилистической» — см. стр. 55), и мы ее вторично комментировать не будем. Обращаем внимание читателя и на первую часть пятой главы «Итогов» (см. стр. 281), в которой рассматривается этот же вопрос на более широкой основе. Рецензент анализирует также слабые стороны тех произведений, авторы которых сочувственно относятся к «новым людям». На эти же недостатки указывается и в «Напрасных опасениях» (см. стр. 56—61).

Повести и рассказы *Анатолия Брянчанинова.* Рецензия напечатана вслед за предыдущей, при чем из контекста видно, что писал ее тот же автор. Принадлежность этого отзыва Салтыкову подтверждается и текстовыми параллелями. Так, в рецензии мы читаем:

«Если послушать г. Брянчанинова, то во всех

российских градах и весях, *под каждым кустом* сидит прекрасная жена или дева и только ждет случая, чтобы учинить если не подлинное прелюбодеяние, то, по крайней мере, дать повод к помышлениям о нем».

Иронически проанализировав этот своеобразный тезис, автор заключает: «Даже Тургенев, первый провозгласивший идею *прекрасной помещицы*, ожидающей под кустом прекрасного помещика, — и тот не подтвердит этого».

Много лет спустя (1878 г.) Салтыков вновь коснулся этой темы в «Дворянской хандре». «Если кто думает, — писал он, — что вслед за этим вступлением.... *из-под куста* выпорхнет породистая *помещичья дочка* и подаст повод к целому ряду приятных сцен с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч., — тот пусть не читает дальше этих признаний». О Тургеневе мы встречаем упоминание в «Убежище Монрепо» («Общий обзор» — 1879 г.), где он характеризуется как «правдивейший и художественнейший описатель наших бывших «дворянских гнезд», у которого *на каждого помещика* (молодого и образованного) *непременно приходилась соответствующая помещица*».

Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. *А. Романовича-Славатинского.* Рецензия напечатана в ноябрьском номере «Отечественных Записок» 1870 г. Ее основную тему — опасности, проистекающие из невозможности свободного обсуждения назревших общественных вопросов, — мы уже комментировали при

рассмотрении статьи «Один из деятелей русской мысли» (см. стр. 511—515).

Ввиду того, что в рецензии — по существу и характерным частностям — этот вопрос ставится и разрешается точно так же, как в названной статье, мы считаем лишним возвращаться к нему.

Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство. Рецензия на брошюру «скрывающего свою фамилию помещика» напечатана вслед за предыдущей. Автор ее указывает, что отзыв на книгу Л. Романовича-Славатинского дан им. Принадлежность комментируемого отзыва Салтыкову легко установить по обрисовке образа автора анонима, которому приданы харакатерные черты «дикого помещика». В заключительной части рецензии этот замысел вскрывается с исчерпывающей полнотой.

Записки *Е. Хвостовой*. Прошедшее и настоящее. *Ю. Голицына*. Рецензия помещена в январском номере «Отечественных Записок» 1871 г. Характерным в ней для Салтыкова прежде всего является рассуждение относительно табели о рангах. Эта тема была им намечена во вступлении к «Сатирам в прозе» («К читателю» — 1862 г.) и разработана в «Господах ташкентцах» («Введение» — 1870 г.). В комментируемой рецензии мы находим и ряд частностей, которые содержатся во «Введении» к «Господам ташкентцам»: здесь тоже упоминаются Глинка и его записки, Кукольник, Бартенев и Семевский.

«Гнет скуки», одолевающий общество, рецензент связывает с девизом «не твое дело». На этой крайне характерной для Салтыкова теме мы

подробно остановились в комментариях к «Напрасным опасениям» (см. стр. 494—496).

В рецензии обращает еще на себя внимание утверждение о никчемности «прекраснейших учреждений» и «полезнейших уставов», если они изолированы от общего строя жизни. Эту мысль Салтыков высказал в повести «Тихое пристанище» (впервые опубликована в «Вестнике Европы» за 1910 г., №№ 3, 4, см. главу «Город»), затем выдвинул ее во второй главе «Итогов» (1871 г.) и снова вернулся к ней в «Пестрых письмах» (письмо третье — 1885 г.).

Характерно для Салтыкова и начало рецензии; оно как бы предвосхищает его полемику с А. Сувориным, вскоре выступившим в «Вестнике Европы» (1871 г., № 4) против «Истории одного города» (письмо Салтыкова по поводу статьи Суворина «Историческая сатира» см. в книге: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, стр. 1).

В заключение отметим, что рецензент упоминает о принадлежности ему отзыва на труд Л. Романовича - Славатинского.

Суета сует. Соч. *Николая Соловьева.* Рецензия напечатана в январском номере «Отечественных Записок» 1871 г. На принадлежность ее Салтыкову прежде всего указывает рассуждение о «стрижах». Так прозвал Салтыков сотрудников «Эпохи». Его драматическая сценка, озаглавленная «Стрижи» («Современник» 1864 г., № 5), вызвала пасквильный ответ Достоевского, идейного руководителя «Эпохи» («Господин Щедрин, или раскол в нигилистах», — «Эпоха», 1864 г. № 5), и послужила поводом к ожесто-

ченной полемике между этим журналом и «Современником». О «стрижах» упоминает Салтыков и в статье, озаглавленной «Г.г. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха». («Минувшие Годы», 1908 г., январь).

Авторство Салтыкова подтверждается также характерным для его полемической манеры замечанием о «влиянии романса «Во саду ли, в огороде» на силу русского смирения», выражением «нагой афоризм» и другими «щедринизмами».

Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях *Омулевского*. Рецензия помещена в апрельском номере «Отечественных Записок» 1871 г. В принадлежности ее Салтыкову удостоверяет содержание отзыва и целый ряд характерных выражений.

Вопрос об «обуздании мысли» мы уже комментировали при разборе статьи, посвященной Грановскому и его времени. В рассматриваемой рецензии этот вопрос поставлен точно так же, как в названной статье, вплоть до текстуальных совпадений. Но, кроме того, мы устанавливаем такие совпадения и с другими произведениями Салтыкова. Например: автор определяет «разнузданность» как «*одно из тех непомнящих родства выражений, которые всецело принадлежат мраку времен*». В статье «Самодовольная современность», напечатанной несколько позднее комментируемого отзыва («Отечественные Записки», 1871 г. № 10, вошла в цикл «Признаки времени»), Салтыков дал такое же определение «мечтательности», равнозначной по смыслу «разнузданности». «Мечтательность, — писал он, —

это одно из тех непомнящих родства слов, которых значения никто ясно не понимает...» Наконец, в пятой главе «Итогов» (1871 г.), вырезанной цензурой и опубликованной только в 1914 г. (см. стр. 281), Салтыков так же определил «анархию», соответствующую по смыслу «разнузданности» и «мечтательности». «*К числу непомнящих родства слов,* которыми так богат наш уличный жаргон... бесспорно принадлежит слово «анархия». Характерно для Салтыкова и выражение «мрак времен»; оно встречается в первом письме о провинции (1868 г.), в шестой главе цикла «За рубежом» (1881 г.) и в других его произведениях.

К проблемам, занимающим мыслящую часть общества, рецензент относит и женский вопрос. В виду того, что он рассматривается здесь точно так же, как в «Напасных опасениях» (см. стр. 59), мы не будем его вторично комментировать.

Касаясь вопроса о народном образовании, автор рецензии замечает, что он «уядовитился всякого рода подозрениями насчет разнузданности, распущенности и даже *революционной пропаганды*». Такое же указание сделал Салтыков в статье «Сила событий» («Признаки времени»— 1870 г.). «Наше народное образование, — писал он, — находится в зачаточном положении... Одно убеждение, повидимому, сложилось прочно — это убеждение, что знание есть *рассадник бунтов*». Это же утверждает Салтыков и в пятой главе «Итогов»: «Занятие науками, — говорит он, — считается *анархией*, занятие науками естественными — анархией сугубою».

Крайне знаменательно, что уже в самом начале семидесятых годов к числу злободневных вопросов, настоятельно требующих разрешения, автор рецензии отнес и рабочий вопрос. В связи с этим отметим, что значение последнего Салтыков осознал задолго до написания комментируемого отзыва. Мы имеем в виду замечательную сцену в первой главе «Тихого пристанища» («Город»), где он изобразил каторжный труд бурлаков. Мы читаем там: «Бичевник усеян бурлаками и их тощими лошаденками; вид первых, а равно гортанные и унылые звуки, которыми они побуждают как друг друга, так и лошадей, наводят тоску на сердце постороннего наблюдателя. Это какой-то выстраданный, надорванный крик, вырывающийся с мучительным, почти злобным усилием, как вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который, между тем, не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление, а только вздыхает.. *Но в этом вздохе уже чуется будущая трагедия*».

Этим же пророчески - гневным предостережением заключил Салтыков пятую главу «Итогов». Подчеркнув, что «успокоение в том смысле, как его пропагандируют революционеры-консерваторы — это прекращение жизненного процесса», он указал далее на обманчивый характер тишины, воцарившейся после победы палачей Коммуны. «Обделенный,—писал он,—все таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая».

Комментируемый отзыв приобретает большой интерес и вследствие того, что в нем содержится резкая критика литературной деятельности Достоевского. Укажем кстати, что и в предыдущей рецензии Салтыков, главным образом, обращался к нему. Полемика между Салтыковым и Достоевским, продолжавшаяся и после закрытия «Эпохи», имела серьезные принципиальные основания: они кардинально расходились в оценке общественных явлений современности и во взглядах на будущее России. Будущее, которое, по слову Салтыкова, «имеет то неудобство, что всегда приходит в срок», наглядно показало, что именно его революционные взгляды выдержали испытание временем.

Цыгане. Роман в трех частях. Соч. *В. Клюшникова.* Рецензия опубликована в сентябрьской книжке «Отечественных Записок» 1871 г. *В этой же книжке* был напечатан очерк Салтыкова «Ташкентцы приготовительного класса» (в отдельном издании «Господ ташкентцев» — «Первая параллель»), где мы находим следующее высказывание Коли Персиянова о нигилистах: «Это люди самые пустые... Как сказал один мой знакомый фельетонист, — это Хлестаковы, *представители собственной разгоряченной фантазии».* Подчеркнутая фраза содержится и в *комментируемой рецензии.* Одного этого совпадения совершенно достаточно для того, чтобы принадлежность последней Салтыкову считать установленной. Но его авторство удостоверяют и другие места в рассматриваемом отзыве.

Прежде всего останавливает внимание рассуждение об «анархии мысли». Эта тема была ши-

роко развернута в пятой главе «Итогов», вырезанной цензурой из *предыдущей книжки* «Отечественных Записок». Тесно связана с данной темой оценка романа Клюшникова «Марево». Основную его идею рецензент определяет так: «мыслить не надобно, ибо *мышление производит беспорядок и смуту*». Но если отречься от мысли, замечает он далее, то придется «ограничить сферу искусства одними *физическими отправлениями*». Тема «мыслебоязни» была затронута Салтыковым уже раньше, в очерке «Легковесные» («Признаки времени» — 1868 г.). «Товарищ по школе» утверждает там, что «убеждения могут иметь только люди *беспокойные*». В том же очерке Швахкопф, «по ремеслу барон», провозглашает: «Мой «мизль» — нет «мизль». В третьей главе «Итогов» (1871 г.) Салтыков возвращается к этому вопросу и констатирует, что «при встрече убеждения с отсутствием такового... остается только умолкнуть, предаться *физическим отправлениям* и выжидать, что будет дальше». В «Письмах к тетеньке» (1882 г.) мы находим утверждение, что Удав и Дыба отрицают всякую мысль и предоставляют только право «совершать *физические отправления*». Тема «мыслебоязни» разрабатывается Салтыковым и в «Пестрых письмах» (1884 г.). Федот Архимедов — одно из действующих лиц этого цикла — причину всех кризисов усматривает в самом процессе мышления. Его проект основания «института племенных молодых людей», исполненных благонамеренности, украшает девиз: «*Рассуждение — вот корень угнетающего зла*».

Таким образом, мы видим, что к основной

теме комментируемой рецензии Салтыков возвращался неоднократно, при чем — и это особенно важно — она освещалась им точно так же, вплоть до характерных текстуальных совпадений, как и в рассматриваемом отзыве. Это лишний раз подтверждает, что рецензия написана Салтыковым.

В заключение отметим, что нравы «петухов» Салтыков с исключительной силой воспроизвел в четвертой главе цикла «За рубежом» (1881 г.), посвященной французскому буржуа и излюбленным им родам литературы — «бестиальной драме» и «экскрементально-человеческой комедии».

Темное дело. Народная драма в 5-ти действиях *Дмитрия Лобанова.* Рецензия напечатана в сентябрьском номере «Отечественных Записок» 1871 г. К вопросу о классовом характере «общественной морали» Салтыков возвращался не раз. Блестящее развитие эта тема получила в «Круглом годе» (глава «Первое августа»). В комментируемой рецензии она разработана в определенном разрезе — здесь вскрывается классовая подоплека судебного процесса.

Помимо характерной для Салтыкова обрисовки фигур прокурора и защитника, в рецензии останавливает внимание следующее место: «Отчего совесть, столь чувствительная относительно сильных мира, вдруг делается равнодушной, когда идет речь о мужике? Оттого ли, что мужик находится *вне пределов исторической жизни* и значение его равняется значению мухи?..». В упоминавшейся уже пятой главе «Итогов», вырезанной цензурой из *предыдущей книжки* «Отече-

ственных Записок», мы встречаемся с тем же мотивом. Анализируя характер «успокоения», наступившего во Франции после падения Коммуны, Салтыков писал: «Обделенный не протестует, униженный не подымает головы; поставленный *вне пределов истории* не высказывает поползновения прорваться за стоящую перед ним преграду». В «Истории одного города» (глава «Поклонение мамоне и покаяние») Салтыков этим же выразительным штрихом охарактеризовал положение широких народных масс, подвергающихся систематическому «ошеломлению». Он подчеркнул там, что летописец «преимущественно ведет речь о так-называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы *вне пределов истории*».

Таким образом, текстуальные совпадения в сравниваемых отрывках подчеркивают основную и общую для них тему. Благодаря этому обстоятельству содержащееся в комментируемой рецензии совпадение с салтыковским текстом приобретает решающее значение. Кроме того, мы здесь встречаем выражение «не формализировались», которое Салтыков употреблял, придавая ему тонкий саркастический смысл (например, в очерке «Хищники» — «Признаки времени», 1869 г.).

Все это в совокупности — щедринская интерпретация темы «Темного дела», в частности, язвительная концовка отзыва, и указанные характерные детали — приводит к заключению, что комментируемая рецензия безусловно принадлежит перу Салтыкова.

З а м е т к и в п о е з д к у в о Ф р а н ц и ю,

С. Италию, Бельгию и Голландию. *Н. И. Тарасенко-Отрешков.* Рецензия помещена в октябрьском номере «Отечественных Записок» 1871 г. На авторство Салтыкова указывает ряд мест в комментируемом отзыве.

Так, например, рецензент видит причину склонности «русского человека» сороковых годов к заграничным поездкам в том, что «дома ему не было предоставлено ничего, кроме права быть *мудрым*». Касаясь той же темы в цикле «За рубежом» (вторая глава — 1880 г.), Салтыков писал, что русская жизнь «с одной стороны... производит людей-мучеников, которых повсюду преследует представление о родине», и «с другой — людей-*мудрецов*, которые раз навсегда порешили: пускай родина процветает особо, а я буду процветать тоже особо...».

Далее рецензент замечает, что даже «гулящий шалопай», побывав за границей, отдает предпочтение тамошним порядкам и признает их «совсем не такими неудобными, как о том повествуется *в стране «мудрых»*». В статье «Самодовольная современность» (она напечатана *в той же книжке «Отечественных Записок», что и комментируемая рецензия)* читаем: «Страна, которая посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание устремила на правильность расчетов по ежедневным затратам, может считать свою роль законченною. *Это — страна мудрых*».

Останавливает внимание и указание рецензента на «появившиеся в начале сороковых годов статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях и проч., статьи, не имевшие другой цели,

кроме дразнения». В «Недоконченных беседах» (глава четвертая) Салтыков тоже отмечает, что «публика зачитывалась статьями в роде «Китайские ассигнации», или «Австрийский министр Брук». Такое же упоминание содержится и в его статье «Несколько слов по поводу заметки, помещенной в октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1862 г.» («Современник», 1863 г., № 1 — 2)».

Автор рецензии утверждает, что «человек, удивлявший дома степенностью своего поведения, приезжая в Париж, бежит в Мабиль и знакомится с ресторанами и домами терпимости». В очерке «Русские «гулящие люди» за границей» («Признаки времени» — 1863 г.) Салтыков, полемизируя с И. Аксаковым, доказывал ему, что Мабиль — самое злачное место в мире— посещают не «дети», а «отцы».

Наконец, о принадлежности Салтыкову рецензии свидетельствуют и характерные для него выражения, например: «животненные блага» (в «Пошехонской старине» — «животненная плотоядность», и в «Письмах к тетеньке» — «животненная злоба»), «вольной рукой разбивал целые армии ямщиков» (ср. «собственноручно разбил наголову целую армию перевозчиков»— «Новый нарцис или влюбленный в себя»—«Признаки времени») и др.

Указание на принадлежность данной рецензии Салтыкову содержится в комментариях к IV т. его сочинений (изд. ГИЗ, стр. 642), составленных Р. Ивановым-Разумником.

Беспечальное житье. Роман *А. Михайлова.* Рецензия опубликована в августовском

номере «Отечественных Записок» 1878 г. Комментарий к ней см. на стр. 542.

Энциклопедия ума или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Составил по французским источникам и перевел *Н. Макаров.* Рецензия помещена в декабрьском номере «Отечественных Записок» 1878 г. Об авторстве Салтыкова здесь прежде всего свидетельствуют такие характерные для него выражения, как «уловлять вселенную» (это выражение мы встречаем в «Письмах о провинции», в «Помпадурах и помпадуршах», в «Благонамеренных речах», в цикле «За рубежом»), «неклейный сброд». Что же касается вставной сцены, изображающей флирт во время кадрили, то она является воплощением замысла, бегло набросанного в очерке «Дети Москвы» (1877 г.). «Я присутствую на бале, — читаем мы там, — смотрю на выходки милых молодых людей, которые так ловко танцуют и так убедительно объясняют своим дамам между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодеяние есть одна из привлекательнейших форм современного общежития...»

Принадлежность комментируемой рецензии Салтыкову подтверждается свидетельством Н. Ф. Анненского, который в конце семидесятых годов был близок к редакции «Отечественных Записок». (См. «Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского», том десятый, изд. 2-ое, 1913 г. стр. XLIX).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

СТАТЬИ

РЕЦЕНЗИИ